

---

**НОВЫЙ  
ЖУРНАЛ**

XVI

НЬЮ-ИОРК

---



# НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

Под редакцией  
М. М. КАРПОВИЧА

XVI

6-й год издания

НЬЮ-ИОРК

1947

Printed in the United States of America  
by Grenich Printing Corp. 151 W. 25th St., New York 1, N. Y.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

<b>М. Алданов.</b> — Астролог. ....	5
<b>Г. Газданов.</b> — Призрак Александра Вольфа .....	42
<b>Р. Гуль.</b> — Конь рыжий. ....	94

### СТИХИ :

<b>М. Железнова, В. Смоленского, Г. Струве, Ю. Терапиано, М. Чехонина</b> .....	142
---	-----

### ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ :

<b>Г. Федотов.</b> — Судьбы империй .....	149
<b>М. Карпович.</b> — Америка, Россия и Европа .....	170
<b>А. Зак.</b> — Действительность и возможности в русско-американских экономических отношениях .....	186

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО :

<b>Г. Струве.</b> — Три судьбы (Блок, Гумилев, Сологуб) .....	209
---	-----

### ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ :

<b>М. Коряков.</b> — Костел панны Марии .....	229
<b>В. Маклаков.</b> — Ф. И. Родичев и А. Р. Леднички .....	240
<b>М. Шаблэ.</b> — В доме предварительного заключения НКВД..	252
<b>Н. Вакар.</b> — И. П. Демидов (жизнь и смерть) .....	275

**БИБЛИОГРАФИЯ :**

<b>В. Зензинов.</b> — “Forced Labor in Soviet Russia” by D. J. Dallin and B. I. Nicolaevsky .....	284
<b>М. Вишняк.</b> — “Soviet Impact on the Western World” by E. H. Karr .....	289
<b>Н. Тимашев.</b> — Новые американские книги о Советской России .....	295
<b>С. Соловейчик.</b> — “The Struggle for the World” by James Burnham .....	298
<b>М. Карпович.</b> — “The Russian Religions Mind” by G. Fedotov....	301

Продолжение романа В. Яновского «Американский опыт» будет  
напечатан в 17-й книжке «Нового Журнала».

# АСТРОЛОГ\*)

## I.

«Сударыня, я получил Ваше письмо и благодарю Вас за доверие. Я тотчас приступил к сложным вычислениям, которых требует составление гороскопа. Эта работа еще далеко не закончена, но я уже мог убедиться в том, что судьба складывается для Вас как будто весьма благоприятно.

Могу уже сделать и некоторые выводы относительно Вашей личности. Ваш характер весьма симпатичен. Вы очень умны, хотя ваши недоброжелатели это отрицают. Вы сотканы из противоречий. Иногда вы тверды и мужественны, но иногда легко поддаетесь чужим, не всегда благотворным влияниям, теряете мужество и бодрость. Вы страстно жаждете жизни, однако порою чувствуете большую душевную усталость. Некоторых противоречий вашей сложной натуры Вы еще не знаете сами. Не все люди видят Ваши редкие и прекрасные качества.

Счастливы ли Вы? Не думаю. Между тем в Вашей судьбе заложены возможности великого счастья. Некоторые из них уже были Вами упущены, о чем Вы, вероятно, и не догадываетесь. Опытный руководитель мог бы сделать Вас счастливейшей женщиной. Предлагаю Вам свое испытанное руководство.

По Вашим словам, Вас еще больше, чем Ваша судьба, интересует отношение к Вам человека, которого Вы любите. Но разве одно не связано теснейшим образом с другим? Думаю,

---

\*) Автор осенью прошлого года посещал в Европе французских и немецких астрологов. Их сообщения и сеансы частью послужили материалом для настоящего рассказа.

что Вы созданы для этого человека и могли бы сделать его счастье. К сожалению, указаний, которые Вы о нем даете, совершенно недостаточно. Для бесспорного ответа на волнующие Вас вопросы я должен составить и гороскоп этого лица. Поэтому мне необходимо знать дату его рождения.

Кроме того, многое может быть выяснено и не астрологическим путем. Вам известно, что я не только астролог. Не считите меня нескромным, если я скажу, что своей мировой славой я обязан в такой же мере своим познаниям в хиромантии, онеиromантии, офиомантии, рабдомантии, экономантии, — великих и древних науках, изучению которых посвятили долгую жизнь и я, и все мои предки.

Все это требует личного свидания и беседы. Вы спрашиваете о моих условиях. Как Вам, конечно, известно, я не корыстолюбив и охотно работал бы на пользу людей совершенно безвозмездно, еслибы в этом не было элемента оскорбительного для моих клиентов. Ваша личность так привлекательна и судьба Ваша так меня заинтересовала, что я готов предоставить Вам льготные условия, которых я не предоставляю даже самым знаменитым писателям, врачам, адвокатам, удостоивающим меня издавна своего доверия. Предлагаю Вам следующее:

1) За сообщенное в настоящем письме я не беру с Вас **н и ч е г о**.

2) Ваш полный гороскоп обойдется Вам в двести (200) марок. С рядовых клиентов я обычно беру вдвое больше. До войны мне случалось составлять гороскопы представителей англо-американской плутократии, как Франклин Рузвельт, Рокфеллер, Вандербильт, герцоги Вестминстерский и Норфолькский, сэр Вальтер Скотт. Они платили мне тысячи долларов, которые я почти целиком отдавал на благотворительные дела.

3) Если Вы пожелаете иметь также гороскоп человека, о котором Вы говорите в письме, то я по совокупности возьму с Вас за оба гороскопа триста пятьдесят (350) марок.

4) Если Вы сделаете мне честь посетить меня в среду, в 10 часов утра, то консультация, с раскладкой карт, обойдется Вам лишь в пятьдесят (50) марок.

В ожидании Вашего скорого ответа прошу Вас принять уверение в моей совершенной преданности. Heil Hitler!»

За подписью следовала дата: «13 апреля 1945 года. Сидеральный час 10.30'». Наверху листа были выгравированы имя и адрес Профессора, номер его телефона и слова: «Просят предлагать почтовую марку для ответа». Имя у него было длинное и странное. Прежде он считался индусом, но с начала войны говорил, что он индонезиец.

Профессор перечел копию своего письма и вздохнул. Не любил обманывать людей, однако надо было жить. «Ах, Боже мой, очень многое в жизни построено на человеческом легковерии, и какое это было бы несчастье, еслибы люди не были легковерны!» — подумал он и на этот раз. Пожалуй, в письме не следовало упоминать об англо-американской плутократии, особенно теперь, когда дела Германии шли так плохо. Но Гестапо нередко вскрывало его корреспонденцию. Кроме того, в день, когда он писал письмо, положение стало лучше: русские больше не наступали, радиокомментаторы говорили, что между большевиками и демократиями произошел разрыв. Умер президент Рузвельт, и это событие тоже толковалось радиокомментаторами, как огромная удача национал-социалистов. Быть может, лучше было и не упоминать о Вальтере Скотте; впрочем, Профессор по долгому опыту знал, что его клиенты в громадном большинстве люди необразованные. «Письмо написано хорошо. Нет такой женщины, которая не думала бы, что она очень умна, что у нее редкие, прекрасные качества и сложная, противоречивая натура, что она создана для любимого человека и что ее не ценят недоброжелатели».

В письме, полученном им от этой дамы, не было ничего интересного. Большая часть клиентов не называли вначале своего имени и просили посылать письма «до востребования». Позднее же многие, особенно дамы, не только называли имена, но и сообщали о себе все, вплоть до самых интимных дел. Профессор первые свои выводы делал по слогу письма, по бумаге и почерку. Перед свиданием он всегда перечитывал запрос и копию своего ответа. Годы на нем сказались: память

ослабела, он стал в последнее время болтлив и повторял одно и то же еще много чаще, чем это делают все люди.

В этот день у него с утра было знакомое неприятное ощущение под ложечкой, обычно, хотя и не всегда, предвещавшее припадок. Он плохо спал, проснулся очень рано, первым делом отворил окно, застегнув халат, чтобы не простудиться, и прислушался. В Берлине говорили, будто по ночам слышится отдаленный грохот пушек. «Нет, кажется, ничего не слышно... Ночью налета не был... Ох, пора уезжать»...

Это был маленький старичек с желтыми волосами вокруг желтой лысины, с хитрыми желтыми глазками, с желтой бородой, с желтым утомленным лицом. Профессор страдал болезнью печени и по возможности это скрывал, чтобы не повредить своей торговле: хотя клиенты не могли требовать, чтобы астролог был бессмертен, болеть ему не полагалось. Он был чистокровный немец, но с годами в его внешнем облике появилось что-то восточное, — это было даже не совсем безопасно: могли принять за еврея. Говорил он с неопределенным иностранным акцентом, справедливо рассчитывая, что в Берлине никто не может знать, с каким именно акцентом говорят по немецки индонезийцы. Разумеется, полиция прекрасно знала, кто он. Однако астрология запрещена в Германии не была. У Фюрера были свои астрологи. Первого из них, Гануссена, давно убили, — это могло объясняться его еврейским происхождением. Новый астролог Гитлера, Дитерле, по слухам, и теперь постоянно у него бывал, в рейхсканцлерском дворце, на фронтах, в «Орлином Гнезде», в нынешнем подземном убежище на Вильгельмштрассе. В последнее время астролог Вульф стал посещать Гимmlера. Профессор был знаком и с Гануссеном, и с Дитерле, и с Вульфом; отзывался о них всегда сдержанно-корректно, как порядочный врач отзывается о других врачах; но в душе их терпеть не мог и считал шарлатанами.

Он прошел в ванную комнату, — горячей воды давно не было — и минут сорок занимался туалетом. Чистота была слабостью Профессора; он говорил приятельницам, что у порядочного человека может быть в общественной жизни только один

идеал: дожить до того времени, когда купаться каждый день будет так же обязательно, как есть каждый день. Надушившись крепкими восточными духами, расчесав золотым гребешком бороду, срезав торчавшие из ушей и ноздрей желтые волосы, он надел черный костюм, сшитый у лучшего портного, с двумя внутренними карманами, с отворотами на брюках, правда, сшитый уже довольно давно, в ту пору, когда из Бельгии и Голландии привезли в Берлин прекрасное английское сукно. Профессор не был богат. Его состояние, скопленное годами труда, растаяло в пору инфляции, — знакомые скептики, к крайней его досаде, издевались: «как же вам звезды не сообщили, что марка полетит к чорту?» Правда, заработки его увеличились при Гитлере. Все случившееся в Германии было так странно и неправдоподобно, что, повидимому, люди стали больше верить в колдовство. Попадались клиенты и среди новых господ. Профессор их боялся, но и они боялись астрологов; впрочем, платили скупно, торговались и порою намекали на свои связи. Он с достоинством отвечал, что кое-какие связи найдутся и у него; однако тотчас соглашался на скидку. По своей доброте и жизнерадостности, Профессор недолюбливал национал-социалистов и до 1933 года называл Гитлера «Маляром». Веймарскую республику Профессор тоже недолюбливал — всего больше за инфляцию — и называл Эберта «Шорником». Настоящая жизнь была до первой войны, Профессор ненавидел войну и приходил в уныние, когда в газетах начинали появляться географические карты.

Его небольшая квартира была обставлена частью в готическом стиле, частью в восточном: не то индийском, не то турецком. Профессор был женат два раза. Обе жены от него ушли: первая признала, что он для нее слишком глуп, вторая — что он слишком глубок: оне не интересовались астрологией, и им было с ним скучно. «Чаще всего люди разводятся от того, что им не о чем говорить друг с другом», — грустно думал он. Впрочем, он не очень горевал и находил, что в одиночестве есть известные преимущества: например, очень приятно спать одному, — зажигаешь лампу когда хочешь, тушишь, когда хо-

чешь, тянешь к себе одеяло как хочешь. Его приятельницы жаловались, что он всегда рассказывает одне и те же истории, все больше астрологические. Он недоумевал: неужели это не интересно? Однако, иногда сам удивлялся, что ему не о чем рассказывать: так мало событий случилось с ним за семьдесят лет, в самую бурную эпоху истории. Изредка он приглашал бывших приятельниц на обед, всегда в очень хороший ресторан, и заказывал дорогие вина. Скуп никогда не был, хотя, случалось, с легким огорчением вспоминал об истраченной без необходимости сотне марок. Любезен он был чрезвычайно и всем знакомым, дамам и мужчинам, говорил в глаза только приятное, зная, как мало этим люди избалованы и как это ценят. В пору своих поездок на курорт он в вагоне, надев шапочку и мягкие туфли, угощал соседей конфетами и хвалил удобства железных дорог. Профессор даже о погоде старался отзываться лестно, точно допускал, что и она любит комплименты. О политике же он старался не говорить, особенно с июля прошлого года: заговор поразил его еще больше, чем война — войны бывали всегда, но уж если вешают германских фельдмаршалов, то, значит, в мире стало возможно решительно все.

В столовой был приготовлен утренний завтрак. Профессор не держал ни горничной, ни кухарки. Он всегда чувствовал неопределенное беспокойство, когда в доме находился посторонний человек. Утренний завтрак готовила уборщица Минна, угрюмая, не-болтливая женщина, приходившая только на два часа в день. Она была совершенно равнодушна к личности своего работодателя и к его занятиям, убирала же квартиру хорошо. Прежде по утрам Минна готовила ему яичницу с салом, овсянку, компот. Теперь все было трудно доставать. Яичница запрещалась при камнях в печени. Профессор выпивал утром только две чашки кофе с поджаренным хлебом. Однако утренний завтрак по прежнему составлял одну из лучших радостей его жизни. Кофе было сносное. Но он помнил настоящее кофе; то, что было при императоре Вильгельме, то, что он пил у Кранцлера, у Бауера и в Café Victoria.

За завтраком Профессор развернул газету и изменился.

в лице. Русские начали наступление на фронте шириной в триста километров. Наступали одновременно десять советских армий. На первой странице был помещен приказ Фюрера по войскам восточного фронта. «Наш враг № 1, иудо-большевики, бросили свои азиатские орды против нашего отечества с тем, чтобы положить конец германской цивилизации. Мы предвидели это наступление и с 11-го января установили прочный фронт», — читал Профессор с проклятьями. «Знаю, как Маляр все предвидел! Красил бы лучше заборы!» — думал он. — «... Большевиков на этот раз ждет участь всех азиатских завоевателей. Они погибнут под стенами нашей столицы»... — «Вот оно что! Уже дошло до «стен нашей столицы», — мрачно думал Профессор. «... В момент, когда судьба убрала из мира величайшего военного преступника всех времен, решается судьба войны»... Профессор не сразу понял, что величайший военный преступник всех времен был президент Рузвельт. «Кажется, Маляр совершенно выжил из ума»... На западном фронте дела были не лучше, чем на восточном. Третья американская армия генерала Паттона перешла чешскую границу. Первая армия генерала Ходжеса тоже стремительно продвигалась вперед. «Хоть бы они сюда пришли первыми, а не русские», — подумал Профессор. «Конечно, надо бежать, но как! Давным давно надо было уехать в Швейцарию»...

Он вздохнул и перешел в свой рабочий кабинет. В этой большой роскошной комнате на одной стене висела огромная картина, изображавшая процессию факиров на Ганге, а на другой — знаки Зодиака. На полках стояли прекрасно переплетенные Эфемериды. На небольшом узком столе, крытом желтой бархатной скатертью с вышитыми на ней восточными письменами, лежали магический шар и старинный футляр с картами. По сторонам узкого стола стояли два высоких готических стула. Все было в совершенном порядке. В комнате приятно и странно пахло. Профессор отворил готический шкаф, надел желтую мантию и белый тюрбан. Несмотря на многолетнюю привычку, ему всегда было немного совестно надевать этот наряд.

До времени, назначенного клиентке, еще оставалось минут десять. Он плотно затворил дверь и пустил в ход радиоаппарат. В этот час обычно говорила тайная германская радиостанция. Профессор относился к ней подозрительно: не очень верил в существование тайной радиостанции в Германии. Кроме того три четверти ее сообщений казались ему враньем. Сердитый голос внезапно с середины фразы закричал, что теперь дело Гитлера кончено, совсем кончено. Никак не приходится ему надеяться и на распря между большевиками и демократиями: президент Труман твердо решил не включать в свой кабинет Бернса, который высказывается против уступок России; а назначение Молотова главой советской делегации в Сан-Франциско свидетельствует об искренней дружеской симпатии Сталина к новому президенту Соединенных Штатов.

В передней прозвучал очень короткий, какой-то робкий и жалостный звонок. Профессор поспешно закрыл радиоаппарат и перевел стрелку на другую, далекую волну. Затем усилил огонек под медной чашкой с восточными ароматами и вышел в переднюю. Он отворил дверь, приложил правую руку к тюрбану и впустил даму в кабинет.

## II.

— Прошу вас садиться, — с индонезийским акцентом сказал он, пододвигая даме готический стул и внимательно в нее вглядываясь. Личные наблюдения над клиентами были главным источником его предсказаний. Он был наблюдателен, знал (особенно прежде) толк в людях и отлично понимал клиентов. «Помесь Фрейда с жуликом», — сказал о нем посетивший его из любопытства иностранный писатель.

На даме была густая вуаль. В этом для Профессора тоже ничего необычного не было: многие клиентки вначале скрывали наружность, хотя он никак не мог их знать, и поднимали вуаль лишь минут через десять. «Одета хорошо. Молода и, кажется, красива», — подумал Профессор. Женщины теперь волновали его меньше, чем прежде, но волновали (в прошлом году он по настоящему расстроился, когда в первый раз в его жизни дама

уступила ему место в автобусе). «Очень нервна... Деньги требовать вперед незачем: эта заплатит»... Клиенты иногда его обманывали: отказывались платить за гороскоп, да еще ругались. Это обычно бывало в тех редких случаях, когда гороскоп оказывался неблагоприятным. Профессор отлично знал, что неблагоприятные гороскопы невыгодны, и по возможности их избегал. Однако, когда клиент требовал уж слишком большой порции счастья, когда уродливая дама желала пламенной любви, глубокий старик — еще полустолетия жизни, биржевик — удвоения стоимости акций Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, Профессор им в этом отказывал: нельзя было портить себе репутацию однообразием благоприятных предсказаний. Если же клиент повышал голос или начинал скандалить, Профессор кротко говорил, что не несет ответственности за показания небесных светил и денег насильно не требует. В таких случаях не прикладывал руки к тюрбану, но полицией никогда не грозил. Недолюбливал полицию даже во времена императора Вильгельма.

— Вы пришли в ранний час: в час Сатурна, — сказал он медленно глубоким низким голосом. Говорил обычно одно и то же: больше для того, чтобы дать клиентке время справиться с волнением. Вдобавок любил себя слушать. — Чем раньше беседовать с Роком, тем лучше. Я всегда встаю до зари и каждое утро люблюсь великим чудом мира. Темная ночь бежит от восходящего Солнца. Пышно и величественно появление величайшего из небесных светил. На Востоке появляются первые пурпурные полосы. Но еще темен небосклон на Западе. Солнце всходит. Солнце взошло. Его приветствует вся тварь земная. Поют птички. Все радуются начинающемуся дню. Только слабый безумный человек не радуется каждодневному чуду. Отчего?

— Я... Не знаю, — тихо сказала дама. Профессор, впрочем, и не ожидал ответа: знал, что даже очень находчивому человеку трудно ответить на его вопрос. Он по-прежнему изучал даму. Она ни на что не смотрела: ни на его мантию, ни

на знаки Зодиака, ни на картину. «Женщина легкого поведения? Конечно, нет. Артистка? Тоже нет» . . .

— Солнце, — продолжал Профессор, — исполнено разума. Это знал еще Кеплер, величайший из всех астрономов и астрологов мира. Помните ли вы его трактат о Марсе? В нем он мудро говорит: «Планеты должны обладать разумом: иначе они не могли бы так правильно следовать по эллиптическим путям в полном соответствии с законами движения».

Дама, очевидно, не помнила Кеплеровского трактата о Марсе. Она сидела молча, неподвижно глядя перед собой.

— Ваш приход сюда, сударыня, — сказал Профессор, — показывает, что вы приняли мое предложение и мои условия. Перед тем, как перейти к картам, я должен задать вам несколько вопросов. Вы страстно любите одного человека. Судьба обычно снисходительна к нашим страстям, если они чисты, не губительны для души и не вредят другим людям. Вы писали, что сомневаетесь в любви этого человека к вам. Он не женат, обещал вам на вас жениться и не выполняет своего обещания. Так, сударыня? — спросил Профессор. Он называл своих клиенток по разному: то «сестра моя», то «госпожа моя», то «радость моей души», то просто «сударыня».

Дама молча наклонила голову.

— От астролога не должно быть секретов, да и не может быть: звезды скажут мне то, что вы утаили бы от меня . . . Вы находитесь в греховной связи с этим человеком?

— Нет . . . Да, — поколебавшись немного, прошептала дама.

— Думаете ли вы, что он любит другую?

— Нет.

— Быть может, ему нужны деньги, а их у вас нет? . . . Я это говорю не в плохом для него смысле. Очень порядочные люди иногда не женятся потому, что не могут содержать семью . . .

— Деньги тут ни при чем, — перебила его дама.

— Чем же вы объясняете его отказ исполнить свое обязательство?

— Я . . . Я именно это хотела узнать у вас.

— Я это вам и сообщу, — сказал Профессор и подвинул к даме магический сосуд. — В этом шаре находится вода Ганга. Положите на него левую руку. Но сначала, конечно, снимите перчатку. И если вам все равно, поднимите вуаль. Зачем она? Зачем скрывать лицо, когда я вхожу в соприкосновение с вашей душой?

Дама подняла вуаль. Она в самом деле была хороша собой. «Что-то есть в ней простонародное. Кажется, здорова как бык, но глаза маниачки, очень странное сочетание» . . . По привычке он хотел было определить, представляет ли эта женщина доброе или злое начало жизни, но затруднялся. «Нет, доброты ее лицо не выражает. Страстность — да. Неразделенная страсть».

— Левую. Я сказал левую, — поправил он ее. Когда дама положила руку на шар с водой, Профессор немного помолчал и подлил жидкости в медную чашку. Приятный чуть пьянящий запах в комнате усилился.

— Сусабо! Мизрам! Табтибик! — глухим голосом сказал Профессор и положил свою руку на руку дамы. Ее рука была холодна. Лицо ее все бледнело. «Очень нервна», — подумал он, не сводя с нее глаз. Затем он закрыл глаза. Он и сам был немного взволнован. «Жаль, что написал о Вальтер Скотте . . . Неглупа . . . Бедная женщина . . . Кажется, она плохо кончит», — думал он, готовя свой ответ.

— Я не могу . . . Я больше не могу! — шопотом сказала дама. Профессор открыл глаза и сказал строго:

— Вы должны были молчать. Ваши слова нарушили цепь душ. Теперь ее надо восстановить. — Он встал, вспрыснул руку жидкостью из хрустального флакона, вытер ее белоснежным платком, снова положил ее на руку даме и снова закрыл глаза. Его лицо тоже стало бледнеть. Через минуту он поднял руку и приложил ее к тюрбану.

— Вы будете счастливы. Вы будете жить очень долго: еще сорок девять лет семь месяцев и шестнадцать дней.

— А он? — спросила дама, безжизненно на него глядя. Повидимому, его слова не произвели на нее впечатления. Это немного задело Профессора.

— Позвольте перейти к картам, — сказал он, точно не слыша ее вопроса, и взял со стола футляр. — Как вы знаете, карты колоды соответствуют разным человеческим характерам. Вы трефовая дама. Трефовая дама означает доброту, благородство и ум, при некоторой неустойчивости характера. — Он принялся метать. — Правая карта указывает на характер человека. Левая говорит о том, что его ждет. Вы видите, я не ошибся: трефовая дама лежит справа.

Он положил карты и поднял руку.

— Сусабо! Мизрам! Табтибик! — повторил он еще внушительнее, чем в первый раз, и по прежнему не сводя глаз с дамы, снова взял колоду. — Девятка бубен... Сударыня, вы находитесь накануне важных решений. Очень, очень важных. Девятка бубен выпала аргонавтам, когда они решили сесть на корабль Арго. Шестерка червей... Благородный, самоотверженный поступок, — сказал Профессор качая головой, точно с сомнением. — Восьмерка червей... Свершится то, чего вы давно и страстно желаете... Думаю, что вы будете счастливы.

— Значит, вы не уверены?

Профессор немного помолчал.

— Сударыня, в жизни есть два начала: доброе и злое. Какое из них сильнее, этого не дано знать людям. На первый взгляд, ненависть более могущественное начало, чем любовь. Но прочно в жизни только доброе начало. Вечное начало любви, то единственное, что дает счастье в жизни. Ненависть приносит удачу, счастья же она не дает, — сказал он и задумался, с сокрушением глядя на даму. Профессор точно вдруг спохватился. — Вот то, что я пока могу вам сказать. Но, как вы знаете, ваш гороскоп еще не вполне составлен. Показания небесных светил обычно не расходятся с показаниями карт. Однако бывали и исключения. Великий Валленштейн был исключением... Еще был ли он, впрочем, велик? У великих людей этого рода в сущности необыкновенна была только энергия. Всем их идеям была грош цена. Может быть, и как людям им была грош цена... Не всем, конечно, — вставил Профессор, опять спохватившись. — Это, конечно, не относится к такому необыкновенному чело-

веку, как Фюрер... Вы спрашиваете, женится ли на вас человек, которого вы любите. Я должен вернуться к тому, что сказал в письме. Для полной уверенности я должен составить и его гороскоп. Вы на это согласны?.. Если вы небогаты, я сделаю для вас скидку. Второй гороскоп обойдется вам всего в сто марок. Деньги совершенно меня не интересуют.

— Дело не в деньгах!.. Но... Я не могу вам назвать его имя... Это было бы с моей стороны нескромно.

— Его фамилия мне не нужна. Я ведь не спрашивал о фамилии и вас. Для удобства я желал бы знать ваше имя?.. Впрочем и это не обязательно. Прародительница женщин была Ева, — с улыбкой сказал Профессор то, что он говорил всем клиенткам, не желавшим себя назвать. — Так вас и будем называть в гороскопе. Мне нужно знать число и год его рождения или число и год его зачатия. Больше ничего.

— Как?.. Как вы?.. Как можно знать число зачатия человека?

— Разумеется, в громадном большинстве случаев дату зачатия можно знать только приблизительно. Но небесные светила не меняют своего положения в домах Зодиака в одно мгновение. Ошибка в несколько дней не имеет большого значения. Ведь даты рождения людей в древности не были известны с совершенной точностью. Между тем их гороскопы были составлены и сбылись... Разве вам неизвестна дата рождения человека, которого вы любите?

— Нет... Да, она мне известна... Он родился 22 апреля 1889 года.

«Не очень же он молод, ее голубчик!» — подумал Профессор с некоторым удивлением. Он взял стилограф, наполненный красными чернилами, и написал на блокноте красивым четким почерком с завитушками: «Рожд. 22 апреля 1889 г.»

— Оба гороскопа будут готовы через неделю. Зайдите ко мне в среду, опять в сидеральный час Сатурна... В десять часов утра, — пояснил Профессор и вспомнил, что через неделю он, быть может, уже уедет. — Или, если хотите, заплатите мне

сейчас, а я пошлю вам гороскоп по почте . . . До востребованья, до востребованья.

— Ради Бога . . . Ради Бога, сообщите мне все раньше!

— Хорошо, во вторник.

— Еще раньше, умоляю вас. Неужели нельзя получить гороскоп завтра? Ну, хоть послезавтра.

— Тогда мне придется работать всю ночь. Я готов для вас и на это, но я должен буду прибегнуть к помощи одного молодого сямца, которого я посвятил в простейшие тайны нашей науки. Он помогает мне в вычислениях. Вы поймете, однако, что я не могу эксплуатировать его труд. Это будет вам стоить еще пятьдесят марок.

— Я охотно заплачу что надо. Нельзя ли завтра? . .

— Нет, завтра нельзя, — строго сказал Профессор. Он спорил только для престижа: ему было совершенно все равно, когда сдать гороскоп. — Знаю, с каким трепетом люди ждут моих предсказаний. Поверьте, вам нечего волноваться: мне уже почти ясно, что гороскоп будет благоприятен. Он женится на вас.

— Вы думаете? Вы уверены?

— Я почти уверен: почти, — внушительно сказал Профессор.

### III.

Четыреста марок были деньги. Однако настроение духа у Профессора улучшилось лишь на несколько минут. Неприятное ощущение под ложечкой не проходило. «Настоящее счастье в мире одно: никогда не чувствовать ни одной точки своего тела. И именно это счастье мы начинаем ценить только тогда, когда оно исчезает», — подумал Профессор. Он любил философию и в молодости одолел половину «Критики Чистого Разума»; только дочитав до 300 станицы, решил, что незачем истязать себя: «я не приват-доцент и не факир». Книг же вообще прочел довольно много.

Профессор спрятал деньги в потайной ящик письменного

стола. Минна воровала только натурой: таскала сахар, кофе, реже простыни, но денег не брала. Лучше было однако не вводить людей в искушение. В ящичке лежало пять тысяч марок, триста пятьдесят швейцарских франков, девять золотых монет императорского времени, золотой портсигар, два кольца. Больше у Профессора ничего не было. Страхового полиса он не имел, так как не верил в прочность валюты, в банке денег не держал, так как не верил банкам. При виде военного с пышными усами, с гордо закинутой головой, Профессор, вздохнув, подумал, что в то счастливое время человека, не верившего банкам, сочли бы психопатом, а о падении валюты никто и не слышал. «Да, плохо. Все стало гадко. Пожалуй, еще можно улететь».

Один сановник-клиент, хорошо к нему относившийся и гораздо более благодушный, чем другие, мог достать ему место на аэроплане. Виза в Швейцарию у Профессора была готовая: он давно чувствовал, что их дело идет к концу, — так вошел с годами в роль восточного волшебника, что теперь на немцев смотрел как бы со стороны и даже мысленно говорил «они». «Везде в мире очень многое зависит от успеха, но у них от успеха зависит решительно все. Они циники и нигилисты, сами того не замечая», — думал Профессор. Тем не менее уезжать было тяжело. Он любил Германию, любил Берлин, когда-то такой уютный, любил свою квартиру, мебель, вещи. «Минна растащит все... И как же это: уехать навсегда? В политике будто бы ничего не бывает «навсегда». Но когда человеку под семьдесят лет, то «навсегда» не очень много и значит»... С некоторых пор стал читать медицинские статьи в газетах. «Однако гороскоп дал прекрасные результаты»...

Профессор не верил ни в хиромантию, ни в офиомантию, ни в рабдомантию. В сны не верил совершенно: они обычно бывали слишком глупы даже для самых глупых клиентов. Но в астрологию, в настоящую астрологию, он верил твердо. Помнил, что Теаген с точностью предсказал Октавию его судьбу, что Скрибоний составил изумительный гороскоп Тиберию, что Нострадамус предсказал мировые события за четыре столетия

вперед. Для своих клиентов он особенно не старался: нельзя было тратить месяц на каждого клиента. Над собственным же своим гороскопом работал очень долго и лишь недавно его закончил. Он вынул тетрадь в прекрасном кожаном переплете.

В тетради были отлично вычерченные карты, страницы расчетов, текст заключений. Все было написано разноцветными чернилами, старинным письмом. В день рождения Профессора Солнце и Сатурн шли параллельно в 9-ом и 10-ом домах Зодиака. Так было в день рождения Людовика XIV, и этот король жил 77 лет. Сатурн находился в сфере слияния Марса. Это обычно ничего хорошего не обещало. Влияние Марса сказалось на судьбе Сади Карно, который, правда, стал президентом французской республики, но был заколот анархистом. «Правда, при некоторых обстоятельствах влияние Марса парализуется влиянием Венеры, и у меня дело обстоит именно так. Гороскоп отличный... Но уезжать все-таки надо. Денег года на два, при скромной жизни, хватит и в Швейцарии. Правда, очень противна скромная жизнь», — рассеянно думал он сразу о нескольких предметах.

В передней вдруг прозвучал звонок, совершенно не похожий на первый: властный, долгий, непрерывный. Так часто звонили люди из Гестапо. Профессор поспешно встал и направился к двери. «Что это такое? С ума он сошел, что ли»... Посетитель не отнимал пальца от пуговки. В переднюю не вошел, а скорее ворвался высокий, очень широкоплечий человек в черном штатском пальто. «Грабитель!»

— Что такое? .. Что вам угодно?

— Я к вам... По делу, — сказал незнакомый человек неприятным сиплым голосом. Очевидно, он грабителем не был, да грабитель и не стал бы так звонить. Тем не менее Профессор продолжал смотреть на него растерянно. Лицо у незнакомого человека было рассечено шрамом от уха до рта. «Где я его видел? .. Кто это? Чего ему нужно?» Незнакомый человек, не снимая пальто, вошел в кабинет, бросил быстрый взгляд по сторонам, впился тяжелыми глазами в хозяина и, не дожидаясь

приглашения, сел на высокий готический стул, который чуть хрустнул под его тяжестью.

— Прошу покорно садиться, — сказал Профессор, забыв об индонезийском акценте. Сердце у него билось. Он и сам не мог понять причины своего волнения. Никакого злого умысла у этого человека все-таки быть не могло. «Кто такой? Какая зверская морда!.. Шрам не от мензуры, и скорее недавний... Выправка военная, но у кого же из них нет военной выправки? Одет плохо, хотя все новенькое и дорогое. Не умеет носить, не привык»...

— Вы этот... Колдун? — спросил человек с шрамом.

«Может быть он пьян» — подумал Профессор. — «Если бы он был подослан Гестапо, он был бы вежлив и любезен».

— Я не колдун, а астролог, — мягко сказал он. — Я предсказываю людям их участь главным образом на основании научной астрологии. Иногда я пользуюсь также методами хиромантии, онейромантии, офиомантии, рабдомантии и экономантии, — добавил он. Профессор вначале говорил всем одно и то же, но о восходе солнца, о птичках и о Кеплере этому посетителю не сказал. Человек с шрамом тотчас перебил его.

— Я ничего ни в каких таких мантиях не понимаю! Мне сказали, что вы гадаете по картам, по звездам и по руке.

— Смею ли спросить, кто вас ко мне направил?

— Это все равно.

— Мне это действительно все равно. Моя наука, в которой нет ничего недозволенного, открыта всем. Кроме спекулянтов. Ко мне изредка приходят люди, желающие знать, когда кончится война. Им это верно нужно для их биржевых операций. Но небесные светила не интересуются денежными вопросами, и положение планет на небе не может быть использовано для наживы, которая противоречила бы воле Фюрера, — сказал с самым невинным видом Профессор, слышавший, что Гестапо в последнее время подсылало к предсказателям провокаторов, справлявшихся о будущем курсе военных займов. «Вот сейчас увидим, спросит ли он, кто у меня бывал по этим делам». У Профессора был готов ответ, что он никогда не спрашивает

фамилию клиентов. Однако человек с шрамом такого вопроса не задал.

— А что показывают эти... небесные светила? — спросил он.

«Нет, не провокатор», подумал Профессор. «Может быть, клиент из Гестапо, таких много. А может быть, и не из Гестапо». Ему было хорошо известно, что у многих деятелей Гестапо вид очень мирный и добродушный.

— Наша наука, — сказал он уже спокойнее и с индонезийским акцентом, — основана на одном факте, проверенном мудростью столетий. Этот факт заключается в следующем. В жизни каждого человека бывают два момента, когда его судьба пишется на небе и определяется на всю жизнь. Это день его рождения и день его зачатия. Впрочем, древние мудрецы определяли положение небесных светил еще и в третий момент: в день смерти человека.

— Зачем в день смерти человека?

— Для определения благоприятного момента для погребения: для того, чтобы обеспечить человеку радушный прием в лучшем мире, — сказал Профессор и увидел, что радушный прием в лучшем мире не интересует этого клиента. «Конечно, грубый материалист, как они все», — подумал он с презрением: терпеть не мог материалистов. «По всей видимости, наци... Это мы тоже сейчас проверим. — Показания небесных светил, — продолжал он, — желательно пополнять показаниями волшебных карт. Есть разные системы гадания по картам. Я, например, никогда не пользуюсь древней системой египетского тарока, потому что в нем все основано на сопоставлении судьбы человека и букв еврейского алфавита. Это было бы несогласно с предначертаниями Фюрера. Каждая буква еврейского алфавита, как мне известно из обличительной литературы, что-то означает. Так, буква «шин» означает близкое сумашествие, а буква «ламед» — виселицу.

— Ламед? — повторил, вздрогнув, незнакомец.

— Да. Как арнец, я не желаю пользоваться этой системой,

хотя Аристотель именно по ней предсказал будущее Александру Македонскому.

— «Ламед»! К чорту ламед! — сердито сказал незнакомец. «Так и есть, наци. Едва ли офицер. Скорее из Гестапо или дружинник», — подумал Профессор.

— Я и говорю. Но есть другие, чисто-арийские, системы. Вам угодно ограничиться картами?

— Сколько все это стоит?

— С вас я взял бы всего двадцать марок за гадание по картам и столько же за гаданье по линиям руки. Гороскоп должен стоить дороже: пятьдесят марок, — сказал Профессор. Он назначил ничтожный гонорар, лишь бы не спорить с этим человеком и поскорее от него освободиться.

— Я вам дам за все пятьдесят марок. Этого больше, чем достаточно.

— Деньги меня совершенно не интересуют. Я согласен, — сказал Профессор. — Благоволите показать мне руку. «Ну, и рука! Ему бы быть палачем!» — Рука у человека с шрамом была толстая, громадная, с волосатыми короткими пальцами. «Пальцы короче кисти — бестиальность. Линия жизни, к сожалению, длиннейшая. А вот на линии головы островок: быть может, он сойдет с ума. Если он уже не полусумасшедший. Давно я не видел столь противной фигуры!»

— Ваша линия жизни очень длинна. Это почти обеспечивает вам долгую жизнь. Правда, она красна и широка.

— А это что значит? — быстро спросил человек с шрамом.

— Это свидетельствует о сильных страстях. Извините меня, у вас тяжелый характер, — сказал Профессор. Он собственно больше и не смотрел на руку клиента: смотрел, скрывая отвращение, на его лицо. — У вас есть враги. Опасные враги, но и вы им опасный враг.

— Что с ними будет? — спросил незнакомец, слушавший очень внимательно.

— По вашей руке я могу предсказывать только вашу судьбу. Если вы хотите знать судьбу ваших врагов, вы должны прибегнуть к картам и к гороскопу... Я продолжаю. В мире

есть два начала: начало любви и начало ненависти. Вы начала любви не выражаете. Линия головы...

— О чем говорит линия головы? — перебил его человек с шрамом.

— Об умственных и моральных особенностях человека...

— Это меня не интересует, — сказал незнакомец, отдернув руку так резко, что Профессор вздрогнул. — Перейдем к картам. Но так как предсказанье по руке не закончено, то я за него заплачу вам меньше. Сколько всего есть линий?

— Пять, — сухо ответил Профессор, хотя линий было девять.

— Вы хотели за предсказанье по руке двадцать марок. Значит, я вычту шестнадцать.

— Очень хорошо... Вы хотите знать вашу судьбу или судьбу вашего врага? Главного врага? Отлично, — сказал он и взял в руки колоду. По правилам здесь надо было бы произнести: «Сусабо! Мизрах! Табтибик!», но Профессор смутно чувствовал, что этого теперь говорить не надо. «Каков может быть его враг?» Он принялся метать.

— Червонный король, — неопределенно заметил он. — Но на эту карту нельзя гадать вашему врагу. Червонный король означает мирную натуру, целиком отданную религии, богоугодным и благотворительным делам.

Человек с шрамом грубо рассмеялся.

— Да, ему на эту карту гадать нельзя!

— Я так вам и сказал... Его карта будет первой слева... Шестерка пик. Я так и думал.

— Что означает шестерка пик?

— Шестерка пик означает страшный обман, замеченный слишком поздно. Троянцам выпала шестерка пик, когда они впустили в свои стены греческого коня. «Кажется, подействовало. Больше не гогочет», — подумал Профессор. — Тройка пик, еще хуже: танец смерти, его танцуют Парки... Я не хотел бы быть на месте вашего врага. Быть может, вы не настаиваете на составлении его гороскопа?

— Когда может быть готов его гороскоп?

— Обычно это берет три дня . . .

— Я должен иметь все завтра.

«Странно, странно», — подумал Профессор. Его безотчетная тревога росла. Этому клиенту он не сказал о молодом сиапце и не потребовал прибавки.

— Хорошо, я вам пошлю завтра. Благоволите сообщить мне день рождения или день зачатия вашего . . . знакомого, — сказал он, снова вынимая из кармана самопишущее перо.

— Как же к чорту можно знать день зачатия человека?

— Ошибка в несколько дней не имеет большого значения. Небесные светила не меняют в одно мгновение своего положения в домах Зодиака. Надо просто вычесть 270 дней из даты рождения.

— Его день зачатия 17 июля 1888 года, — сказал, подумав, человек с шрамом.

— 17 июля 1888 года, — повторил Профессор и записал на том же листе блокнота: «Зач. 17 июля 1888 г.» Неприятное ощущение под ложечкой у него вдруг усилилось. — Это все. Завтра я пошлю вам гороскоп куда вы укажете.

— Я сам зайду за ним завтра, в 11 утра, — сказал незнакомец. Профессор хотел было сказать, что завтра не будет дома, но вместо этого поспешно ответил:

— Я мог бы послать до востребования. Разумеется, как вам угодно.

— Послушайте, — вдруг нерешительным, почти просящим, тоном сказал незнакомец. — Я вижу, вы дельный человек . . . Вы только предсказываете события? Я хочу сказать: быть может, вы умеете . . . Вы умеете на них и влиять?

«Вот оно что!» — подумал Профессор.

— Нет, я влиять на них не могу, — ответил он холодно. Его самоуверенность увеличилась, как только уменьшилась самоуверенность клиента. — Я могу сказать, что будет с этим человеком, но его участь от меня не зависит . . . Вероятно, вы, узнав его карты, хотите ему помочь? Нет, я тут ничего не могу сделать. Карты показали, что ему грозит тяжелая участь. Если

гороскоп это подтвердит, то никакие силы спасти вашего знакомого не могут.

— Вы угадали, я именно хотел помочь ему, — сказал, вставая, человек с шрамом.

Проводив его, Профессор вернулся в самом мрачном настроении духа. Он испытывал такое чувство, будто после ухода этого клиента надо отворить в кабинете окна и впрыснуть карболкой готический стул. «Конечно, он хочет кому-то сделать большую пакость. Но тогда, значит, он не из Гестапо? Люди из Гестапо могут сделать кому угодно пакость и без астрологов» . . . Профессор хотел было вернуться к своему гороскопу, но почувствовал, что больше не в состоянии сосредоточиться. «Разве выпить?» — подумал он. Профессор вышел в столовую и, хотя это было строго запрещено врачом, выпил залпом три рюмки коньяку. Стало легче. Он вернулся в кабинет, сел за стол, рассеянно взглянул на блокнот — и помертвел.

На листке, одна под другой, были написаны две даты: 22 апреля 1889 года и 17 июля 1888 года. Профессор мысленно добавил 270 дней. Кровь отливала у него от сердца. «Что же это? . . . Господи, что же это такое! . . . Быть не может! . . . Да, конечно, это он! . . . Ведь я им сам сказал, что ошибка в два-три дня не имеет значения, они изменили дату, каждый по своему. Но кто же они? Чего он хотел? Что я им сказал? . . . Господи!» . . . Ему было теперь ясно, совершенно ясно, что женщина и человек с шрамом, незаметно, замечая следы, говорили с ним об одном и том же человеке: 20 апреля 1889 года родился Гитлер.

«Но если так, то надо бежать! Бежать сейчас же, сию минуту», — сказал себе Профессор. Он понимал, что запутался в страшную историю. «Правда, ей я ничего не сказал! Сказал только, что она выдет за него замуж . . . Ему и это может очень не понравиться. Но тот! Что я наговорил тому! . . .» В памяти Профессора замелькали обман, троянский конь, танец смерти, тяжелая участь, никакие силы. «Кто же это был? Заговорщик? Провокатор? Одно хуже другого. По тому заговору погибли десятки ни в чем неповинных людей!» Он ясно понимал, что для людей, запутавшихся хоть как-нибудь, хоть очень отда-

ленно, в дело о заговоре, есть только одно спасенье: бежать, бежать без оглядки, бежать, не теряя ни минуты.

Тяжело дыша, Профессор прошелся по кабинету и столовой, выпил еще большую рюмку коньяку, затем отворил потайной ящик, рассовал по карманам все, что там было, взял с собой кожаную тетрадь. Паспорт всегда находился при нем. «Неужели так навсегда все бросить?..» Опустил шторы и снова их поднял. «Если он места не даст, я все равно сюда не вернусь. Оставить записку Минне? Нет, не надо... Теперь она, конечно, все разворует... Да может быть, мне все приснилось?.. Может быть, я сошел с ума?.. Ведь мой гороскоп благоприятен!.. А если он именно потому и благоприятен, что я сейчас уйду отсюда и вечером улечу в Швейцарию? Нет, нет, оставаться здесь нельзя!.. Взять с собой вещи? А вдруг они уже следят? Уж лучше вернуться за вещами в сумерки... Первым делом надо узнать об аэроплане»... Он надел пальто, запер за собой дверь и вышел на улицу, оглядываясь по сторонам.

#### IV.

В этом глубоком двухэтажном подземельи были телефоны, радиоприемники, телеграфные аппараты, трещали пишущие машины, снизу доносился слитный, ставший почти незаметным, шум моторов, а сверху отдаленный, с каждым днем усиливавшийся гул каннонады. Мимо кухни, через общую столовую, стараясь не оглядываться по сторонам, точно им было стыдно, подчеркнуто-бодрой решительной походкой проходили фельдмаршалы и генералы. В сопровождении сыщиков и телохранителей, тоже очень быстро, но теперь с менее решительным видом, спускались по лесенке в нижний этаж убежища люди, значившие в последние годы больше фельдмаршалов. Днем и ночью по коридорам, лестнице, столовой, небольшой проходной комнате, названной «конференц-залой», растерянно пробегали секретари, слуги, шофферы, рассыльные и, случалось, толкали сановников, сами тому на бегу изумляясь.

Лица у всех были зеленые, с воспаленными глазами, изму-

ченные от бессоницы, от вечного электрического света, от вечного шума, от спешки, от страха, от желания казаться спокойными, от тесноты и всего больше от духоты. Несмотря на искусственную вентиляцию, на семисаженной глубине под землей не хватало воздуха. Порядок еще кое-как соблюдался, но прежней дисциплины, почтительности, подобострастия уже быть не могло. В столовой иногда закусывали (не полагалось говорить: обедали, завтракали) телефонистки или стражники из Begleitkommando почти рядом (все же не совсем рядом) с людьми, имена которых в последние двенадцать лет беспрестанно упоминались в газетах всего мира. И хотя люди эти делали вид, будто им очень приятна товарищеская близость с младшими сослуживцами, и ласково улыбались, — от их престижа, после смущения первых дней, уже оставалось немного. Из левой комнаты нижнего этажа, служившей кабинетом самому главному вождю, иногда и в верхний этаж доносились истерические крики. В этот кабинет и теперь еще на цыпочках входили секретари и как бы на цыпочках сановники. Около дверей стояли зверского вида часовые из Reichssicherheitsdienst и быстро поглядывали на проходивших сыщики из Kriminal Polizei; однако все понимали: то да не то, — если вражеская армия подходит к Берлину, то значит Фюрер не совсем Фюрер. Смельчаки же, особенно из военных, случалось, пожимали плечами, слыша доносившийся из кабинета или из конференц-залы дикий гортанный крик, еще недавно наводивший по радио страх на весь мир.

За столом в кантине некоторые служащие с жаром говорили, какое было бы счастье умереть за Фюрера. Сановники одобрительно кивали головой. Думали же об этом всерьез лишь очень немногие: эти понимали, что их все равно найдут и не пощадят. Они наскоро вспоминали то, что знали о Валгалле, о Нибелунгах, о последней картине Götterdämmerung, о прыжке Брунгильды в костер Зигфрида. Больше всего, задыхаясь от отчаянья, ненависти, бешенства — была в руках полная победа! — думал об этом самый умный из находившихся в убежище людей, — человек, который был талантливее Гитлера, говорил

лучше, чем он, и не стал самым главным вождем преимущественно из за неподходящей наружности.

Были в подземельи и люди, собиравшиеся ценой гитлеровой головы спасти свою собственную. Теперь это мысленно называлось: освободить Германию от безумца. Один же из главных сановников, чуть ли не лучший друг Фюрера, превосходный архитектор и техник, проходя с любезной убылкой по подземелью, ласково раскланиваясь с младшими товарищами, обмениваясь крепкими, много без слов говорившими, рукопожатиями с другими сановниками, заглянул в вентиляционный отдел и принял давно задуманное решение: ввести в трубу ядовитый газ, лучше всего Табин или Сарин, изготовленные на случай химической войны, — тогда через несколько минут погибнут — **что-ж**, легкой безболезненной смертью — и сам Фюрер, и все важнейшие вожди. «Да, это будет нетрудно», — подумал сановник, обсуждая про себя технические подробности. Выйдя из убежища, он принялся за осуществление плана, — позднее был очень огорчен, узнав, что в подземельи есть отводная труба, благодаря которой Фюрер может и не погибнуть.

Однако и этот сановник, и генералы, теперь снова считавшие Гитлера невежественным безумцем, и люди, спустившиеся в подземелье для того, чтобы помочь Гитлеру совершить самоубийство, иногда не могли отделаться от сомненья: что, если он найдет выход из безвыходного положения? что, если он вывернется и на этот раз? Десять лет его сопровождала невиданная в истории удача. По законам логики, по теории вероятности, он давно должен был находиться в могиле: в новой Валгалле или в яме повешенных. Но не все в мире идет по законам логики или хотя бы по теории вероятности.

Громадное же большинство собравшихся в убежище людей сами не знали, для чего их тут держат, чего ждет начальство, на что оно надеется. Думали же почти исключительно о том, как бы спасти шкуру от «казаков». Проще всего было бы незаметно ускользнуть из подземелья. Но это строго запрещалось, инерция дисциплины еще кое-как действовала, да и выйти из подземелья при все усиливавшейся бомбардировке

было чрезвычайно опасно. В трезвом виде люди скрывали друг от друга все: мысли, чувства, содержимое бумажников, чемоданов, сумок, поясов. Однако пили почти все, даже женщины, гораздо больше обычного, и иногда языки развязывались. Люди шопотом говорили, что не остается больше ничего кроме капитуляции: — «Еслибы дело шло об американцах или англичанах, это был бы, конечно, лучший исход. Но русские! Казаки! . . .» — «А чем же будет лучше, если казаки нас возьмут без капитуляции?» — «Это, конечно, так, но» . . . — «Кто знает, быть может именно с русскими будет легче всего договориться. Сталин очень умный человек, я всегда это говорил!» — «Да разве о н согласится на капитуляцию!» — «Все-таки не можем же мы погибать с женами и детьми оттого, что о н не согласится!»

Случалось же, по подземелью проносился слух, будто в другом подземельи, в глубокой тайне устроен аэродром, что на нем держатся про запас десятки самых лучших новейших аэропланов, что их всех скоро вывезут с семьями и имуществом. Тотчас приходили и более точные сведения: аэродром находится под развалинами гостиницы Адлон, 62 аэроплана вывезут всех сегодня ночью, ровно в 12 часов. Женщины бросались складывать чемоданы, рассовывали драгоценности и валюту по еще более потаенным местам («в суматохе особенно легко украсть!»), жалостно спрашивали мужей: нельзя ли все-таки перед отъездом как-нибудь пробраться к себе на Motzstrasse и захватить оставшееся там серебро, — бедная фрау Коген, ведь все равно ее вещи тогда пропали бы, — просто нельзя себе простить, что так много добра оставили дома, когда уходили в это проклятое подземелье, — но ты мне ни слова не сказал, — разве ты со мной говоришь о важных вещах, — разве я могла знать, — разве это женское дело, — Господи, кто только мог думать? . . .

## V.

В помещении, оставшемся от нового канцлерского дворца, принимал немолодой чиновник с растерянным, измученным

лицом. «Хорошо, что старик», — подумал Профессор, знавший по двенадцатилетнему опыту, что в Германии кое-как еще можно иметь дело лишь с пожилыми людьми. Чиновник изумленно на него взглянул, так же изумленно пробежал пропуск и, вместо того, чтобы заполнить формуляр о посетителе, предложил поискать сановника в убежище. — «Его здесь нет, теперь все в убежищах, спросите там». — «В каком же именно убежище и пропустят ли меня?» — мягко начал Профессор. — «Поищите во всех! Скорее всего у Геббельса», — раздраженно сказал чиновник и, схватив карточку, на которой было напечатано: «Führersbunker», что-то на ней написал. — «Искренно вас благодарю, но если? ..» — «Идите ко всем... Ради Бога, идите!» — вскрикнул чиновник и схватился за голову. — «Извините меня. Теперь прежних формальностей нет». Профессор не обиделся, но был озадачен, в особенности тем, что чиновник назвал министра пропаганды просто по фамилии. «Да видно их дела очень плохи», — подумал он не без удовольствия, хоть с тревогой: к несчастью, с их делами были связаны и его дела.

Он бродил более часа по убежищам Wilhelmstrasse и все не мог добиться толку. Сановника нигде не было. В какой-то Dienststelle сказали, что он уехал на фронт и ожидается с минуты на минуту в «Führersbunker». — «Так я там его — подожду?» робко спросил Профессор и, не получив ответа, отправился в это убежище. Как только он оказался в главном подземельи, находившемся под старым канцлерским дворцом, началась сильная бомбардировка. Люди сбегали вниз, пропусков больше не спрашивали.

Профессор немного осмотрелся: как будто ничего страшного не было. Только дышать было тяжело. Он прошелся по корридору. Какая-то девица отдыхала у пишущей машинки, обмахивая себя вместо веера листом бумаги. Она с любопытством взглянула на Профессора, вынула из сумочки зеркальце и подвела брови карандашем. В конце корридора у лесенки стоял часовой. — «Там верно по ко и Фюрера?» — спросил без индонезийского акцента Профессор. В девице тоже не было ничего страшного, и женщин он боялся меньше. Она засмея-

лась и подкрасила палочкой губы. — «Сначала ее покои, покои Эбе», — сказала она, — «с собственной ванной, не так как мы живем! Но горячей воды все-таки нет, и трубы утром испортились», — радостно добавила девица. — «Его покои дальше, слева от конференц-зала». Профессор был поражен. «Какая Эбе? И уж если Гитлера называют о н ! . . .»

Походив по корридорам, он устало сел на табурет в углу комнаты, которая служила столовой. Ему очень хотелось есть и пить, но он не решился обратиться к угрюмому человеку за стойкой, сердито отпуская пиво и сэндвичи. Проходившие люди иногда поглядывали на него с удивлением, но никто его ни о чем не спрашивал. Говорили о бомбардировке, она усиливалась с каждой минутой. «Надо вести себя здесь очень, очень дипломатично», — думал Профессор. Осмелев, он подошел к одной группе, подошел с неопределенно-любезной улыбкой: каждый мог думать, что его знают другие. Профессор, ласково улыбаясь, послушал разговор. Говорили об ужине, будет яичница с колбасой. «Я полжизни дал бы за то, чтобы закурить», сказал кто-то. — «Полжизни это, может быть, теперь не очень много», — ответил другой. Все преувеличенно радостно засмеялись. «Кажется, они не очень здесь заняты? Странно . . . Может быть, все делается в нижнем этаже?»

К вечеру сановник не вернулся. Люди говорили, что такой бомбардировки еще никогда не было. От волнения ли или от выпитого коньяку у Профессора вдруг начались боли. Он еле добрался до чиновника, ведавшего хозяйством в подземельи, объяснил ему дело, назвав сановника своим близким другом, и попросил разрешения провести ночь здесь. «Говорят, выйти — верная смерть!» Чиновник что-то сердито пробормотал, — повидимому, здесь каждый новый человек считался врагом, — однако велел отвести койку. Поместили Профессора в очень тесную каморку с тремя голыми койками, находившуюся рядом с уборной. Два бывших там молодых человека даже не кивнули головой в ответ на его учтивое приветствие и тотчас, с ругательствами, вышли в корридор.

Воздух в камере был ужасный. В первую минуту Профес-

сор подумал, что не высидит здесь и четверти часа. Он спрятал под матрац кожаную тетрадь и бессильно опустился на койку. Знал, что при болях лучше всего сидеть, не прикасаясь ни чему спиной. «Ах, если бы он приехал утром, если бы он дал мне место! . . . Господи, что же делать? . . .» Он не взял с собой ни пижамы, ни мыла, ни зубной щетки. Из лекарств был только белладональ: накануне купил в аптеке и забыл вынуть дома из пиджака. Профессор с усилием, без глотка воды, проглотил пилюлю.

Через полчаса он почувствовал себя лучше. Снял пиджак, сложил его так, чтобы ничто не могло выпасть из карманов, и прилег, положив его себе под голову. Думал, что в убежище должны быть блохи, мыши, даже крысы. Думал, что не сомкнет глаз. Однако скоро мысли его стали мешаться. «Все-таки гороскоп благоприятен, очень благоприятен», — говорил он себе. Иногда пользовался системой Куэ, но она давала хорошие результаты только тогда, когда и обстоятельства жизни складывались с каждым днем лучше, все лучше.

Молодые люди вернулись поздно и, повидимому, были навеселе. Он заметил, что на них белые чулки. «Значит, принадлежат к его молодежи, к фанатикам. Вероятно, они служат на кухне или в кантине» . . . Они тоже легли на свои койки не раздеваясь. Засыпая, он смутно слышал их разговор. — «Ну, что, кажется, ты еще не улетел?» — саркастически спросил старший. — «Нет, я еще не улетел», — ответил, подумав, другой, видимо понимавший шутки не сразу. — «62 аэроплана еще стоят под гостинницей Адлон?» — «Да, они еще там стоят». — «Куда же нас увозят? В Москву?» — «Нет, совсем не в Москву. Зачем в Москву? В Москве русские. Нас увезут в Берхтесгаден». — «А что же мы будем делать в Берхтесгадене?» — «Как, что делать? Защищать Фюрера и Германию. Там приготовлены неприступные укрепления». — «Такие же неприступные, как линия Зигфрида, или еще лучше?» — «Говорят, еще лучшие». — «Говорят также, что там в холодильниках приготовлено сорок миллионов гусей с яблоками и столько же бутылок рейнвейна. Впрочем, ты всегда был дураком». — «Нет,

я никогда не был дураком», — ответил, подумав, второй молодой человек.

Под утро Профессор проснулся и опять услышал доносившийся сверху глухой слитный гул. Он взглянул на часы и ахнул: двенадцатый час. Молодых людей в камере не было. Ему очень хотелось пить. Рога для надевания туфель не было. Пришлось подсовывать под пятку указательный палец, это было неудобно и больно. Он сразу устал. Бумажник был цел, кожаная тетрадь по прежнему лежала под тюфяком. «Что будет, если он еще не приехал!» — подумал Профессор, оправляя воротник, галстук, бороду. — «Все-таки где-нибудь же здесь да моются?..» Он вышел, чувствуя, что голова у него работает плохо. «Верно, от белладоналя» . . .

Вдруг дверь позади его с шумом распахнулась. Профессор оглянулся и остолбенел. Из уборной выходил Фюрер. По привычке Профессор вытянулся, поднял руку и сорвавшимся голосом закричал: “Heil Hitler!” Впрочем, тут же почувствовал, что лучше было бы не кричать. Фюрер бросил на него быстрый, подозрительный взгляд, — в глазах его проскользнул ужас. При свете фонаря лицо у Гитлера было землисто-желтое, измятое и больное. Он был сгорблен, одна рука у него отвисла, пальцы тряслись. «Просто узнать нельзя!» — с удовольствием подумал Профессор, не раз видевший его, и вблизи, и издали. Гитлер немного разогнул спину, тоже поднял руку и, должно быть, хотел придать себе величественный вид. «Правда, очень трудно принять величественный вид человеку, выходящему из уборной... Верно, его уборная испортилась?.. Или это для общения с массами: у Фюрера одна уборная с обыкновенными людьми!.. Затравленный зверь! Что-ж, не все же травить других», думал Профессор, с изумленьем глядя вслед Гитлеру. Впереди люди отшатывались к стене, вытягивались и поднимали руки, но никто приветствия не выкрикивал.

Перед стойкой кантины выстроилась очередь. Кофе не было. Профессору сунули в руку бутерброд и кружку пива. Он отошел с ними в угол и прислонился к стене, чтобы не упасть. «Холодное пиво при камнях строго запрещено. Это го-

раздо вреднее, чем коньяк», — подумал он. Но ему мучительно хотелось пить. Он с наслаждением залпом выпил всю кружку и откусил кусочек хлеба. Вдруг шагах в двадцати от себя он увидел человека с шрамом! Он пил что-то прямо из бутылки, запрокинув назад голову. Профессор уронил бутерброд, вскрикнул и на цыпочках побежал по корридору.

В каморке он повалился на свою койку. Боли у него тотчас усилились. Через полчаса они стали невыносимы. Он подумал, что у него камень проходит через канал: врачи говорили, что это может случиться. Стоны его понемногу перешли в крики. Таких болей он никогда в жизни не испытывал. Хотел было достать белладональ, но и это было выше его сил.

Старший из молодых людей, зайдя в камеру, изумленно на него взглянул и спросил, что с ним. Спросил грубо, впрочем, больше потому, что не умел говорить иначе. — «Доктора... Ради Бога, доктора», — прошептал Профессор. Молодой человек пожал плечами и вышел. В подземном убежище были врачи Фюрера, беспрестанно дававшие ему какие-то особые, нарочно для него придуманные, снадобья, и почти целый день проводил врач для простых людей.

Минут через двадцать врач для простых людей пришел с молодым человеком, осмотрел Профессора и что-то ему впрыснул. — «Его бы отсюда убрать. Куда-нибудь в больницу, что-ли? Что ему здесь валяться? Только будет мешать спать людям, которые целый день работают», — сердито сказал молодой человек. — «Может быть, и автомобиль за ним прислать?» — спросил врач. В убежище теперь очень многие говорили только в саркастическом тоне. — «Лежите здесь, я буду заходить», — добавил он.

Боль у Профессора стала слабеть, затем совершенно исчезла. В бреду он горячо благодарил молодого человека, с жаром говорил, как он любит Фюрера, говорил, что президент Рузвельт был прекрасный человек, что наверное очень хороший человек и президент Труман, что скоро сюда придут американцы. Они арестуют того злодея, уберут эту уборную, очистят воздух и дадут очень много денег на восстановление Германии,

как они всегда делали. Говорил, что он получит от американцев большое вознаграждение, если Минна разворует его квартиру, что он немедленно уедет в Швейцарию, где не гуляют на свободе такие страшные люди. Говорил также, что очень хотел бы принять ванну и что у порядочного человека есть только один идеал, купаться должно быть также обязательно, как... Молодые люди, теперь совсем пьяные, вели свой разговор. — «Дурак, я тебе повторяю, он женится на Эбе. Она сама рассказывает, что скоро будет фрау Гитлер», — говорил старший. — «Я не дурак, а ты все врешь», — ответил другой. — «Я никогда в жизни не врал! Что угодно могут обо мне сказать, но никто не скажет, что я вру!» — «А вот я скажу». — «Ее зовут Ева Браун, и она колдунья!» — продолжал первый молодой человек. — «Фюрер не может жениться на колдунье», — возражал другой. Старший заплетающимся языком что-то сказал о молодоженах, о свадебном путешествии, об Амуре и Венере. Профессор не слушал их разговора, как они не слушали его бреда. Но слово «Венера» дошло до его сознания. На глазах у него выступили слезы. В день его рождения Солнце и Сатурн шли параллельно в 9-ом и 10-ом домах Зодиака. Марс же тут ничего поделывать не мог, так как его по рукам и по ногам скрутила добрая и могущественная богиня Венера.

## VI.

Сколько он пролежал в своей камере, Профессор потом не мог выяснить: потерял счет времени. Врач к нему заходил каждый день, давал питье, делал впрыскивания. Как-то спросил его имя и записал. Это ничего хорошего не предвещало, хотя Профессор теперь чувствовал себя много лучше.

— Доктор, мое положение опасно? Скажите правду, — прошептал он.

— Было опасно. Теперь, думаю, опасность миновала, — ответил врач. — Я хочу сказать: опасность от болезни. Русские в трех километрах отсюда, — уходя, добавил он сские в трех километрах отсюда, — уходя, добавил он с усмешкой.

«Русские? Как русские? Как в трех километрах?» — с недоумением подумал Профессор. — «В трех километрах, это значит, что они в Берлине? Вероятно, я ослышался... Он, впрочем, не чувствовал тревоги. Какое ему было дело до русских! «Точно они могут преодолеть волю Венеры!» — подумал он и опять задремал.

Когда он проснулся, в камере было странно тихо. Профессор прислушался: слышен ли сверху слитный гул. «Кажется, слышен... Нет, не слышен... Ах, как я устал, как я слаб!» Он надел туфли, отдохнул после этого усилия, почистил как мог пиджак и вышел, слегка пошатываясь.

В коридоре никого не было. Подземелье как будто опустело. Исчез и стоявший у лесенки часовой. В конференц-зале сидели двое военных и та самая девица. Перед ними на столе стояла бутылка. На одного из этих военных, немолодого подполковника, Профессор обратил внимание еще в первый день: лицо его было совершенно изрезано шрамами от мензур. «Но он тогда был без монокля»... Все трое курили, что прежде было строго запрещено. Вид у них был оживленный, почти веселый и вместе несколько растерянный. Девица улыбнулась Профессору, как старому знакомому.

— Где же вы были? На свадьбе? — спросила она. Язык у нее немного заплетался. Подполковник выпустил из глаза монокль и снова вдел его. Второй офицер, артиллерийский капитан как будто остался недоволен словами девицы.

— Какие события, какие события! — сказал он. — Человеческий ум теряется! В чем был смысл?..

— Смысл очень ясен, — сказал подполковник, не обращая никакого внимания на незнакомого человека. — Смысл в том, что Шикельгруберы не должны были командовать германской армией. — Он опять выпустил монокль, что, повидимому, доставляло ему удовольствие, и хотел было подлить себе коньяку, но бутылка оказалась пустой. — К несчастью, он был музыкален. Его погубил Вагнер. И та дура тоже была из «Нибелунгов»... "Walküre bist Du gewesen!" — с напевом продекламировал он.

Артиллерийский капитан вздохнул.

— Посмотрим, что сделает Дениц . . . Нет, ум человеческий теряется, просто теряется. Увидите, придет новый Кант или Гегель и объяснит, и все сразу осветится как от света молнии!

— Свадьба была в комнате карт. Подали шампанское. Для Эбе, конечно, нашлось шампанское, — сказала девица, подмазывая палочкой губы.

— Тогда он всем и объявил о своем намерении покончить с собой, — заметил, вздыхая снова, капитан. — Впрочем, не объявил, а только дал понять. Еслиб объявил, то даже они не устроили бы бала.

— Было очень весело. Я танцевала с Борманом, он чудно танцует, — сказала девица.

— Отчего же не с Геббельсом? Этот красавчик создан для танцев. Говорят, он сегодня тоже покончит с собой. Жаль, что все они не сделали этого раньше, особенно Шикельгрубер, — сказал подполковник. Он имя «Шикельгрубер» выговаривал как-то особенно, ласково-саркастически, растягивая первую букву, точно в ней было все дело.

— Геббельс хочет отравить детей, — сказала девица. — Ему все равно, потому что это не его дети. Она изменяла ему на каждом шагу. Он женился на ней в пьяном виде . . . Бедный этот, актер, как его? . . . Вашего несчастного фельдмаршала я тоже раз видела, — сказала она, обращаясь к подполковнику, лицо которого дернулось.

— Все-таки, как же это было? Одни говорят, пулю в рот, другие — пулю в сердце.

— Эбе отравилась, — сказала девица. — Мне говорил Кемпка, он выносил ее в сад.

— Там будто бы вчера разстреляли Геринга, — сказал капитан.

— Вздор! Господин «райхсфельдмаршал» давно ускакал в Каринголл.

— Верно, чтобы еще раз нацепить на Эмми все бриллианты, — вставила девица. — И что он в ней нашел! Она не только не красавица, но даже не хорошенькая . . . Мне, однако,

говорили, будто он уехал в Баварию, чтобы устроить новую линию защиты.

Подполковник засмеялся.

— Хороша будет защита и хорош защитник! «Ни один снаряд не упадет на территорию Германии»... Что, тот еще горит?

— Час тому назад еще горел, — сказал капитан. — Я издала видел. Они были завернуты в белое, но его черные брюки торчали. Был ужасный запах, я убежал.

— Простите, кто горит? Я не понимаю, — робко спросил барышню Профессор. Голова его совершенно не работала. Подполковник повернулся к нему, точно лишь теперь его заметив.

— Ш-шикельгрубер, — с удовольствием сказал он. — Ш-шикельгрубер с супругой. *Monsieur et Madame Adolphe Schickelgruber.*

— Какие события, ах, какие события! — грустно повторил капитан. — Но увидите, придет новый Кант, и все станет ясно как день.

В кантине, где было много людей, находился покровительствовавший Профессору сановник. Он с жадностью что-то ел. Увидев Профессора, он приветливо помахал ему рукой. Хотя о бегстве в Швейцарию больше не приходилось думать. Сановник крепко пожал ему руку — совершенно как равный — и даже не спросил его, как он оказался в этом убежище. Теперь в самом деле удивляться ничему не приходилось. Он был как тот итальянский фашист, который говорил, что его мог бы удивить только беременный мужчина: «все остальное я видел».

— Каковы дела, а? — сказал он и сгоряча объяснил, почему опоздал и не простился с Гитлером. Впрочем, тотчас пожалел о своих словах, перевел разговор, сообщил, что сейчас уезжает опять на фронт. — А вы, оказывается, были во всем правы, — смеясь, сказал он.

— В чем я был прав?

— Не вы лично, а вы, астрологи. Гитлер как раз на днях послал за своим гороскопом, и оказалось, что звезды все пред-

сказали: его приход к власти, войну в 1939 году, два года блестящих побед, а затем тяжелые поражения.

— Небесные светила никогда не ошибаются. Наша наука основана на фактах, проверенных мудростью столетий, — сказал Профессор.

— Правда, в гороскопе еще говорилось, что в апреле 1945 года Гитлер одержит полную победу над всеми, — продолжал сановник. — Сделайте одолжение, дайте мне еще бокал пива, — ласково обратился он к проходившему буфетчику. Повидимому, он начинал новую главу жизни, как простой, рядовой, самый обыкновенный человек. Буфетчик презрительно взглянул на него и прошел дальше, ничего не ответив. Лицо сановника дернулось, но он тотчас снисходительно улыбнулся с видом Наполеона, терпящего оскорбления по пути на святую Елену.

— Значит, аэропланы еще летают? — спросил после некоторого молчания Профессор.

— Какие аэропланы?.. Помилуйте, фронт сейчас у Ангальтского вокзала. Но подземная дорога еще действует, мы по ней возим солдат, продовольствие и даже артиллерию... Вы живете в западной части города? Я тоже. Хотите, поедем вместе? Мы сядем в вагон с солдатами и вернемся назад с ранеными в район Кюрфюрстендам... Скажите, у вас должны быть знакомые евреи, а? Вы ведь знаете, я никогда не был антисемитом и даже как-то говорил Гитлеру, что нам вредит его антисемитская политика... Между нами говоря, он был не совсем в своем уме, — доверительно сказал, по привычке понизив голос, сановник. — Еслибы вы знали, что он выделял в последние дни! Мне рассказывал генерал Штейнер. В своих приказах он нес совешенный вздор, грозил казнью всем и каждому, хотя больше никто не считался с его приказами и угрозами... У вас наверное найдутся знакомые евреи? Или хоть социал-демократы? Не все же погибли.

— Но как пробраться к подземной дороге?

— Я знаю как. Десять минут могу вас здесь подождать, больше не могу.

Профессор, все пошатываясь, побежал по корридору. Из боковых комнат поспешно выходили люди с чемоданчиками, несессерами, узелками. В своей камере Профессор схватил кожаную тетрадь, подобрал упавший носовой платок и выбежал. Дверь уборной была отворена настежь. Там в башмаках, наде-тых на босу ногу, стоял старший из его соседей по камере. Он бросал в раковину белые чулки.

**М. Алданов.**

# ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА ВОЛЬФА

(Роман)

Из всех моих воспоминаний, из всего бесконечного количества ощущений моей жизни, самым тягостным было воспоминание об единственном убийстве, которое я совершил. С той минуты, что оно произошло, я не помню дня, когда бы я не испытывал сожаления об этом. Никакое наказание мне никогда не угрожало, так как это случилось в очень исключительных обстоятельствах и было ясно, что я не мог поступить иначе. Никто, кроме меня, вдобавок, не знал об этом. Это был один из бесчисленных эпизодов гражданской войны; и в общем ходе тогдашних событий это могло рассматриваться, как незначительная подробность, тем более, что в течение тех нескольких минут и секунд, которые предшествовали этому эпизоду, его исход интересовал только нас двоих, — меня и еще одного, неизвестного мне, человека. Потом я остался один. Больше в этом никто не участвовал.

Я не мог бы точно описать то, что было до этого, потому что все проходило в смутных и неверных очертаниях, характерных почти для всякого боя каждой войны, участники которого меньше всего представляют себе, что происходит в действительности. Это было летом, на юге России; шли четвертые сутки непрерывного и беспорядочного движения войск, сопровождавшегося стрельбой и перемещающимися боями. Я совершенно потерял представление о времени, я не мог бы даже сказать, где именно я тогда находился. Я помню только те ощущения, которые я испытывал и которые могли бы иметь место и в других обстоятельствах, — чувство голода, жажды и томительной усталости; я не спал перед этим две с половиной ночи. Стоял сильный зной, в воздухе колебался слабеющий

запах дыма; час тому назад мы вышли из леса, одна сторона которого горела, и там, куда не доходил солнечный свет, медленно ползла огромная палевая тень. Мне смертельно хотелось спать, мне казалось тогда, что самое большое счастье, какое только может быть, это остановиться, лечь на выжженную траву и мгновенно заснуть, забыв обо всем решительно. Но именно этого нельзя было делать и я продолжал идти сквозь горячую и сонную муть, изредка глотая слюну и протирая время от времени воспаленные бессонницей и зноем глаза. Я помню, что когда мы проходили через небольшую рощу, я на секунду, как мне показалось, прислонился к дереву и стоя зашнул под звуки стрельбы, к которым я давно успел привыкнуть. Когда я открыл глаза, вокруг меня не было никого. Я пересек рощу и пошел по дороге, в том направлении, в котором, как я полагал, должны были уйти мои товарищи. Почти тотчас же меня перегнал казак на быстром, гнедом коне, он махнул мне рукой и что-то невнятно прокричал. Через некоторое время мне посчастливилось найти худую вороную кобылу, хозяин которой был, повидимому, убит. На ней была уздечка и казачье седло; она щипала траву и беспрестанно обмахивалась своим длинным и жидким хвостом. Когда я сел на нее, она сразу пошла довольно резвым карьером.

Я ехал по пустынной, извивающейся дороге; изредка попадались небольшие рощицы, скрывавшие от меня некоторые ее изгибы. Солнце было высоко, воздух почти звенел от жары. Несмотря на то, что я ехал быстро, у меня сохранилось неверное воспоминание о медленности всего происходившего. Мне попрежнему так же смертельно хотелось спать, это желание наполняло мое тело и мое сознание и от этого все казалось мне томительным и долгим, хотя в действительности, конечно, не могло быть таким. Боя больше не было, было тихо; ни позади, ни впереди меня, я не видел никого. И вот, на одном из поворотов дороги, загибавшейся в этом месте почти под прямым углом, моя лошадь тяжело и мгновенно упала на всем скаку. Я упал вместе с ней, в мягкое и темное — потому что мои глаза были закрыты, — пространство, но успел высвободить ногу из

стремени, и почти не пострадал при падении. Пуля попала ей в правое ухо и пробила голову. Поднявшись на ноги, я обернулся и увидел, что не очень далеко за мной, тяжелым и медленным, как мне показалось, карьером, ехал всадник на огромном белом коне. Я помню, что у меня давно не было винтовки, я, наверное, забыл ее в роще, когда спал. Но у меня оставался револьвер, который я с трудом вытащил из новой и тугой кобуры. Я простоял несколько секунд, держа его в руке; было так тихо, что я совершенно отчетливо слышал сухие всхлипывания копыт по растрескавшейся от жары земле, тяжелое дыхание лошади и еще какой-то звон, похожий на частое встряхивание маленькой связки металлических колец. Потом я увидел, как всадник бросил поводья и вскинул к плечу винтовку, которую до тех пор держал на перевес. В эту секунду я выстрелил. Он дернулся в седле, сполз с него, и медленно упал на землю. Я оставался неподвижно там, где стоял, рядом с трупом моей лошади, две или три минуты. Мне все так же хотелось спать и я продолжал ощущать ту же томительную усталость. Но я успел подумать, что не знаю, что ждет меня впереди и долго ли еще буду жив, — и неудержимое желание увидеть, кого я убил, заставило меня сдвинуться с места и подойти к нему. Ни одно расстояние, никогда и нигде, мне не было так трудно пройти, как эти пятьдесят или шестьдесят метров, которые отделяли меня от упавшего всадника; но я все таки шел, медленно переставляя ноги по растрескавшейся, горячей земле. Наконец я приблизился к нему вплотную. Это было человек лет двадцати двух, двадцати трех; шапка его отлетела в сторону, белокурая его голова, склоненная на бок, лежала на пыльной дороге. Он был довольно красив. Я наклонился над ним и увидел, что он умирает; пузыри розовой пены вскакивали и лопались на его губах. Он открыл свои мутные глаза, ничего не произнес и опять закрыл их. Я стоял над ним и смотрел в его лицо, продолжая держать немощными пальцами ненужный мне теперь револьвер. Вдруг легкий порыв жаркого ветра донес до меня издали едва слышный топот нескольких лошадей. Я вспомнил тогда об опасности, которая могла мне еще

угрожать. Белый конь умирающего, настороженно подняв уши, стоял в нескольких шагах от него. Это был огромный жеребец, очень выхолонный и чистый, с чуть потемневшей от пота спиной. Он отличался исключительной резвостью и выносливостью; я продал его за несколько дней до того, как покинул Россию, немецкому колонисту, который снабдил меня большим количеством провизии и заплатил мне крупную сумму ничего не стоящих денег. Револьвер, из которого я стрелял, — это был прекрасный парабеллум, — я выбросил в море, и от всего этого у меня не осталось ничего, кроме тягостного воспоминания, которое медленно преследовало меня всюду, куда заносила меня судьба. По мере того, однако, как проходило время, оно постепенно тускнело и почти утратило под конец свой первоначальный характер непоправимого и жгучего сожаления. Но все-таки, забыть это я никогда не мог. Много раз, — независимо от того, происходило ли это летом или зимой, на берегу моря или в глубине европейского континента, — я, не думая ни о чем, закрывал глаза, и вдруг, из глубины моей памяти опять возникал этот знойный день на юге России и все мои тогдашние ощущения с прежней силой возвращались ко мне. Я видел снова эту розово-серую, громадную тень лесного пожара и медленное ее смещение в треске горящих сучьев и ветвей, я чувствовал эту незабываемую, томительную усталость и почти непреодолимое желание спать, беспощадный блеск солнца, звенящую жару, наконец, немое воспоминание моих пальцев правой руки от тяжести револьвера, ощущение его шереховатой рукоятки, точно навсегда отпечатавшееся на моей коже, легкое покачивание черной мушки перед моим правым глазом — и потом, эта белокурая голова на серой и пыльной дороге и лицо, измененное приближением смерти, той самой смерти, которую именно я, секунду тому назад, вызвал из неведомого будущего.

В те времена, когда это происходило, мне было шестнадцать лет — и таким образом, это убийство было началом моей самостоятельной жизни, и я даже не уверен в том, что оно не наложило невольного отпечатка на все, что мне было суждено

узнать и увидеть потом. Во всяком случае, обстоятельства, сопровождавшие его и все, что было с ним связано, — все возникло передо мной с особенной отчетливостью через много лет, в Париже. Это случилось потому, что мне попал в руки сборник рассказов одного английского автора, имени которого я до тех пор никогда не слышал. Сборник назывался «Я приду завтра» — “I’ll Come To-morrow”, — по первому рассказу. Их всего было три: «Я приду завтра», «Золотые рыбки», и «Приключение в степи», “The Adventure in the Steppe”. Это было очень хорошо написано, особенно замечательны были — упругий и безошибочный ритм повествования и своеобразная манера видеть вещи не так, как их видят другие. Но ни «Я приду завтра», ни «Золотые рыбки», не могли, однако, возбудить во мне никакого личного интереса, кроме того, который был естественен для всякого читателя. «Я приду завтра» был иронический рассказ о неверной женщине, о неудачной ее лжи и о тех недоразумениях, которые за этим последовали. «Золотые рыбки» — действие происходило в Нью-Йорке — это был, собственно говоря, диалог между мужчиной и женщиной и описание одной музыкальной мелодии; горничная забыла снять небольшой аквариум с центрального отопления, рыбки выскакивали из очень нагретой воды и бились на ковре, умирая, а участники диалога этого не замечали, так как она была занята игрой на рояли, а он — тем, что слушал ее игру. Интерес рассказа заключался в введении музыкальной мелодии, как сентиментального и неопровержимого комментария и невольного участия в этом бьющихся на ковре золотых рыбок.

Но меня поразил третий рассказ: «Приключение в степи». Эпиграфом к нему стояла строка из Эдгара По: “Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple”. Этого одного было достаточно, чтобы привлечь мое внимание. Но я не могу передать чувства, которое овладевало мной, по мере того, как я читал. Это был рассказ об одном из эпизодов войны; он был написан без какого бы то ни было упоминания о стране, в которой это происходило или о национальности его участников, хотя, казалось бы, одно его название «Приключение в степи»,

указывало на то, что это, как будто, должно было быть в России. Он начинался так:

«Лучшая лошадь, которая мне когда либо принадлежала, был жеребец белой масти, полукровка, очень крупных размеров, отличавшийся особенно размашистой и широкой рысью. Он был настолько хорош, что мне хотелось бы его сравнить с одним из тех коней, о которых говорится в Апокалипсисе. Это сходство, вдобавок, подчеркивалось тем, — для меня лично, — что именно на этой лошади я ехал карьером навстречу моей собственной смерти, по раскаленной земле, в одно из самых жарких лет, какие я знал за всю мою жизнь».

Я нашел там точное восстановление всего, что я переживал в далекие времена гражданской войны в России, и описание этих невыносимо жарких дней, когда происходили наиболее длительные и наиболее жестокие бои. Я дошел, наконец, до последних страниц рассказа; я читал их с почти остановившимся дыханием. Там я узнал мою вороную кобылу и тот поворот дороги, на котором она была убита. Человек, от лица которого велся рассказ, был убежден сначала, что всадник, упавший вместе с лошадью, был по меньшей мере тяжело ранен, — так как он стрелял два раза и ему казалось, что он оба раза попал. Я не понимаю, почему я заметил только один выстрел. «Но он не был убит, ни даже, повидимому, ранен», — продолжал автор — «потому что я видел, как он поднялся на ноги; в ярком солнечном свете я заметил, как мне показалось, темный отблеск револьвера в его руке. У него не было винтовки, это я знаю наверное».

Белый жеребец продолжал идти своим тяжелым карьером, приближаясь к тому месту, где с непонятной, как писал автор, неподвижностью, парализованный, быть может, страхом, стоял человек с револьвером в руке. Потом автор задержал стремительный ход коня и приложил винтовку к плечу, но вдруг, не услышав выстрела, почувствовал смертельную боль неизвестно где и горячую тьму в глазах. Через некоторое время сознание вернулось к нему на одну короткую и судорожную минуту и тогда он слышал медленные шаги, которые приближались к

нему, но все мгновенно опять провалилось в небытие. Еще через какой то промежуток времени, находясь уже почти в предсмертном бреду, он, непостижимо как, почувствовал, что над ним кто то стоит.

«Я сделал нечеловеческое усилие, чтобы открыть глаза и увидеть, наконец, мою смерть. Мне столько раз снилось ее страшное, железное лицо, что я не мог бы ошибиться, я узнал бы всегда эти черты, знакомые мне до мельчайших подробностей. Но теперь я с удивлением увидел над собой юношеское и бледное, совершенно мне неизвестное лицо с далекими и сонными, как мне показалось, глазами. Это был мальчик, наверное, четырнадцати или пятнадцати лет, с обыкновенной и некрасивой физиономией, которая не выражала ничего, кроме явной усталости. Он простоял так несколько секунд, потом положил свой револьвер в кобуру и отошел. Когда я снова открыл глаза и в последнем усилии повернул голову, я увидел его верхом на моем жеребце. Потом я опять лишился чувств и пришел в себя только много дней спустя, в госпитале. Револьверная пуля пробила мне грудь на полсантиметра выше сердца. Мой апокалиптический конь не успел довести меня до самой смерти. Но до нее я думаю, оставалось очень недалеко и он продолжал это путешествие, только с другим всадником на спине. Я бы дорого дал за возможность узнать, где, когда и как они оба встретили смерть и пригодился ли еще этому мальчику его револьвер, чтобы выстрелить в ее призрак. Я, впрочем, не думаю, чтобы он вообще хорошо стрелял, у него был не такой вид; то, что он попал в меня, было, скорее всего, случайно, но, конечно, я был бы последним человеком, который бы его в этом упрекнул. Я не сделал бы этого ещё и потому, что, я думаю, он наверное, давно погиб и растворился в небытии, — верхом на белом жеребце, — как последнее видение этого приключения в степи».

Для меня почти не оставалось сомнений, что автор рассказа и был тем бледным и неизвестным человеком, в которого я тогда стрелял. Объяснить полное сходство фактов со всеми их характерными особенностями, вплоть до масти и описания

лошадёй, только рядом совпадений, было, мне казалось, невозможно. Я еще раз посмотрел на обложку: "I'll Come Tomorrow", by Alexander Wolf. Это мог быть, конечно, псевдоним. Но это меня не останавливало; мне хотелось непременно встретиться с этим человеком. Тот факт, что он оказался английским писателем, был тоже удивителен. Правда, Александр Вольф мог быть моим соотечественником и достаточно хорошо владеть английским языком, чтобы не прибегать к помощи переводчика, это было самое вероятное объяснение. Во всяком случае, я хотел выяснить все это во что бы то ни стало, потому что, в конце концов, я был связан с этим человеком, не зная его совершенно, слишком давно и слишком прочно и воспоминание о нем прошло сквозь всю мою жизнь. По его рассказу, к тому же, было ясно, что он должен был питать ко мне почти такой же интерес, именно оттого, что «Приключение в степи» имело очень важное значение в его существовании и, наверное, предопределило его судьбу еще в большей степени, чем мое воспоминание о нем предопределило ту исчезающую тень, которая омрачила много лет моей жизни.

Я написал ему письмо на адрес лондонского издательства, выпустившего его книгу. Я излагал те факты, которые ему были неизвестны и просил его ответить мне, где и когда мы могли бы с ним встретиться, — если, конечно, это свидание интересует его так же, как меня. Прошел месяц, ответа не было. Было возможно, конечно, что он бросил мое письмо в корзину, не читая и предполагая, что это послано какой нибудь поклонницей его таланта и заключает в себе просьбу прислать свою фотографию с надписью и сообщить мнение о собственном романе корреспондентки, который она ему пошлет или прочтет лично, как только получит от него ответ. Это казалось в какой то мере вероятно еще и потому, что, несмотря на несомненное и настоящее искусство, с которым была написана книга, в ней была, я думаю, какая то особенная привлекательность и для женщин. Но так или иначе, ответа я не получил.

Ровно через две недели после этого мне представилась неожиданная возможность поехать в Лондон для небольшого

репортажа. Я пробыл там три дня и улучил время, чтобы зайти в издательство, напечатавшее книгу Александра Вольфа. Меня принял директор. Это был полный человек лет пятидесяти, представлявший из себя по типу нечто среднее между банкиром и профессором. Он бегло говорил по-французски. Я изложил ему причину моего визита и рассказал в нескольких словах, как я прочел «Приключение в степи» и почему этот рассказ меня заинтересовал.

— Мне хотелось узнать, получил ли мистер Вольф мое письмо.

— Мистера Вольфа сейчас нет в Лондоне — сказал директор — и мы, к сожалению, лишены в данный момент возможности с ним сноситься.

— Это начинает становиться похожим на детективный роман — сказал я не без некоторой досады. — Я не буду злоупотреблять вашим временем и пожелаю вам всего хорошего. Могу ли я рассчитывать на то, что когда ваш контакт с мистером Вольфом возобновится, — если это когданибудь произойдет, — вы напомните ему о моем письме?

— Вы можете быть совершенно спокойны — поспешно ответил он. — Но я бы хотел прибавить одну существенную вещь. Я понимаю, что ваш интерес к личности мистера Вольфа носит совершенно бескорыстный характер. И вот, я должен вам сказать, что мистер Вольф не может быть тем человеком, которого вы имеете в виду.

— До сих пор я был почти уверен в противоположном.

— Нет, нет — сказал он. — Насколько я понимаю, это должен быть ваш соотечественник?

— Это было бы вероятнее всего.

— В таком случае, это совершенно исключено. Мистер Вольф англичанин, я знаю его много лет и могу за это поручиться. К тому же, он никогда не покидал Англии больше, чем на две или на три недели, которые он проводил, чаще всего, во Франции или в Италии. Дальше он не ездил, я знаю это на верное.

— Значит, все это недоразумение, хотя меня это удивляет — сказал я.

— Что же касается рассказа «Приключение в степи», то он вымышлен с первой до последней строки.

— В конце концов, это не невозможно.

Втечение последних минут разговора я стоял, собираясь уходить. Директор тоже поднялся с кресла, и вдруг сказал, особенно понизив голос:

— Конечно, «Приключение в степи» вымышлено. Но если бы это была правда, то я не могу вам не сказать, что вы поступили с непростительной небрежностью. Вы должны были целиться лучше. Это бы избавило от ненужных осложнений и мистера Вольфа и некоторых других лиц.

Я с удивлением смотрел на него. Он улыбнулся очень натянутой улыбкой, которая показалась мне абсолютно неуместной.

— Правда, вы были слишком молоды и обстоятельства извиняют неточность вашего прицела. И потом, все это, конечно, — со стороны мистера Вольфа — только работа воображения, так случайно совпавшая с вашей действительностью. Желаю вам всего хорошего. Если у меня будут новости, я вам их сообщу. Разрешите мне прибавить еще одно; я значительно старше вас, и мне кажется, что я имею на это некоторое право. Уверяю вас, что знакомство с мистером Вольфом, если бы оно произошло, не принесло бы вам ничего, кроме разочарования и не имело бы того интереса, который вы ему напрасно придаете.

Этот разговор не мог не произвести на меня чрезвычайно странного впечатления. Из него было ясно, что у директора издательства были какие-то личные счеты с Вольфом и настоящие — или воображаемые — причины его ненавидеть. То, что он почти упрекнул меня в недостаточно точном выстреле, звучало в устах этого полного и мирного человека по меньшей мере неожиданно. Так как книга была выпущена два года тому назад, то надо полагать, что события, заставившие директора изменить свое отношение к Вольфу, произошли именно в этот промежуток времени. Но все это, конечно, не могло мне дать

никакого представления об авторе сборника «Я приду завтра», единственное, что я узнал, это было отрицательное мнение о нем директора издательства, вдобавок, явно пристрастное. Я еще раз внимательно прочел книгу, мое впечатление не изменилось: тот же стремительный и гибкий ритм рассказа, та же удачность определений, то же безошибочное и, казалось, раз навсегда найденное соединение сюжетного матерьяла с очень короткими и выразительными авторскими комментариями.

Я не мог бы сказать, что я примирился с невозможностью узнать о Вольфе то, что меня интересовало, но я просто не видел, как это сделать. Со времени моего странного лондонского разговора прошел уже целый месяц, и я почти не сомневался, что рассчитывать на ответ Вольфа не следует — может быть, вообще никогда, и во всяком случае, в ближайшем будущем. И я почти перестал думать об этом.

Я жил в те времена совершенно один. В числе ресторанов, где я обедал или завтракал, — их было четыре, в разных частях города, — был небольшой русский ресторан, самый близкий от моего дома, и в котором я бывал несколько раз в неделю. Я пришел туда в Сочельник, приблизительно в десять часов вечера. Все столики были заняты, оставалось одно свободное место — в самом далеком углу, где одиноко сидел празднично одетый, пожилой мужчина, которого я хорошо знал по виду, так как он был постоянным посетителем этого ресторана. Он всегда являлся с разными дамами, трудно определимого в нескольких словах типа, но для жизни которых был, чаще всего, характерен какой то перерыв их деятельности: если это была артистка, то бывшая артистка, если певица, то у нее недавно испортился голос, если просто кельнерша, то вышедшая замуж некоторое время тому назад. У него была репутация дон-жуана — и я думаю, что среди этого круга женщин он наверное, действительно, пользовался успехом. Поэтому меня особенно удивило, что в такой день он был один. Но так или иначе, мне предложили место за его столиком и я сел против него, поздоровавшись с ним за руку, чего раньше мне не приходилось делать.

Он был несколько мрачен, глаза его начинали мутнеть. После того, как я сел, он выпил почти подряд три рюмки водки и внезапно повеселел. Кругом громко разговаривали люди, ресторанный граммофон играл одну пластинку за другой. В то время, как он наливал себе четвертую рюмку, граммофон начал минорную французскую песенку:

Il pleut sur la route  
Le coeur en dérouté . . .

Он внимательно слушал, наклонив голову набок. Когда пластинка дошла до слов:

Malgré le vent, la pluie,  
Vraiment si tu m'aimes . . .

он даже прослезился. Только тогда я заметил, что он уже очень пьян.

— Этот романс — произнес он неожиданно громким голосом, обращая ко мне — вызывает у меня некоторые воспоминания.

Я заметил, что на диванчике, где он сидел, рядом с ним, лежала завернутая в бумагу книга, которую он несколько раз перекаладывал с места на место, явно заботясь о том, чтобы ее не помять.

— Я думаю, что у вас вообще довольно много воспоминаний.

— Почему вам так кажется?

— Вид у вас такой, по моему.

Он засмеялся и подтвердил, что действительно, воспоминаний у него довольно много. Он находился в припадке откровенности и необходимости поговорить, особенно характерном именно для выпивших людей его размашистого типа. Он начал мне рассказывать свои любовные приключения, причем во многих случаях явно, как мне казалось, фантазировал и преувеличивал. Меня, однако, приятно удивило то, что ни об одной из своих многочисленных жертв он не отзывался дурно; во всех его воспоминаниях было нечто вроде смеси разгула с неж-

ностью. Это был очень особенный оттенок чувства, характерный именно для него, в нем была несомненная и невольная привлекательность, и я понял, почему этот человек мог действительно иметь успех у многих женщин. Несмотря на внимание, с которым я следил за его рассказом, я не мог точно запомнить нестройную и случайную последовательность женских имен, которые он приводил. Потом он вздохнул, прервал сам себя и сказал:

— Но лучше за всю жизнь не было, чем моя цыганочка, Марина.

Он вообще часто употреблял уменьшительные слова, говоря о женщинах: цыганочка, девочка, блондиночка, черненькая, быстренькая, — так, что со стороны получалось впечатление, что он все рассказывает о каких то подростках.

Он долго описывал мне Марину, которая, по его словам, обладала всеми решительно достоинствами, что само по себе было довольно редко; но удивительнее всего мне казалось, что она ездила верхом лучше любого жокея и без промаха стреляла из ружья.

— Как же вы решили с ней расстаться? — спросил я.

— Это не я решил, милый друг — сказал он. — Ушла от меня, смугляночка, и недалеко ушла, к соседу. Вот, — он показал мне завернутую книгу — к нему и ушла.

— К автору этой книги?

— А к кому же другому?

— Можно посмотреть? — сказал я, протягивая руку.

— Пожалуйста.

Я развернул бумагу — и мне сразу бросилось в глаза знакомое сочетание букв: "I'll Come To-morrow", by Alexander Wolf.

Это было в такой же степени неожиданно, как удивительно. Я молчал несколько секунд, продолжая смотреть на заглавие. Потом я спросил:

— Вы уверены, что приказчик в магазине не ошибся и не дал вам что то другое?

— Помилуйте — сказал он — какая же тут может быть

ошибка? Я по-английски не читаю, но уж в этом, будьте уверены, не ошибусь.

— Я знаю эту книгу, но мне недавно сказали, что ее автор англичанин.

Он опять засмеялся.

— Саша Вольф, англичанин! Тогда почему, чорт возьми, не японец?

— Вы говорите, — Саша Вольф?

— Саша Вольф. Александр Андреевич, если хотите. Такой же англичанин, как мы с вами.

— Вы хорошо его знаете?

— Еще бы не знать!

— Вы давно его видели в последний раз?

— В прошлом году — сказал он, наливая себе водки. — Ваше здоровье. В прошлом году, в это же время, приблизительно. Как закатились мы тогда на Монмартр, так там двое суток и оставались. Я уж и не помню, что было и как я домой попал. Это каждый раз, когда он в Париж попадает. Я, знаете, сам не прочь выпить, и — как бы это сказать? — порезвиться, но уж он слишком. Я ему говорю — Саша, побойся ты Бога. А он отвечает всегда одинаково, — жизнь, говорит, у нас только одна, и та очень скверная, так какого же чорта? Что вы на это скажете? Приходится соглашаться.

Он был уже совсем пьян, его язык начинал заплетаться.

— Он, значит, живет не в Париже?

— Нет, он все больше в Англии, хотя его повсюду носит. Я ему говорю: отчего, дьявол, по-русски не пишешь? мы бы почитали. Говорит, нет смысла, по английски выгоднее, платят лучше.

— А что же было с Мариной?

— Время у вас есть?

— Сколько хотите.

Тогда он начал рассказывать во всех подробностях о Марине, об Александре Вольфе, о том, когда и как все это происходило. Это был беспорядочный и довольно цветистый рассказ, который изредка прерывался тем, что он пил то за здо-

ровье Вольфа, то за здоровье Марины. Он говорил много и долго и, несмотря на то, что это было лишено хронологической последовательности, я мог составить себе более или менее отчетливое представление обо всем.

Александр Вольф был моложе этого человека, — его звали Владимир Петрович Вознесенский, он был духовного происхождения, — на пять или на шесть лет. Он был из Москвы или, может быть, из других мест, но, во всяком случае с севера России. Вознесенский познакомился с ним в конном отряде товарища Офицера, левого революционера с уклоном к анархизму. Отряд этот вел партизанскую войну на юге России. — Против кого? — спросил я. — Вообще против всяких войск, которые пытались захватить незаконную власть — сказал Вознесенский с неожиданной твердостью. Насколько я понял, никакой определенной политической цели товарищ Офицер не преследовал. Это был один из тех авантюристов очень чистого типа, которых знает история каждой революции и каждой гражданской войны. Численность его отряда то увеличивалась, то уменьшалась, — в зависимости от обстоятельств, большего или меньшего количества трудностей, времени года, и множества других, нередко случайных причин. Но основная его группа всегда была одна и та же и Александр Вольф был ближайшим сотрудником Офицера. Он отличался, по словам Вознесенского, некоторыми, классическими в таких рассказах, качествами: неизменной храбростью, неутомимостью, способностью очень много пить и был, конечно, хорошим товарищем. В отряде Офицера он провел больше года. За это время им пришлось жить в самых разных условиях: в крестьянских избах, и в помещичьих домах, в поле и в лесу; иногда они голодали по несколько дней, иногда непомерно объедались, страдали от холода зимой и от жары летом, — словом, это было то, что известно по опыту почти всякому участнику сколько нибудь длительной войны. Вольф, в частности, был чрезвычайно аккуратен и чистоплотен — до сих пор не понимаю, когда он успевал бриться каждый день — сказал Вознесенский; он умел играть на рояли, мог пить чистый спирт, очень любил женщин

и никогда не играл в карты. Он знал по-немецки, это выяснилось однажды, когда Вознесенский и он попали к немецким колонистам и старуха, хозяйка фермы, не говорившая по-русски, собиралась послать свою дочь на подводе в ближайший город, за три километра, чтобы сообщить там штабу советской дивизии, что в деревне находятся два вооруженных партизана. Она сказала все это дочери по-немецки, в присутствии Вознесенского и Вольфа.

— Что же было дальше?

— Он мне тогда ничего не рассказал, только девчоночку мы не пустили, связали и отнесли на чердак, потом забрали провизию и ушли.

По словам Вознесенского, Вольф, уходя, покачал головой и сказал — эх, старуха какая! — Что ж ты ее не пристрелил? — спросил Вознесенский позже, когда Вольф объяснил ему, в чем дело. — Будь она проклята — сказал Вольф, ей и так жить недолго осталось, ее без нас с тобой Бог приборет.

Вольфу очень везло на войне; из самых опасных положений ему удавалось уходить совершенно невредимым.

— Он ни разу не был ранен? — спросил я.

— Один только раз — сказал Вознесенский, — но зато так, что я собирался панихиду служить. Это не *façon de parler*, как говорят французы; доктор объявил, что Саше осталось несколько часов жизни.

Но доктор ошибся; Вознесенский объяснял это тем, что он не дооценил сопротивляемости Вольфа. Вознесенский прибавил, что Вольф был ранен в совершенно загадочных обстоятельствах, о которых он ничего не хотел сказать, ссылаясь на то, что не помнит, как это произошло. Тогда были жестокие бои между частями красной армии и отступавшими белыми; отряд Офицерова скрывался в лесах и не принимал в этом никакого участия. Приблизительно через час после того, как замолкли последние выстрелы, Вольф заявил, что поедет на разведку и уехал один. Прошло часа полтора, он не возвращался. Вознесенский с двумя товарищами отправились его разыскивать. За некоторое время до этого они слышали три вы-

стрела, третий был более далекий и слабый, чем два первых. Они проехали две или три версты, по пустынной дороге, все было тихо, нигде не было видно никого. Стояла сильная жара. Вознесенский первый увидел Вольфа; Вольф лежал неподвижно поперек дороги и «хрипел кровью и пеной», — как он сказал. Лошадь его пропала, что тоже было удивительно; она обычно ходила за ним, как собака и никогда бы по доброй воле не ушла.

— Вы не помните, какая это была лошадь? какой масти? Вознесенский задумался, потом сказал:

— Нет, не вспомню. Давно это было, чорт его знает. Он их много переменял.

— Но как же, вот вы говорите, что она ходила за ним, как собака.

— А это у него был такой талант — сказал Вознесенский — все его лошади так. Знаете, бывают люди, которых никогда не трогают собаки, даже самые злые. А у него был такой же дар к лошадям.

И Вознесенскому и его товарищам представлялись чрезвычайно странными обстоятельства, при которых Вольф был так тяжело ранен. Доктор говорил потом, что рана была от револьверной пули, выстрел был сделан с небольшого расстояния и Вольф не мог, конечно, не видеть того, кто в него стрелял. Главное, не было никакого боя, и никого вокруг; только недалеко от того места, где они нашли Вольфа, лежал труп нерасседланной вороной кобылы. Вознесенский предполагал, что в Вольфа стрелял, повидимому, человек, которому принадлежала эта лошадь и он же потом уехал на так необъяснимо пропавшем коне Вольфа. Он прибавил, что если бы они, Вознесенский и его спутники, не опоздали, то не пожалели бы пуль, чтобы отомстить за товарища. Я вспомнил порыв горячего ветра, донесший до меня далекий топот нескольких лошадей, — тот самый звук, который заставил меня тотчас же уехать.

— А может быть, в конце концов, — неожиданно сказал Вознесенский — этот человек просто защищал свою жизнь и его тоже нельзя обвинять. Предлагаю вам по этому случаю

чокнуться за его здоровье. Вам нужно выпить, у вас что то очень задумчивый вид.

Я молча кивнул головой. Низкий женский голос в это время пел из граммофона:

Не надо ничего,  
Ни поздних сожалений . . .

Был уже первый час ночи, в воздухе стоял холодноватый запах шампанского, маленькие облачки духов; пахло еще жареным гусем и печеными яблоками. С улицы доносились заглушенные автомобильные гудки, за ресторанной витриной, отделенная от нас только стеклом, начиналась зимняя ночь, с этим блеклым и холодным светом фонарей, отражавшимся на влажной парижской мостовой. И я видел перед собой, с необъяснимо печальной отчетливостью, жаркий летний день, рас-трескавшуюся, черно-серую дорогу, медленно, как во сне, кружившую между маленькими рощами, и неподвижное тело Вольфа, лежащее на горячей земле после этого смертельного падения.

Вознесенский привез его в маленький, бело-зеленый городок, — белый от цвета домов, зеленый от деревьев — над Днепром и устроил его в больницу. Доктор сказал Вознесенскому, что Вольфу осталось несколько часов жизни. Но через три недели он вышел из больницы с ввалившимися щеками и густой щетиной на лице, делавшей его очень непохожим на себя. Вознесенский пришел за ним вместе с Мариной, которую он встретил на следующий день после своего приезда в этот город. Она была в белом, легком платье; браслеты звенели на ее смуглых руках. Года два тому назад она покинула родных и путешествовала с тех пор по южной России, зарабатывая то гадаьем, то пением. Вознесенский твердо верил, что она жила именно на такие доходы; судя по тому, как он ее описывал, я думаю, что ей вряд ли приходилось очень заботиться о своем пропитании. Ей было тогда семнадцать или восемнадцать лет. Когда Вознесенский говорил о ней, у него даже менялся голос, и я полагаю, что если бы он не был так пьян, то не рассказал бы мне о некоторых, совершенно непередаваемых и действи-

тельно редких ее качествах, о которых, конечно, могли только знать люди, неоднократно испытывавшие непреодолимую, горячую прелесть ее близости. Он жил с Мариной в небольшом особняке; через два дома от них поселился Вольф, который был еще слишком слаб, чтобы начинать прежнее партизанское существование. В доме Вознесенского был рояль. Вольф пришел в гости к своему товарищу на следующий день в штатском костюме, выбритый и чистый, как всегда, они вместе обедали, потом он сел за рояль и стал аккомпанировать Марине, которая пела свои песни.

Через некоторое время Вознесенский уехал на несколько дней к Офицерову; и когда он вернулся, то Марины не было. Он пошел к Вольфу — и она отворила ему дверь. Вольф в этот день отсутствовал. Она посмотрела на Вознесенского без всякого смущения и с дикарской, непосредственной простотой сказала ему, что теперь она его больше не любит, а любит Сашу. В эту минуту, — как сказал Вознесенский, — она была похожа на Кармен.

— Я был человек крепкий, — сказал он — на моих глазах были убиты мои товарищи, я сам часто рисковал жизнью и все сходило с меня, как с гуся вода. Но в тот день я пришел домой, лег на кровать и плакал, как мальчишка.

То, что он мне рассказывал потом, было удивительно и наивно. Он убеждал Марину, что Вольф еще слишком слаб, что она должна была его пожалеть и оставить в покое.

— А когда он начинает кашлять и хрипеть, так я его отпускаю — ответила она с той же простотой, которая была для нее характерна.

Впрочем, измена Марины никак не повлияла на отношения между Вознесенским и Вольфом. Вознесенский нашел в себе силы дружески относиться даже к Марине. Она прожила с Вольфом много месяцев, сопровождала отряд повсюду и именно тогда они оценили ее искусство ездить верхом и стрелять из винтовки.

Затем наступили страшные времена. На преследование отряда, от которого осталось двести человек, была послана

конная дивизия. Несколько недель они скрывались в лесах. Это было в Крыму. Офицеров был убит. В один из последних дней их пребывания там они нашли в лесу недавно брошенные и хорошо оборудованные землянки. Впервые за полторы недели они провели спокойную ночь, в сравнительном тепле и с некоторыми удобствами. Они проспали много часов подряд. Когда они встали, поздно утром, Марины не было.

— Мы так и не узнали, что с ней случилось, — сказал Вознесенский — и куда она пропала.

Но разыскивать ее у них не было ни времени, ни возможности. Они добрались пешком до побережья и уехали из России в трюме турецкого парохода, перевозившего уголь. В Константинополе, через две недели, они расстались — и встретились через двенадцать лет в Париже, в вагоне метро, когда Вольф, уже далеко не в первый раз, приехал во Францию из Англии, где постоянно жил.

О судьбе Марины Вознесенский так ничего и не знал. Она появилась неожиданно, в одно летнее утро, на базарной площади этого маленького городка над Днепром — и исчезла так же неожиданно, на рассвете осенней ночи, в Крыму. — Появилась, обожгла и пропала — сказал он. — Но только мы ее не забыли, ни Саша, ни я.

Я смотрел на него и думал о неправдоподобном стечении обстоятельств, которое связало мою жизнь со всем, что он рассказывал. Пятнадцать лет тому назад этот человек, который теперь сидел против меня в парижском ресторане и встречал Рождество с водкой, гусем и воспоминаниями, и в самом дружеском расположении к своему собеседнику, — ехал, вместе с двумя товарищами, на поиски Александра Вольфа, и если бы не легкий ветер, то я не услышал бы их приближения, они могли бы меня догнать, и тогда, конечно, мой револьвер меня бы не спас. Правда, я думаю, что белый жеребец Вольфа был резвее их лошадей, но он так же мог быть ранен или убит, как моя вороная кобыла. Но не это занимало мои мысли. Это была случайность, касавшаяся моей личной судьбы и если бы меня спросили, что было бы лучше — быть убитым тогда или уцелеть

для той жизни, которая мне предстояла, я не уверен, что стоило выбирать второе. Мы расстались, наконец, с Вознесенским, он ушел неверной походкой и я остался один, погруженный в мои мысли обо всем, что я узнал за последнее время и что вызывало во мне ряд очень нестройных и противоречивых представлений. Конечно, в рассказе Вознесенского могла быть известная доля фантазии, почти неизбежная для таких устных мемуаров, — но она не касалась главного. То, что сказал мне директор издательства, резко расходилось с тем, что я узнал в этот вечер ресторанного разговора; правда, директору я был склонен верить гораздо меньше, чем моему рождественскому собеседнику. Но зачем ему нужно было уверять меня, что Вольф никогда надолго не уезжал из Англии, — и почему он жалел, что я его не убил? Но и это были побочные соображения. Самым удивительным мне казалось другое: как этот Саша Вольф, друг Вознесенского, авантюрист, пьяница, любитель женщин, соблазнитель Марины, — как этот Саша Вольф мог написать “I’ll Come To-morrow”? Автор этой книги не мог быть таким. Я знал, что это был несомненно умный, чрезвычайно образованный человек, у которого культура не носила какого-то случайного характера; кроме того, он не мог не быть душевно чуждым такому милому и бесшабашному забулдыге, как Вознесенский, и всем вообще людям этой категории. Мне было трудно вообразить себе человека, так уверенно чувствовавшего себя в тех психологических переходах и оттенках, на удачном использовании которых была построена его проза, — связывающим немецкую девочку-колонистку, например. В этом, конечно, не было ничего совершенно неправдоподобного, кроме того, это происходило много лет тому назад, но все-таки это уж как то очень явно не соответствовало нормальному представлению об авторе “I’ll Come To-morrow”. Был ли он англичанином или русским, тоже, на мой взгляд, не имело значения. Мне больше всего хотелось знать, — если предположить, что рассказ Вознесенского был в общем верен, в чем я почти не сомневался, — как Саша Вольф, авантюрист и партизан, превратился в Александра Вольфа, написавшего такую книгу.

Это с трудом укладывалось в моем воображении, — этот всадник на белом жеребце, ехавший карьером навстречу своей смерти и именно такой смерти, — револьверная пуля на всем скаку, — и автор сборника, ставящий эпиграфом цитату из Эдгарда По. — Рано или поздно — думал я, — я все-таки узнаю это, и, быть может, мне удастся проследить с начала до конца историю этого существования, в том его двойном аспекте, который особенно интересовал меня. Это могло произойти или не произойти; во всяком случае, об этом следовало говорить только в будущем времени, и я совершенно не представлял себе, в каких именно обстоятельствах я это узнаю, если мне вообще суждено это узнать. Меня невольно тянуло к этому человеку; и помимо тех причин, которые казались наиболее очевидными и достаточными, чтобы объяснить мой интерес к нему, была еще одна, не менее важная и связанная на этот раз с моей личной судьбой. Когда я впервые подумал о ней, однако, она почти показалась мне нелепой. Это было нечто вроде жажды самооправдания или поисков сочувствия, и я сам себе начал напоминать кого то, кто, будучи приговорен к известному наказанию, естественно ищет общества людей, несущих такую же кару, как он сам. Другими словами, судьба Александра Вольфа интересовала меня еще и потому, что я сам страдал всю свою жизнь от неопреодолимого и чрезвычайно упорного раздвоения, с которым тщетно пытался бороться, и которое отравило лучшие часы моего существования. Быть может, предполагаемая двойственность Александра Вольфа была просто мнимой и все, что мне казалось противоречивым в моем представлении о нем, это были только различные элементы той душевной гармонии, которой отличался автор "I'll Come To-morrow". Но если это было так, то мне особенно хотелось понять, каким образом ему удалось достигнуть столь счастливого результата и успеть в том, в чем я так давно и так неизменно терпел постоянные неудачи?

Историю этих неудач я помнил очень хорошо, еще с тех времен, когда вопрос о моем личном раздвоении носил совершенно невинный характер и никак, казалось бы, не предвещал

тех катастрофических последствий, к которым привел позже. Это началось с того, что меня в одинаковой степени привлекали две противоположные вещи: с одной стороны история искусства и культуры, чтение, которому я уделял очень много времени, и склонность к отвлеченным проблемам; с другой стороны — столь же неумеренная любовь к спорту и всему, что касалось чисто физической, мускульно животной жизни. Я едва не надорвал себе сердца гирями, которые были слишком тяжелы для меня, я проводил чуть ли не полжизни на спортивных площадках, участвовал во многих состязаниях и вплоть до последнего времени предпочитал футбольный мяч любому театральному спектаклю. Я сохранил очень неприятные воспоминания о жестоких драках, которые были характерны для моей юности и которые были совсем непохожи на спорт. Все это давно прошло, конечно; у меня осталось два шрама на голове — я как сквозь сон вспоминал, что товарищи принесли меня тогда домой, покрытого запекшейся кровью и в изорванном гимназическом костюме. Но это все, — как и то, что я постоянно бывал в обществе воров и вообще людей, находившихся на временной свободе, от одной тюрьмы до другой, — не имело, казалось бы, особого значения, хотя и тогда уже можно было предполагать, что одинаково неизменная любовь к таким разным вещам, как стихи Бодлера и свирепая драка с какими то хулиганами, заключает в себе нечто странное. Впоследствии все это приняло несколько иные формы, далекие, однако, от какого бы то ни было улучшения, потому что, чем дольше это продолжалось, тем больше становилось расхождение и резкое противоречие, характерное для моей жизни. Оно находилось между тем, к чему я чувствовал душевную склонность и тяготение, и тем, с чем я так тщетно боролся, именно этим бурным и чувственным началом моего существа. Оно мешало всему, оно затемняло те созерцательные возможности, которые я ценил больше, чем что бы то ни было другое, оно не позволяло мне видеть вещи так, как я должен был бы их видеть, оно искажало их в своем грубом, но непреодолимом преломлении, оно заставляло меня совершать множество поступков, о которых я потом неиз-

менно сожалел. Оно побуждало меня любить вещи, эстетическую ничтожность которых я прекрасно знал, это были вещи явно дурного вкуса и сила моего влечения к ним могла сравниться только с отвращением, которое я необъяснимым образом испытывал к ним в одно и то же время.

Но все таки, самым грустным результатом этого раздвоения был мой душевный опыт по отношению к женщинам. Я давно ловил себя на том, что вот, я слежу жадными и почти чужими глазами за тяжелым и грубым женским лицом, в котором самый внимательный и самый беспристрастный наблюдатель тщетно искал бы какой бы то ни было одухотворенности. Я не мог не видеть, что эта женщина одета с **вызывающим и неизменным безвкусием**, так же, как я не мог предполагать в ней ничего, кроме чисто животных рефлексов — и все же движения ее тела и раскачивающаяся ее походка каждый раз производили на меня непостижимо сильное впечатление. Правда, я никогда не имел ничего общего с женщинами такого порядка, наоборот, при приближении к ним самым властным чувством во мне оказывалось всетаки отвращение. Другие женщины, которые прошли через мою жизнь, принадлежали к совершенно иному кругу, они составляли часть того мира, в котором я должен был бы жить всегда, и откуда меня так неудержимо тянуло вниз. Я испытывал по отношению к ним лучшие, я думаю, чувства, на которые я был способен — но всетаки, во всем этом был привкус какой то вялой прелести, оставлявший во мне каждый раз ощущение смутной неудовлетворенности. Это всегда было так — и я никогда не знал другого; я полагаю, что от этого последнего шага меня удерживало нечто похожее на инстинкт самосохранения, бессознательное понимание, что если бы это произошло, то кончилось бы душевной катастрофой. Но я нередко чувствовал, что она была близка; и я думал, что та же моя судьба, которая до сих пор так счастливо выводила меня из многих трудных и иногда опасных положений, — она же благоприятствовала мне, давая — втечение нескольких коротких часов за всю мою жизнь — иллюзию мирного и почти отвлеченного счастья, где не было места мбему неудержимому стрем-

лению вниз. Это было похоже на то, как, если бы человек, которого всегда тянет в пропасть, жил в стране, где нет ни гор, ни обрывов, — а только ровные просторы плоских равнин.

По мере того, как проходило время, и вместе с ним медленно двигалась моя жизнь, я привык к двойственности своего существования, как люди привыкают, скажем, к одним и тем же болям, характерным для их неизлечимой болезни. Но я не мог примириться до конца с сознанием того, что мое дикарское и чувственное восприятие мира лишило меня очень многих душевных возможностей, и что есть вещи, которые я теоретически понимаю, но которые навсегда останутся для меня недоступны, как мне будет недоступен мир особенно возвышенных чувств, которые, однако, я знал и любил всю мою жизнь. Это сознание отражалось на всем, что я делал и предпринимал; я всякий раз знал, что то душевное усилие, на которое я в принципе должен был быть способен и которого другие были вправе от меня ждать, мне окажется непосильным — и поэтому я не придавал значения многим практическим вещам и поэтому моя жизнь носила в общем такой случайный и беспорядочный характер. Это же предопределило и мой выбор профессии; и вместо того, чтобы посвятить свое время литературному труду, к которому я чувствовал склонность, но который требовал значительной затраты времени и бескорыстного усилия, я занимался журнальной работой, очень нерегулярной и отличавшейся утомительным разнообразием. В зависимости от необходимости, мне приходилось писать о чем угодно, начиная от политических статей и кончая отзывами о фильмах и отчетами о спортивных состязаниях. Это не требовало ни особенного труда, ни специальных знаний; кроме того, я пользовался либо псевдонимом, либо инициалами и уклонялся таким образом от ответственности за то, что писал. Этому, впрочем, научил меня опыт: почти никто и никогда из тех, о ком мне приходилось высказывать не совсем положительное суждение, не мог согласиться с моим отзывом и каждый чувствовал настоятельную необходимость лично объяснить мне мое заблуждение. Изредка я должен был писать о том, что не входило в круг моей компетенции даже

самым отдаленным образом, это случалось тогда, когда я заменял заболевшего или уехавшего специалиста. Одно время, например, мне все попадались некрологи, я написал их шесть за две недели, потому что мой товарищ, который занимался этим обычно — с необыкновенным рвением и редкой профессиональной честностью — по прозвищу Боссюэ, лежал в кровати с двусторонним воспалением легких. Когда я пришел его навестить, он сказал мне с ироничекой улыбкой:

— Я надеюсь, милый коллега, что вам не придется утруждать себя некрологической заметкой обо мне. С вашей стороны это было бы самым жертвенным поступком, на который мы вправе надеяться.

— Дорогой мой Боссюэ — сказал я — я категорически обещаю вам, что ваш некролог я писать не буду. Я думаю, что лучше вас этого никто не сделает.

И самым удивительным было то, что Боссюэ действительно приготовил для себя некрологическую заметку, которую он мне показал, и в которой я нашел все, к чему так привык, все положительные и классические пассажи этой литературы: тут был и бескорыстный труд и смерть на посту — *pareil à un soldat, il est mort au combat* — и безупречное прошлое, и горе семьи — *que vont devenir ses enfants?* и так далее.

Период некрологов был памятен для меня, в частности, потому, что последнюю, — шестую по счету — статью мне вернули из редакции с требованием больше оттенить положительные стороны покойного. Это было тем более трудно, что речь шла о политическом деятеле, умершем от прогрессивного паралича; вся жизнь его отличалась удивительным постоянством, — последовательность темных дел, фальшивые итоги банковских операций, многочисленные партийные измены, затем банкеты, посещение наиболее известных кабаре и самых дорогих домов терпимости, и, наконец, смерть от последствий венерической болезни. Это была спешная работа, я просидел над ней целый вечер, не успел во время пообедать, и только дописав последние строки и отвезя статью в типографию, я зашел в русский ресторан, где встречал Сочельник, и после

долгого перерыва, снова встретил там Вознесенского, который опять сидел один и искренно мне обрадовался, как старому знакомому. Он обратился ко мне фамильярно и непринужденно, так, точно мы были знакомы много лет; но как всегда, во всем, что он говорил или делал, в этом не было ничего шокирующего. Он спросил меня, где я пропадаю, и нужно ли всякий раз дожидаться двенадцатого праздника, чтобы меня увидеть. Потом он поинтересовался тем, что я вообще делаю. Когда я ему сказал, что я журналист, он необыкновенно воодушевился.

— Вот вам счастье — сказал он — а мне Бог не дал.

— В чем же счастье?

— Помилуйте, да будь я журналистом, я бы такое написал, что все только удивлялись бы.

— Я думаю, что для этого не нужно быть журналистом. Вы бы попробовали.

— Пробовал — ответил он — ничего не выходит.

И он рассказал мне, как однажды сел писать свои мемуары, писал полночи и сам был в восторге, настолько все получалось замечательно.

— Так, знаете, умно, такие прекрасные сравнения, такое богатство слога, просто поразительно.

— Очень хорошо, — сказал я, — почему же вы не продолжали?

— Я лег спать — сказал он — уже под утро. Был я сам совершенно ослеплен своим собственным даром, который так внезапно открылся.

Потом он вздохнул и прибавил:

— Но когда я проснулся, и все это опять прочел, мне, знаете, даже просто неприятно стало. Такие оказались глупости, так по идиотски все было написано, что я только рукой махнул. Больше я никогда не буду писать.

Он сидел и задумчиво смотрел перед собой, на лице его было выражение искреннего огорчения. Потом, точно вспомнив что то, он спросил меня:

— Да, вот о чем я хотел с вами поговорить. Скажите пожа-

луйста, как пишет Саша? Хорошо или так себе? Помните, Саша Вольф, о котором мы с вами разговаривали?

Я ему сказал, что я думаю по этому поводу. Он покачал головой.

— А в этой книжке он о Марине не пишет?

— Нет.

— Жаль, о ней бы стоило. А о чем же он пишет? Вы извините, что я вас так расспрашиваю. По английски я не знаю, лежит у меня Сашина книга, как рукопись на неизвестном языке.

Я ему приблизительно рассказал содержание книги. Его особенно заинтересовало, конечно, «Приключение в степи». Он все не мог привыкнуть к той мысли, что Саша Вольф, этот самый Саша, которого он так хорошо знает, — такой же, как мы все — сказал он, — этот Саша оказался писателем, да еще английским вдобавок.

— Откуда у него это берется? не понимаю — сказал он. — Вот что значит талант. Такой же человек, как я. Я всю свою жизнь ухлопал на ерунду, а о Саше потом будут писать статьи и, может быть; даже книги. И нас, может быть, вспомнят, если он о нас напишет, и через пятьдесят лет какие нибудь английские гимназисты будут о нас читать, и таким образом, все, что было, не пройдет даром.

Он опять смотрел перед собой невидящим взглядом.

— И вот так все и останется — продолжал он, думая вслух. — И как браслеты звенели на Марининых руках, и какой Днепр был в то лето, и какая была жара, и как Саша лежал поперек дороги. Так он, значит, видел, кто в него стрелял тогда? По его описанию, вы говорите, мальчишка? Как это у него сказано?

Я повторил более подробно это место рассказа.

— Да, да — сказал Вознесенский. — Это очень вероятно. Испугался, может быть, мальчонка. Вы представляете себе? Лошадь под ним убили, стоит, бедняга, один в поле, а на него карьером несется какой то бандит с винтовкой.

Он опять задумался.

— Так мы никогда о нем ничего и не узнаем. Был ли это

гимназист, который еще недавно боялся преподавателей больше, чем пулемета, и дома читал мамины книги или хулиган, вроде беспризорного, и стрелял ли он от испуга или со спокойным расчетом, как убийца? Во всяком случае, — прибавил он неожиданно — если бы я его каким нибудь чудом встретил, я бы ему сказал: — спасибо, дружок, что немного промахнулся; благодаря этому промаху мы все останемся жить — и Марина, и Саша, и даже, может быть, я.

— А вы придаете этому такое значение?

— А как же? — сказал он. — Жизнь проходит бесследно, миллионы людей исчезают, и о них никто не вспомнит. И из этих миллионов остаются какие то единицы. Что может быть замечательнее? Или вот, живет красавица, вроде Марины, из за которой десятки людей готовы, может быть, умереть — и через несколько лет от нее ничего не останется, кроме где то догнивающего ее тела? Разве это справедливо?

— Действительно, можно только пожалеть, что вы не писатель.

— Ах, милый мой, конечно. А вы думали, что я даром сокрушался по этому поводу? Я человек простой, но что же поделывать, если во мне есть жажда бессмертия? Я прожил очень разгульную жизнь, все девочки да рестораны, — но это не значит, что я никогда и ни над чем не задумался. Наоборот, — после девочек и ресторанов, в тишине и одиночестве, — вот тогда вспомнишь все и на душе особенно печально. Это вам все развратники и все пьяницы подтвердят.

На этот раз он был в созерцательном настроении и почти трезв. Со мной под конец он стал разговаривать таким тоном, каким старшие разговаривают с младшими. Вот, когда проживете с мое . . . — Вы, конечно, слишком молоды . . . Потом речь снова была о Вольфе, но ничего нового он о нем не сказал.

Прошло еще несколько недель и за все это время к моим сведениям не прибавилось ничего, даже в области моих собственных предположений. Из Лондона я не получил ни одного письма. Мне неоднократно приходила в голову мысль, что все это останется так навсегда: Вольф мог умереть, я мог его

никогда не встретить, и то, что я знаю о нем, ограничится его рассказом «Приключение в степи», моими собственными воспоминаниями об этих жарких летних днях и тем, что говорил мне Вознесенский. Я вспомню еще несколько раз дорогу, бело-зеленый город над Днепром, звуки рояля в маленьком особняке и звон браслетов на руках Марины, — которого не мог забыть Вознесенский, — потом все это постепенно будет бледнеть и тускнеть и затем почти ничего не останется, кроме, пожалуй, книги, написанной этим упругим и точным языком и заглавие которой тоже будет звучать для меня какой то отдаленной насмешкой.

Я бывал попрежнему время от времени в этом ресторане, но все попадал не в те часы, когда туда приходил Вознесенский, который, впрочем, потерял для меня теперь значительную долю интереса. Попрежнему граммофон, соединенный с аппаратом радио, играл свои пластинки, — и всякий раз, когда низкий женский голос начинал романс —

Не надо ничего,  
Ни поздних сожалений . . .

я невольно поднимал голову и мне начинало казаться, что вдруг отворится дверь и войдет Вознесенский и вслед за ним, быстрой походкой, пройдет человек с белокурыми волосами и остановившимся взглядом серых глаз. То, что у него были серые глаза, вспомнил теперь отчетливо, хотя в тот раз, когда я их видел, они были покрыты почти что предсмертной мутью — и я заметил их цвет только потому, что это происходило в очень исключительных обстоятельствах.



Я продолжал вести прежний образ жизни, в нем ничего не изменилось, все было как всегда, — хаотично и печально, — и я временами не мог отделаться от впечатления, что живу так уже бесконечно давно и давно знаю до смертельной тоски все, что мне приходится видеть: этот город, эти кафе и кинематографы, эти редакции газет; одни и те же разговоры об одном и

том же и приблизительно с одними и теми же людьми. И вот однажды, в феврале месяце мягкой и дождливой зимы — без всякой подготовки к этому, без какого-бы то ни было ожидания чего то нового, — начались события, которые впоследствии должны были завести меня очень далеко. В сущности, начало их ни в какой степени не могло быть названо случайностью, по крайней мере с моей стороны. Точно так же, как некоторое время тому назад я занимался некрологами вместо Боссюэ, который теперь, к счастью, выздоровел и принялся опять с непонятным рвением писать свои похоронно-лирические статьи, — так я должен был после этого заменить другого сотрудника газеты, специалиста по отчетам о спортивных состязаниях, уехавшего в Барселону, чтобы присутствовать на очень важном — с его точки зрения — интернациональном футбольном матче. Через день после этого в Париже должно было происходить не менее значительное событие, именно финал чемпионата мира в полутяжелом весе и отчет об этом был поручен мне. Меня очень интересовал исход матча. Я имел вполне определенное представление о карьере и качествах каждого из противников и их столкновение представляло для меня особый интерес. Один из боксеров был француз, знаменитый Эмиль Дюбуа, другой — американец, Фред Джонсон, который впервые выступал в Европе. Общим фаворитом был Дюбуа; я был одним из немногих, считавших, что матч будет выигран Джонсоном, потому что я располагал сведениями, которые большинству публики и даже большинству журналистов были неизвестны и для того, чтобы так думать, у меня были некоторые основания. Дюбуа я знал давно; за последние несколько лет он не потерпел ни одного поражения. Несмотря на это, его никак нельзя было назвать исключительным боксером. У него были несомненные природные данные, но это было скорее отсутствие некоторых недостатков, а не сумма достоинств: он отличался необыкновенной сопротивляемостью, мог вынести множество жестоких ударов, у него были прекрасные легкие и сердце и неисчерпаемое дыхание. В этом заключались его положительные качества, недостаточные, однако, чтобы сказать, что он

обладал резкой профессиональной индивидуальностью. Тактика, всегда одна и та же, которую он применял, свидетельствовала о полном отсутствии у него какого бы то ни было вдохновения или фантазии; она оказалась удачной несколько раз и он потом никогда ей не изменял. У него были короткие руки, он был недостаточно быстр и недостаточно гибок. Он выигрывал матчи благодаря частым *corps à corps*, его удары всегда приходились по ребрам противника, и во всей его карьере было только два классических нок-аута, оба совершенно случайные. У него давно были расплющены уши и раздавлен прямыми ударами нос; он шел обычно на противника, как бык, опустив свою крепкую голову и вынося все удары с несомненным и тупым мужеством. Он был чемпионом Европы в полутяжелом весе и на этот раз вся пресса предсказывала ему быструю победу. В частной жизни это был глупый и очень добродушный человек, он, между прочим, никогда не предъявлял никаких претензий к журналистам, что бы о нем ни писали; в довершение всего, он читал вообще с трудом и мало интересовался газетами.

О Фреде Джонсоне я знал только то, что о нем писали американские журналисты. Нужно было произвести большую работу, чтобы из всей этой массы рекламных статей извлечь сколько нибудь положительные данные для суждения о нем. Джонсон не мог кончить университета, потому что у него не хватило денег и именно это заставило его выбрать профессию боксера. Это само по себе было достаточно необыкновенно. Вторая особенность его, уже чисто профессиональная, была та, что он доводил почти все свои матчи до последнего раунда. Третье то, о чем неизменно жалели все, кто о нем писал; это, что он не обладал нужной силой удара и количество нок-аутов в его карьере было ничтожно. Они все-таки время от времени случались, и это каждый раз вызывало всеобщее удивление; но так как это бывало редко, то быстро забывалось. Все, писавшие о нем, неизменно подчеркивали необыкновенную быстроту его движений и разнообразие его тактики. Я много раз видел его фотографии: лицо Джонсона, в противополож-

ность лицам большинства профессиональных боксеров, не было обезображено. Прочтя о нем несколько десятков статей и следя за результатами его матчей, я пришел к некоторым, чисто теоретическим выводам и мне особенно интересно было проверить их теперь. Выводы эти были следующие. Во первых, Джонсон — по крайней мере, в своих боксерских выступлениях, — был умен, что давало ему мгновенное и огромное преимущество над его противниками; я очень люблю бокс, но давно убедился в том, что всякие иллюзии по поводу быстроты соображения у боксеров и присутствия у них элементарной гибкости воображения даже только в техническом смысле, чаще всего, — в девяноста случаях из ста, — совершенно напрасны. Во вторых, он, повидимому, обладал не меньшей выносливостью, чем Дюбуа, так как только боксер с исключительными физическими данными мог позволить себе роскошь выдерживать каждый раз десять или пятнадцать раундов. В третьих, он прекрасно владел техникой защиты, — доказательством служило то, что лицо его за всю карьеру серьезно не пострадало. И затем, последнее и самое главное: он — так мне казалось — обладал, когда это было абсолютно необходимо, достаточной силой удара для нок-аута, но пользовался этим лишь в чрезвычайно редких случаях, предпочитая выигрывать матчи — по очкам. Он, кроме того, был моложе Дюбуа на шесть лет: это тоже имело некоторое значение.

Я был совершенно уверен в правильности моих предположений, но все-таки они все основывались на косвенных вещах и вдобавок таких недостоверных, как спортивные отчеты американских газет. Задача Джонсона в этом матче сводилась только к одному: он должен был удерживать Дюбуа на расстоянии и не допускать *сoгpс à сoгpс*. Я был уверен, что Джонсон не может этого не понять и что в таком случае, превосходство его техники обеспечить ему победу.

Я давно не видел такой толпы и такого скопления автомобилей, как в вечер этого матча, перед входом в огромный *Palais des Sports*. Все билеты давно были проданы. Прямо перед входом стояла громадная машина американского посла. На

улице, под мелким зимним дождем, толпилось множество людей; редкие барышни прятались от полиции по темным углам. Едва я сделал несколько шагов, как меня окликнул один мой знакомый, молодой архитектор, которого я знал по Латинскому кварталу, в студенческие годы.

— Счастливец! — громко сказал он, пожимая мне руку, — тебе не надо искать каких-то мерзавцев, которые продают двадцатифранковый билет за полтора франков! Я бы тоже, чорт возьми, хотел иметь карту журналиста, как ты. Держишь пари против Дюбуа? Ставлю десять франков. Ах, вот он! — закричал он, увидев невысокого человека в кепке, — вот мой билет, до свиданья! — и он исчез.

И в эту секунду женский голос, очень спокойный, без всякого изменения интонаций, сказал мне с небольшим иностранным акцентом:

— Простите, пожалуйста, вы, действительно, журналист?

Я обернулся. Это была женщина лет двадцати пяти, двадцати шести, хорошо одетая, с довольно красивым, неподвижным лицом и небольшими серыми глазами; шляпа не закрывала ее лба, очень чистой и правильной формы. Меня удивило, что она обратилась к незнакомому человеку, это мне казалось для нее не характерным. Но она говорила с такой простотой и свободой, что я тотчас же ей ответил: да, я действительно журналист и был бы рад, если бы мог ей быть чем нибудь полезен.

— Я не могла достать билета на матч — сказала она, — мне очень хотелось бы его видеть. Вы не можете меня провести?

— Постараюсь — ответил я. В общем, после долгих разговоров с дирекцией, дав на чай контролеру, мы прошли с ней в зал и я уступил ей свое кресло, которое она приняла без всякого смущения; я остался стоять рядом с ней, непосредственно у каменного барьера, отделявшего наши места от других. Она ни разу потом не посмотрела на меня и только спросила перед началом матча, почти не поворачивая головы:

— Как вы думаете, кто выиграет?

— Джонсон — сказал я.

Но в это время на ринге появились уже боксеры и разговор

прекратился. Два боя, предшествовавших чемпионату, не представляли никакого интереса. Наконец наступила минута, когда должен был начаться главный матч. Я увидел широкоую и коренастую фигуру Дюбуа, в темно-розовом мохнатом халате; он подходил к рингу, сопровождаемый своим менеджером и двумя людьми, демонстративно державшими в руках полотенца. Тупое и спокойное его лицо изображало обычную равнодушную улыбку. Толпа аплодировала и редела, сверху слышались поощрительные крики: *Vas-y, Mimile! Fais lui voir! Tape de dans! T' as qu' à y aller franchement!*

Я не заметил, откуда к рингу подошел Джонсон, который буквально проскользнул под веревкой и очутился рядом с Дюбуа. Как это иногда бывает, по одному его случайному движению, именно по тому, как он нагнулся под веревку и затем выпрямился, было видно, что все его тело обладало идеально уравновешенной гибкостью. Он был в синем халате с продольными полосами. Когда они оба были раздеты, разница между ними не могла не броситься в глаза. Дюбуа казался гораздо шире и тяжелее своего противника. Я увидел опять его круглые, крепкие плечи, мохнатую грудь и толстые, мускулистые ноги. В Джонсоне меня поразила, прежде всего, его худоба, его отчетливо видные ребра, его руки и ноги, казавшиеся особенно тонкими по сравнению с руками и ногами Дюбуа. Но присмотревшись внимательнее, я увидел, что у него была огромная грудная клетка, широкие плечи, почти балетной красоты ноги, и на его безволосом торсе легко и послушно двигались под блестящей кожей небольшие, плоские мускулы. Он был блондин, у него было некрасивое и подвижное лицо. На вид ему можно было дать лет девятнадцать; в самом деле ему было двадцать четыре года. Ему тоже аплодировали, но, конечно, не так, как Дюбуа. Он поклонился без улыбки — и после удара гонга начался матч.

Мне сразу показалось тревожным то обстоятельство, что защитная позиция Джонсона, похожая на классическую позицию Дэмпси, — оба кулака почти на уровне глаз, — явно не подходила для матча с Дюбуа, так как оставляла совершенно

открытым весь торс. Но уже после первого раунда я понял мою ошибку: настоящая защита Джонсона заключалась не в той или иной позиции, а в необыкновенной быстроте его движений. Дюбуа начал матч в стремительном темпе, который был для него не характерен; он, повидимому, точно подчинялся предварительным указаниям своего менеджера. Было заметно, что он прекрасно тренирован, я никогда его не видел в такой совершенной форме. С того места, где я стоял, я ясно видел его непрекращающиеся удары и слышал их скачущие, тупые звуки, похожие издали на мягкий и неровный топот. Они попадали в открытую грудь Джонсона, который отступал, кружась по рингу. Атака Дюбуа была настолько стремительна, что все внимание публики было обращено только на него. О Джонсоне, казалось, никто не думал; один из моих соседей громко говорил с возмущением — но его не существует, его нет на ринге, я не вижу даже его тени! — Это не матч, это убийство! — кричал чей то женский голос. Поощряемый толпой, Дюбуа все яростнее наступал на противника; были видны его круглые, быстро передвигающиеся плечи, тяжелое перебирание его массивных ног и со стороны невольно начинало казаться, что всякое сопротивление этой живой и неудержимой машине невозможно. Вся толпа думала так, и редкие зрители, сохранившие хладнокровие и следившие внимательно за боем, не могли не разделять это мнение.

— Это всегдашняя история с американцами! — кричал мой сосед — в Америке они совершают какие то чудеса, в Европое их бьют, как хотят!

Из за чрезвычайно быстрого темпа, в котором прошел весь первый раунд, я не мог судить о том, в какой степени Джонсон был на высоте положения. Только во время перерыва я заметил, что он дышал ровно и спокойно и на его лице появилось то напряженное и уверенное выражение, которое я помнил по его газетным портретам.

Второй и третий раунд были повторениями первого. Я никогда не думал, что Дюбуа способен к такому быстрому и свирепому нападению. Но уже тогда стало заметно, что ему не

удаются его *corps à corps*, от которых Джонсон все время уходил. Дюбуа стремился именно к этому и не жалел никаких усилий. Тело его блестело от пота, но удары чередовались в прежнем, не ослабевающем ни на минуту, ритме. Джонсон продолжал отступать все время, совершая почти правильные круги по рингу. В конце четвертого раунда, когда казалось, что матч безвозвратно выигран и что для окончательного решения остается выполнение только каких то формальностей, — удары продолжали сыпаться на Джонсона, который чудом еще держался на ногах, — *coup de grâce! coup de grâce!* — кричали сверху пронзительные голоса — *t'as qu'à en finir, Mimile!* — на ринге вдруг произошло движение, настолько молниеносное, что его буквально никто не успел заметить, раздался мгновенный тупой звук падающего тела и я увидел, что Дюбуа рухнул всей тяжестью на пол. Это было так неожиданно и невероятно, что по всему огромному Palais des Sports прошел одновременный гул толпы, похожий на чудовищный вздох. Сам арбитр настолько растерялся, что не сразу начал считать секунды. На седьмой секунде тело Дюбуа оставалось неподвижным. На восьмой раздался звук гонга, возвещающий конец раунда.

С пятого раунда матч принял совершенно другой характер. Точно так же, как до четвертого перерыва на ринге был, казалось, только Дюбуа, так теперь вместо него появился Джонсон и вот тогда можно было оценить его необыкновенные качества. Это был урок классического бокса и Джонсон казался непогрешимым учителем, неспособным сделать ни одной ошибки. Он, к тому же, явно шадил своего противника. Дюбуа, наполовину оглушенный, шел теперь почти вслепую и неизменно натывался на кулаки Джонсона. Он падал еще много раз, но поднимался с невероятным усилием и под конец почти перестал защищаться, беспомощно закрывая руками лицо и со своим обычным, на этот раз едва ли не бессознательным, мужеством вынося все удары. Один глаз его был закрыт, по лицу стекала кровь, которую он слизывал машинальным движением, звучно глотая слюну. Было непонятно, почему арбитр не останавливает матч. Джонсон несколько раз в середине раунда опускал руки,

вопросительно глядя то на Дюбуа, то на арбитра и я явственно слышал, как он сказал — *but he's dead* — но потом пожимал плечами и продолжал ненужную теперь демонстрацию своего удивительного искусства. И только в начале шестого раунда, таким же быстрым движением, но которое на этот раз видели все, — его правый кулак с необыкновенной силой и точностью попал в подбородок Дюбуа, и Дюбуа унесли с ринга в бессознательном состоянии. В зале стоял грохот и крик, уже бесформенный и бессмысленный, и толпа начала медленно расходиться.

Зимний дождь лил, не переставая. Мы вышли с моей спутницей, я остановил такси и спросил ее, куда она едет.

— Вы были так любезны — сказала она, не затворяя дверцу автомобиля, и сидя уже внутри, — я не знаю, как вас благодарить.

— Я вам предлагаю выпить кофе, это полезно после сильных ощущений — сказал я. Она согласилась и мы поехали в ночное кафе на  *rue Royale*. По стеклам автомобиля скатывались капли дождя, тускло блестя в свете фонарей.

— Почему вы думали, что матч выиграет Джонсон? — спросила она. Я подробно изложил ей мои соображения по этому поводу.

— Вы следили за американскими газетами?

— Это моя профессиональная обязанность.

Она замолчала. Мне почему то было неловко в ее присутствии и я начинал жалеть, что пригласил ее в кафе. Каждый раз, когда автомобиль попадал в полосу фонарного света, я видел ее холодное и спокойное лицо и через несколько минут я подумал о том, зачем, собственно говоря, я еду пить кофе с этой незнакомой женщиной, у которой такое отсутствующее выражение, как если бы она сидела в парикмахерской или в вагоне метро.

— Для журналиста вы не очень разговорчивы — сказала она через некоторое время.

— Я вам обстоятельно рассказал, почему я думал, что Джонсон выиграет матч.

— И этим ограничиваются ваши возможности, как собеседника?

— Я не знаю, какие темы вас интересуют. Я предполагал, что это главным образом бокс.

— Не всегда — сказала она и в это время автомобиль остановился. Через минуту мы сидели за столиком и пили кофе. Только тогда я разглядел как следует мою спутницу, вернее, заметил одну ее особенность: у нее был неожиданно большой рот с полными и жадными губами и это придавало ее лицу дисгармоническое выражение, — так, точно в нем было нечто искусственное, потому что соединение ее лба и нижней части лица производило даже несколько тягостное впечатление какой-то анатомической ошибки. Но когда она в первый раз улыбнулась, обнажив свои ровные зубы и чуть-чуть открыв рот, — в этом вдруг проскользнуло выражение теплой и чувственной прелести, которое еще секунду тому назад показалось бы совершенно невозможным на ее лице. Я неоднократно вспоминал потом, что именно с этой минуты я перестал чувствовать по отношению к ней ту неловкость, которая связывала меня до сих пор. Мне стало легко и свободно. Я спрашивал ее о разных вещах, которые касались ее лично. Она сказала, что ее фамилия Армстронг, что у нее недавно умер муж, что она живет в Париже одна.

— Ваш муж был?..

Она ответила, что он был американец, инженер, что в течение последних двух лет она не встречалась с ним: она была в Европе, он оставался в Америке. Она получила телеграмму об его скоропостижной смерти, находясь в Лондоне.

— У вас нет американского акцента — сказал я. — Ваш акцент нейтрально иностранный, если так можно сказать.

Она опять улыбнулась этой улыбкой, которая всегда производила впечатление неожиданности, и ответила, что она русская. Я едва не привстал со своего места — и я до сих пор не знаю, почему тогда это показалось мне таким удивительным.

— А вы не подозревали, что имеете дело с соотечественницей?

Она говорила теперь на очень чистом русском языке.

— Согласитесь, что это трудно было предположить.

— А я знала, что вы русский.

— Преклоняюсь перед вашей проницательностью. Каким образом, если это не секрет?

— По глазам — сказала она насмешливо. Потом она пожала плечами и прибавила:

— Потому что из кармана вашего пальто торчала русская газета.

Был уже второй час ночи. Я предложил ей отвезти ее домой. Она ответила, что поедет одна, что она не хочет меня беспокоить.

— Вас, наверное, зовут ваши профессиональные обязательства, не так ли?

— Да, я должен сдать отчет о матче.

Я твердо решил не спрашивать ее, где она живет и не искать с ней никаких новых встреч. Мы вышли вместе, я довел ее до такси и сказал:

— Желаю вам спокойной ночи, всего хорошего.

Она протянула мне руку, на которую сразу упало несколько капель дождя, и ответила, улыбнувшись в последний раз:

— Спокойной ночи.

Я не знаю, было ли это в действительности так или мне просто послышалось. Мне показалось, что в ее голосе появилась и мгновенно исчезла новая интонация, какая-то звуковая улыбка, имевшая такое же значение, как это первое, отдаленно чувственное движение ее губ и зубов, после которого я перестал ощущать неловкость в ее присутствии. Не думая ни секунды о том, что я говорю, и совершенно забыв, — так, точно его никогда не было, — о только что принятом решении ее ни о чем не спрашивать, я сказал:

— Мне было бы жаль расстаться с вами, не узнав ни вашего имени и отчества, ни вашего адреса. В конце концов, если ваш интерес к спорту носит постоянный характер, я мог бы, может, быть вам еще полезен.

— Это возможно — сказала она. — Меня зовут Елена Николаевна. Вот мой адрес и телефон. Вы не записываете?

— Нет, я запомню.

— Вы так полагаетесь на вашу память?

— Совершенно.

Она сказала, что бывает дома до часу дня, и вечером, от семи до девяти, хлопнула дверцу автомобиля и уехала.

Я пошел пешком по направлению к типографии; была очень туманная ночь с ни на минуту не прекращающимся дождем. Я шел, подняв воротник пальто, и думал одновременно о разных вещах.

«Ценность Джонсона, которая до сих пор считалась спорной, вчера проявилась с такой несомненностью, что теперь этот вопрос представляется совершенно разрешенным в самом положительном смысле. Это впрочем, следовало предполагать, и для некоторых журналистов, располагавших известными сведениями о карьере нового чемпиона мира, исход матча был ясен заранее».

«Она сказала — вас зовут ваши профессиональные обязательства — это звучит не совсем по русски. Это была, впрочем, единственная ошибка, которую она сделала».

«Мужество Дюбуа не может не вызывать уважения. Те его недостатки, которые не играли особенной роли в его прежних столкновениях с боксерами средней, в конце концов, ценности, в данном случае, в матче против такого технически безупречного противника, как Джонсон, его погубили».

«В ней есть нечто неестественно притягивающее и эта дисгармония ее лица, может быть, соответствует какой-то душевной аномалии».

«То, что на все лады и так неизменно повторялось о Джонсоне, именно, что он не обладает достаточной силой удара для нок-аута, надо полагать, только тактический прием, который с постоянным успехом повторял его менеджер. Это был публицистический трюк *au rebours*, характерный для американской спортивной прессы».

«Я бы хотел знать, что будет дальше. Rue Octave Feuillet, это недалеко от Avenue Henri Martin, если я не ошибаюсь».

«Все прежние успехи Дюбуа объяснялись тем, что никто из его противников не понимал такой простой вещи, как необходимости избегать *corps à corps* или не обладал достаточной техникой, чтобы привести в исполнение такой простой план. Вместе с тем, будучи лишен возможности прибегать к *corps à corps*, Дюбуа сразу терял свое главное преимущество. Джонсон понял это с характерной для него быстротой соображения и с этой минуты Дюбуа был обречен».

«Мне, может быть, предстоит какое то новое душевное путешествие и отъезд в неизвестность, как это уже случалось в моей жизни».

«Будем откровенны до конца: несмотря на несомненные достоинства Дюбуа, его претензии на звание чемпиона мира были, конечно, результатом недоразумения. Он — честный труженик бокса, один из лучших, каких мы знаем; но у него никогда не было того исключительного и чрезвычайно редкого соединения разнообразных данных, без которого человек не имеет права на одно из первых мест в истории бокса. За много лет, из сотен боксеров, в памяти историков спорта останется вообще лишь несколько имен; последние из них — Карпантье, Дэмпсей и Тэнней. Если Джонсона можно — с известной степенью произвольности — поставить в их ряд, то Дюбуа в этом сопоставлении, конечно, мог бы играть только самую печальную роль, что, впрочем, ни в какой мере не умаляет его заслуг».

«Если бы в ее голосе не появилась эта неожиданная интонация, то вероятнее всего, я бы больше никогда ее не увидел».

Я дошел до маленького кафе, возле типографии, и написал статью, которую обдумывал по дороге. Потом я сдал ее в набор, поехал домой и лег спать в половине четвертого утра. Закрыв глаза, я увидел перед собой в последний раз обнаженные тела боксеров и освещенный квадрат ринга и неожиданную улыбку моей спутницы — и заснул, наконец, под звук дождя, который доходил до меня через полуоткрытое окно моей комнаты.

Втечение всей следующей недели я был очень занят, мне

были нужны деньги, чтобы заплатить за множество вещей, о которых я почти не думал в последнее время и поэтому я писал каждый день по несколько часов. Так как чаще всего речь шла о том, к чему я не был подготовлен, то мне приходилось предварительно знакомиться с некоторым количеством матерьяла. Так было с женщиной, разрезанной на куски, — нужно было проследить по газетам все сообщения, предшествовавшие тому моменту следствия, с которого я начал, так было с финансовым скандалом, так было с исчезновением молодого человека восемнадцати лет. Вся эта работа была впустую: убийца женщины не мог быть найден, это было очевидно по началу следствия, выяснившего, что нет никаких следов преступника; банкротство финансового предприятия тоже ничем не кончилось и журналистам были даны инструкции не называть собственных имен. Эти имена принадлежали очень известным и почтенным лицам, так что серия статей по поводу банковского краха носила явно временный характер и действительно, через несколько дней всякое упоминание об этом исчезло; все знали, какая сумма была уплачена за молчание прессы, но это не меняло того обстоятельства, что матерьял был исчерпан. Наконец, история с молодым человеком тоже не была секретом ни для кого из нас, она объяснялась его «специальной нравственностью», как это называлось на официальном языке; молодой человек был просто увезен с полного своего согласия на загородную виллу одного знаменитого художника, тоже отличавшегося специальной нравственностью, но с несколько иным уклоном, так что его общение с молодым человеком представляло собой совершенно законченную идиллию. Этот художник рисовал портреты президентов и министров, был близко знаком со многими государственными людьми, у которых он мирно продолжал бывать — и в отчетах об этих приемах было попрежнему написано: «среди присутствующих мы заметили нашего знаменитого художника»... Молодой человек наслаждался своим специальным — и своеобразным — счастьем в двадцати километрах от Парижа, а в газетах печатались его фотографии, интервью с его родителями, заявления

инспекторов «светской бригады», и так далее. Я написал за неделю четырнадцать статей об этих трех событиях и это сразу восстановило мой бюджет. Менеджер Дюбуа требовал реванша, обвинял арбитра в пристрастности и даже написал текст заявления самого Дюбуа, который объяснял, что следовал вполне определенной тактике, собирался выиграть бой в последних раундах и нок-аут Джонсона был явной случайностью. Менеджер, кроме того, настаивал на недопустимом, по его мнению, тоне, в котором было написано большинство отчетов о матче и подчеркивал, что ему было стыдно читать эти строки на страницах парижской прессы. По этому поводу было напечатано еще несколько статей, имевших официальной целью восстановление истины, — но как менеджер, так и журналисты очень хорошо знали, что речь шла вовсе не об истине, а об интересах менеджера и Дюбуа, плата которому за следующие матчи должна была понизиться после его поражения. Это было совершенно неизбежно, но надо было сделать все, чтобы понижение не носило слишком резкого характера.

Я чувствовал себя в эти дни легко и тревожно, — приблизительно, как во времена моей ранней юности, когда мне предстоял отъезд в далекое путешествие, из которого я, может быть, не вернусь. Мысль о моей спутнице в вечер матча Джонсона-Дюбуа неизменно возвращалась ко мне и я знал с совершенной интуитивной точностью, что моя следующая встреча с ней — только вопрос времени. Во мне началось уже душевное и физическое движение, против которого внешние обстоятельства моей жизни были бессильны. Я думал об этом с постоянным беспокойством, так как я знал, что в данном случае я больше рискую своей свободой, чем когда бы то ни было — и чтобы в этом убедиться, было достаточно посмотреть в ее глаза, увидеть ее улыбку и почувствовать ту своеобразную и чем-то враждебную ее притягательность, которую я ощутил в первый же вечер моего знакомства с ней. Я не знал, конечно, какие чувства испытала она по отношению ко мне в эту февральскую ночь. Но хотя я видел ее, в сущности, только час, не больше, — когда после матча мы были в кафе — мне казалось, что ее

улыбка и последняя интонация ее голоса не были случайны и что все это должно было повлечь за собой много других вещей — может быть замечательных, может быть печальных, может быть, печальных и замечательных одновременно. Но было, конечно, возможно, что я ошибался и что мои тогдашние ощущения были так же неверны и случайны, как смутные и расплывающиеся очертания домов, улиц и людей сквозь эту влажную и туманную завесу дождя.

Я вспомнил, что тогда, при прощании, она не спросила моего имени. Она ждала либо моего визита, либо моего телефонного звонка с той спокойной и почти безразличной уверенностью, которая мне казалась характерной для нее вообще.

Я позвонил ей в десять часов утра, ровно через восемь дней после матча.

— Алло, я слушаю — сказал ее голос.

— Здравствуйте — сказал я, называя себя, — я хотел узнать, как ваше здоровье.

— Ах, это вы? Благодарю вас, прекрасно. А вы не были больны?

— Нет, но за это время было много событий, которые меня лишали удовольствия слышать ваш голос.

— События личного характера?

— Нет, косвенные и довольно скучные, особенно в телефонном изложении.

— Вы могли бы их рассказать и не по телефону.

— Для этого мне нужно было бы иметь возможность вас увидеть.

— Я не скрываюсь, это легко устроить. Где вы сегодня обедаете?

— Не знаю, я об этом не думал.

— Приходите ко мне часов в семь, в половине восьмого.

— Я боюсь злоупотребить вашей любезностью.

— Если бы мы с вами были чуть-чуть лучше знакомы, то я бы вам ответила . . . Вы знаете, что я ответила бы?

— Это нетрудно угадать.

— Но так как мы еще недостаточно знакомы, то этой фразы я не произнесу.

— Ценю вашу любезность.

— Значит, я жду вас вечером?

— Я постараюсь быть точным.

В половине восьмого я входил в дом, в котором она жила; ее квартира была на втором этаже. Как только я позвонил, дверь открылась — и я едва не отступил на шаг от удивления: передо мной стояла огромная мулатка, которая не произносила ни слова и молча смотрела на меня широко открытыми глазами. В первую секунду я подумал, не ошибся ли я этажом. Но когда я спросил, можно ли видеть мадам Армстронг, она ответила:

— Yes. Oui, Monsieur.

Она повернулась и направилась ко второй двери, которая вела, повидимому, в квартиру; она шла впереди меня, заполняя своим громадным телом всю ширину коридора. Потом она ввела меня в гостинную; на стенах висело несколько натюр-мортов довольно случайного, как мне показалось, происхождения, на полу лежал синий ковер, мебель была синего бархата. Я рассматривал в течение нескольких секунд тарелку эллипсической формы, нарисованную желтой краской, и на которой лежало два разрезанных и три неразрезанных апельсина, — и в это время вошла Елена Николаевна. Она была в коричневом бархатном платье, которое ей очень шло, точно так же, как ее прическа, подчеркивавшая неподвижную прелесть ее лица, почти ненакрашенного. Но глаза ее показались мне на этот раз гораздо живее, чем тогда, во время моей первой встречи с ней.

Я поздоровался и сказал, что мулатка, отворившая мне дверь, произвела на меня сильное впечатление. Елена Николаевна улыбнулась.

— Ее зовут Анни — сказала она, — я называю ее little Anny, помните, был когда то такой фильм.

— Да, little Anny ей очень подходит. Откуда она у вас?

Она объяснила мне, что Анни поступила к ней на службу в Нью-Йорке и ездит с ней теперь повсюду и что так как Анни

жила некоторое время в Канаде, то говорит по французски; кроме того, она прекрасно готовит и в этом у меня будет немедленная возможность убедиться. Анни, действительно, была прекрасной кухаркой, — я давно так не обедал.

Елена Николаевна расспрашивала меня о моих делах за эту неделю. Я рассказал ей о женщине, разрезанной на куски, об очередном банкротстве, об исчезновении молодого человека и, наконец, о газетном выступлении менеджера Дюбуа.

— Это и есть газетная работа?

— Приблизительно.

— И это всегда так?

— Чаше всего.

— И вы считаете, что это вам подходит?

Я пил кофе, курил и думал о том, насколько этот разговор был далек от моих чувств и моих желаний. Я был безмолвно пьян от ее присутствия и чем дольше это продолжалось, тем сильнее я ощущал, как от меня ускользает всякая власть над этим состоянием, которого не могли победить никакие усилия. Я знал, что веду себя совершенно неприлично, что у меня ясные глаза и что я остаюсь нормальным собеседником, — но я знал так же хорошо, что эта видимость не могла ввести в заблуждение Елену Николаевну и она в свою очередь понимала, что я это знал. Естественнее всего было бы, если бы я сказал ей — моя дорогая, вы не ошибаетесь, считая, что этот разговор не имеет никакого отношения ни к тем чувствам, которые в данную минуту испытываю я, ни к тем, которые, вероятно, испытываете вы. И вы знаете так же хорошо, какие слова я должен был бы произнести сейчас. — Но вместо этого я сказал:

— Нет, конечно, я предпочел бы заниматься литературой, но к сожалению это не получается.

— Вы бы предпочли писать лирические рассказы?

— Почему непременно лирические рассказы?

— Мне кажется, что это должен был бы быть ваш жанр.

— И это говорите мне вы, после того, как мы познакомились с вами во время матча и после того, как вы — я надеюсь — оценили хотя бы мои предсказания об его исходе?

Она опять улыбнулась.

— Может быть, я ошибаюсь. Но мне все почему то кажется, что я знаю вас уже очень давно, хотя вижу вас второй раз в жизни.

Это было ее первое признание и первый шаг, который она сделала.

— Говорят, это очень тревожный признак.

— Я не боюсь, — сказала она со своей необъяснимо жадной улыбкой. Я видел ее улыбающийся рот, ее ровные и крепкие зубы и тускло красный цвет ее немного накрашенных губ. Я закрыл глаза, я ощущал бурную чувственную муть. Но я сделал над собой необыкновенное усилие и остался сидеть в своем кресле с внешне спокойным — как я предполагал — видом, хотя каждый мускул моего тела был напряжен до боли.

— Вы закрываете глаза — сказал ее далекий голос — не хочется ли вам спать после обеда?

— Нет, я просто вспоминал одну фразу.

— Какую?

— Это сказал царь Соломон.

— Далеко мы с вами заехали.

Это «мы с вами» было ее второе движение.

— Что же это за фраза?

— Она отличается некоторой метафорической роскошью, — сказал я, — которая теперь, на наш слух, кажется несколько спорной, в смысле стилистическом, конечно. Но я надеюсь, вы примете во внимание тот факт, что это было написано очень давно.

— Боже, как вы многословны! Какая фраза?

— Царь Соломон сказал, что не понимает трех вещей.

— Каких?

— Путь змеи на скале.

— Это хорошо.

— Путь орла в небе.

— Тоже хорошо.

— И путь женского сердца к сердцу мужскому.

— Этого, кажется, никто не понимает — сказала она с не-

ожиданно задумчивой интонацией в голосе. — А вы находите, что это неудачно сказано? Почему?

— Нет, это, может быть, плохой перевод. Во всяком случае, последняя часть фразы звучит нехорошо. «Путь женского сердца к сердцу мужскому» — в этом есть что то от учебника грамматики.

— Я не иду так далеко в стилистическом анализе. А вы любитель царя Соломона?

— С некоторыми оговорками. Многое из того, что он написал, мне кажется недостаточно убедительным.

Был зимний и сумрачный вечер, в квартире было очень тепло. Елена Николаевна сидела в кресле, против меня, положив ногу на ногу, мне были видны ее колени и всякий раз, когда я смотрел на них, мне становилось душно и тяжело. Я чувствовал, что все это — с моей стороны — начинает становиться неприличным. Я постарался вызвать в своем воображении те представления, к помощи которых я всегда прибегал, — как другие прибегают к мнемоническим приемам. Когда мной овладевало с такой бурной силой какое нибудь чувство, которое я почему либо считал неуместным или — как теперь — преждевременным, я представлял себе огромное снежное поле или волнистую поверхность моря, это почти всегда мне помогало. На этот раз я постарался увидеть перед собой, там, где была Елена Николаевна, снежную равнину, но сквозь ее воображаемую белизну все резче и сильнее проступало это неподвижное лицо с красными губами.

Я, наконец поднялся, поблагодарил ее за гостеприимство и собрался уходить. Но когда она протянула мне свою теплую руку и я ощутил ее прикосновение к моим пальцам, я так же мгновенно забыл о намерении уйти, как тогда, ночью, прощаясь с ней, я забыл о том, что решил не спрашивать, где она живет и не искать с ней встреч. Я притянул ее к себе — она поморщилась от боли, которую я ей невольно причинил, слишком сильно сжав ей руку, — когда я обнял ее, я почувствовал всю поверхность ее тела. Только позже, вспоминая об этом, я понял,

что это ощущение в ту секунду не могло не быть воображаемым: на ней было очень плотное бархатное платье.

Я знал, что всякая женщина на ее месте должна была мне сказать одну и ту же фразу:

— Вы с ума сошли.

Но она ее не сказала. Мне казалось, что я приближаюсь к ее лицу точно сквозь смертельный сон. Она не делала ни одного движения и не сопротивлялась, но в последнюю секунду она повернула голову налево, подставив мне шею. Ее платье было застегнуто длинным рядом бархатных пуговиц на спине, очень тугих и нескольких. Когда я расстегнул две верхние пуговицы, она сказала все тем же спокойным, хотя, как мне показалось, несколько помутневшим голосом:

— Здесь нельзя, подождите. Пустите меня на минуту.

Я выпустил ее, она пошла в другую комнату и я последовал за ней. Мы сделали всего несколько шагов, но в эти секунды я успел подумать о том, с какой неожиданной и, в сущности, неестественной быстротой все это произошло. От вечера моей первой встречи с ней меня отделяло только восемь дней, — но это было длительное и огромное расстояние. Я знал, что обычно мои чувства, несмотря на ту их примитивную силу, которая была главным моим недостатком, развивались всегда с тяжелой медлительностью; но на этот раз, все восемь дней я находился во власти их движения и все-таки до последней минуты не мог себе представить, насколько глубоко и безвозвратно это захватило меня. Я думаю, что в силу необъяснимого, как всегда, чувственного совпадения Елена Николаевна испытывала приблизительно то же, что я; ее ощущения были похожи на мои, — так, как вогнутое стекло похоже на выгнутое, одинаковым изгибом, результатом одного и того же двойного движения. В этом была та же непонятная стремительность, казавшаяся для нее еще менее характерной, чем для меня. Эти мысли были смутными и неверными, как все, что я тогда чувствовал, я только позже вспомнил о них и они приобрели в моем представлении ту приблизительно отчетливую форму, которой они

не могли иметь втечение этих коротких секунд. Они, кроме того, казались мне тогда совершенно неважными.

Она пропустила меня вперед, потом затворила дверь и повернула ключ в замке. Мы были в небольшой комнате, которой я тогда не рассмотрел; я заметил только широкий диван, над которым горело бра с маленьким синим абажуром, столик, на столике пепельницу и телефон. Она села на диван, я остановился перед ней на секунду, и она успела сказать:

— Ну, теперь . . .

Сквозь бурную чувственную муть я увидел, наконец, ее тело, с напряженными мускулами под блестящей кожей ее рук. Она легла на спину, заложив руки за голову, без малейшего проявления стыдливости, и смотрела в мое лицо непостижимо спокойными глазами, это казалось мне почти невероятным. Даже потом, когда я испытал — и это было первый раз в моей жизни, — необъяснимое соединение чисто душевного чувства с физическим ощущением, заливающим все мое сознание и все, решительно все, даже самые далекие мускулы моего тела, и когда она сказала с совершенно неподходявшей, казалось бы здесь, медлительной интонацией — ты мне делаешь больно — в которой не было ни жалобы, ни протеста, и еще через некоторое время, когда она вздрагивала спазматической дрожью, ее глаза были все так же, почти мертвенно спокойны. Только в самую последнюю секунду они вдруг показались мне далекими, как некоторые звуки ее голоса.

Ее нельзя было назвать — по крайней мере, по отношению ко мне, — замечательной любовницей, у нее были медлительные физические реакции и последние секунды объятий нередко заставляли ее испытывать какую то внутреннюю боль — и тогда глаза ее закрывались и лицо делало невольную гримасу. Но ее отличие от других женщин заключалось в том, что она вызывала крайнее и изнурительное напряжение всех сил, и душевных и физических, — и в смутном ощущении того, что близость с ней требует какого-то безвозвратно разрушительного усилия; в безошибочности этого предчувствия состояла, я думаю, ее непреодолимая притягательность. И после первого

ощущения ее физической близости я знал уже с совершенной невозможностью ошибиться, что этого я не забуду никогда и что, может быть, это будет последним, о чем я вспомню, умирая. Я знал это заранее и знал, что как бы ни сложилась моя жизнь, ничто не спасет меня от непоправимо тягостного сожаления об этом, потому что все равно это исчезнет, поглощенное смертью ли, временем ли или расстоянием, и внутренне ослепительная сила этого воспоминания займет в моем существовании слишком большое душевное пространство и не оставит места для других вещей, которые еще, может быть, были мне суждены.

Была уже глубокая ночь, Елена Николаевна не могла скрыть своей усталости. Я чувствовал себя как в лихорадке, глаза мои были воспалены и мне казалось, что я испытываю ощущение какого-то незримого ожога. Я ушел в четвертом часу утра; была холодная и звездная ночь. Мне хотелось пройтись, я шагал по пустынным улицам — и тогда, тоже впервые за всю мою жизнь, я почувствовал состояние необыкновенно прозрачного счастья, и даже мысль о том, что это может быть обманчиво, не мешало мне. Я запомнил дома, мимо которых я проходил, и вкус зимнего холодного воздуха, и легкий ветер из за поворота, — все это были вещи, которые сопровождали мое чувство. Я испытывал именно ощущение прозрачного счастья, казавшееся особенно неожиданным после того, как я несколько часов видел перед собой эти спокойные глаза, в выражении которых для меня было нечто унижительное, потому что мне не удалось изменить его.

И когда я проснулся на следующий день, то, что меня окружало и к чему я так привык, весь мир людей и вещей, в котором обычно проходила моя жизнь, — все показалось мне изменившимся и иным, как лес после дождя.

**Гайто Газданов.**

(Продолжение следует)

# КОНЬ РЫЖИЙ\*)

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### I.

С этой ночи на театре военных действий я — прапорщик 457-го пехотного Кинбурнского полка. Временно командующий полком подполковник Осипов с полевым адъютантом поручиком Никитиным, окруженные конными ординарцами, расположились в лесу: это штаб. А мы лежим в цепи, на рассветающей луговине и прислушиваемся к близящимся взрывам немецкой артиллерии.

Немцы наступают. За зеленым перевалом в нескольких верстах их головные части. Сзади нашей цепи, под летящим ветром шумит лес. Это живописное место хорошо называется: Млынские хутора. И когда не слышно взрывов артиллерии, кругом стоит лесная тишина. Я лежу на траве, немного позади солдат, ощущаю свежий запах сырой земли; пока что лежим вольно. Но вот к подполковнику Осипову на загнанной, потемневшей от пота, тяжело носящей боками лошади прискакал ординарец. И смугло-желтый брюнет, с угольными усами, батальонный командир, поручик Стоковецкий передал мне, что сегодня будет дело, ибо немцы наступают как раз на участок нашей дивизии.

Солдаты торопливо завозились на луговине; стали наскоро окапываться. А вскоре, не долетев до нашей цепи, визгнув в ровно-голубом небе, разорвалась нежно-розовым облачком впервые увиденная мной шрапнель. Если б это был фейерверк, то тающим, ботичеллиевски-кудрявым дымком можно было бы

---

\*) См. книги 14-ю и 15-ю «Нового Журнала».

любоваться; в сущности, я им и люблюсь, хоть знаю, что это смерть.

Взвинчивая черные воронки земли, нащупывая нас, по луговине грохнули густодымные гранаты. Недолеты. Но цепь уже вжимается в наскоро-рытые окопчики. Немцы бьют бризантными бомбами, они рвутся двойным ударом: и в голубом небе розовым дымком и черным столбом на земле. От разрывов снарядов в лесу закачались дубы и лес, как раненый, широко застонал.

«Вот и бой», думаю я, «в общем ничего страшного пока нет, есть даже некоторая тоска азарта». В цепи отрывисто стучат затворы винтовок, зрение у всех напряжено; все лица похудели, стали серьезны, почти торжественны, все ждут, чтоб на линии горизонта показались пока еще невидимые немцы.

Сзади ухнуло и через наши головы уходят русские снаряды; они свистят, будто рвут шелковую материю. «Наша бьет», молитвенно тихо шепчет ближний по цепи солдат.

Во мне обрывки каких-то чувств, каких-то воспоминаний. Я почему-то вспоминаю, как в Керенске, в полутемных сенях горничная Анюта подхватила меня совсем маленького подмышки и головокружительно крутит, я хватаюсь за ее развевающееся платье с красными розами и в отчаянии пронзительно кричу. Шагах в ста на траве, так-же как я, лежит Дукат. В кустах обросший черной щетиной Стоковецкий, он все это видел-перевидел и, сплевывая в кусты, безразлично затягивается солдатской цыгаркой. Но вот Стоковецкий вскочил. Справа, с растоптанного кукурузного поля, с участка Нарымского полка сюда накатывается ружейная стрельба, словно по лесу передвигается шум ливня.

Стоковецкий смотрит в бинокль. Я понимаю, он ждет появления немецких цепей и перед нами. И вот на линии горизонта уже показываются черные точки. «Это и есть немцы? Это они». Кругом сухо тьякает лай наших винтовок. Их начавшаяся сплошная стукотня прерывается только глухими, где-то из лесу, ударами нашей артиллерии и взрывами там и сям немецких гранат. Немцы нащупывают нас гранатами, как

руками. Их взрывы ложатся все точнее. Вдруг сбоку, с белоствольной березовой опушки, словно сразу же захлебнувшись, в общий концерт вступили наши пулеметы. Я вижу, как пыхая седым дымком, будто в истерике бьется тело пулемета и, плотно прижавшись к нему, трепещет человек в гимнастерке.

«Вот это и есть: бой под Млынскими хуторами», следя за всем, повторяю я про себя. «Страшно? Пока что нет. Пока что даже как-то приятно. Вероятно, потому, что о смерти этот бой еще не говорит: ни раненых, ни убитых; бой идет как-бы вне меня, словно он мне представлен».

Наш артиллерийский, ружейный, пулеметный огонь непереставаем. Наступающие немцы залегли. Сколько до них? Ну, версты две, не больше. И кажется страшным и в то же время захватывающим, что между ними и нами сейчас нет ничего кроме пуль, огня, дыма, осколков снарядов. На сырой от дождя земле мы и они первобытны; и ими и нами владеют те же чувства: убить и жить.

Наша артиллерия все настойчивей посылает шелково свистящие снаряды, они взрываются прямо среди идущих на нас немцев. За их первой цепью показывается вторая, третья. «Это атака? Может быть сейчас пойдём и мы?» Я оборачиваюсь на Стоковецкого. Он вне себя, что-то беззвучно крича, машет револьвером. За общим шумом не разобрать его слов. Но вдруг я вижу вправо, у нарымцев, в цепях замешательство, солдаты вскакивают с земли; оттуда, ширясь, летят крики: «кавалерия! кавалерия!» и от этих криков током, молниеносно по сердцам прокатывается паника.

— Назад! Перестреляю! — кричит осипшим собачьим голосом Стоковецкий, мечась с черным наганом перед цепью. На опушку выскочил и подполковник Осипов. Но под свистом пуль, уханьем взрывающих землю гранат нарымцы бегут, оголяя нас с фланга, и наши солдаты уже вскочили и отступают все быстрее. Они на бегу кричат: «кавалерия! кавалерия!», этим криком словно оправдывая и свое отступление и подогревая самих себя в охватывающем их чувстве паники.

Стоквецкий, Дукат, я бросаемся к цепям. «Куда вы, брат-

цы! Вперед, огонь!» Но их не остановить, меня смывают бегущие солдаты. «Вот это черт знает что, если действительно налетит кавалерия, будет не бой, а просто мясорубка . . . вот тебе и вся жизнь . . . конец . . . какая ерунда . . .», думаю я в тот момент, когда, неистово ругаясь, кричу: «Да куда ж вы . . . вашу мать! Куда вы, сволочи, бежите?»

Толстоплечий, приземистый Дукат, пытаюсь сдержать бегущих, тоже размахивает, как Стоковецкий, наганом; я ничего не слышу, что он кричит, только вдруг вижу, как этот кремневый латыш, необычайно любящий Россию и армию, остановившись, плачет слезами злости и отчаянья перед бегущими.

— Ох, ох, — стонет бледный, остроносый солдат, сбрасывает на бегу подсумки, откидывает винтовку и, качаясь, подвернув ноги, тяжело рухает на землю. Через него перепрыгивают отступающие. «Кавалерия — зарубят, не оставлять же его?», и я молниеносно приказываю себе испытать свое самообладание; и с чувством восторженного удовлетворения я его проявляю. «Вставай, вставай, я тебя поведу!», кричу я, хватая тяжело-дышащего, посиневшего, узколицего, похожего на птицу солдата. Я вскидываю на плечо его винтовку и, подерживая, веду его по луговине, заливаемой немецкими пулями; он наваливается на меня, сталкивая бессильным телом в сторону.

— Сюда! Куда ж ты, сукин сын! — и только под моей извозничьей руганью пробежавший-было бородатый солдат останавливается, подхватывая больного с другой стороны.

— Что он, ранен, господин прапорщик?

— Болен, — говорю я.

А больной все охает, что-то невнятно гундит, пока у леса я не сдаю его фельдшеру на ротную двуколку.

Тут у березовой опушки Стоковецкий собирает батальон. Ходит взволнованный командующий полком Осипов. Кругом писком невидимых стрижей свистят тыкающиеся в стволы пули. Но сорвавшаяся устойчивость цепей уже восстановлена. Наша ураганная артиллерия залила немцев. Они в свою очередь отка-

тились. И подполковник Осипов приказывает полку занять исходные позиции.

Смеркается. Я лежу теперь с винтовкой, взятой у больного солдата, и, когда показываются далекие точки немцев, я постреливаю по ним, «по невидимому врагу», как писал в «Трех разговорах» Владимир Соловьев; но теперь, на этом лугу, я знаю, что проживший жизнь в кабинете знаменитый философ в войне ничего не понимал. Ветер стих, лес успокоился, в его ветвях уж не рвутся шрапнели. Луговина Млынских хуторов окутывается опаловой мглой с кровью просачивающегося сквозь деревья заката. От души отлегло и она стала свободна. После боя тишина леса — незабываема. И все — лес, луговина, вечер, — представляются никогда непережитым блаженством.

В полной тишине нас сменяют на позициях малмыжцы. Мы уходим на отдых. Далеко в сосновом бору, на озаренной глеющими кострами поляне, вкусно дымятся подъехавшие кухни; стоят ружья в козлы; позвякивают котелки; какая-то оседланная лошадь нарывает лечь, повалиться прямо в седле, и ее то-и-дело одергивает ординарец; после молчания в бою люди с особенным удовольствием разговаривают друг с другом.

— Ну что, отошло, брат? — сталкиваюсь я у кухни с большим солдатом.

Он, стоя, хлебает из котелка. Оторвавшись от супа, начинает говорить, что меня вовек не забудет, что «беспременно пропал бы, потому что силов уж не оставалось»; вокруг собираются солдаты, подсмеиваются над больным.

— Вы зря его, господин прапорщик, ташили-то, — утираясь рукавом от льющегося по губам супа, говорит широкоулыбающийся солдат, — он же к немцу в плен лег, на даровой харч захотел, а вы его опять к нам притащили.

— Тоже скосоротился, в плен, zenки-то вылупил, — кричит, накрепкаясь в его сторону, больной.

Я смеюсь с окружающими меня солдатами и вижу — после сегодняшнего боя мы друзья. Они спрашивают меня, какой я губернии, что слышно в тылу, что думаю о войне, когда ей конец?

До поздней ночи, сидя на выступивших из земли, как уродливые кишки, корнях, прислонившись спинами к мачтовой сосне, мы разговариваем с Дукатом, жуя черные сухари и отхлебывая чай.

— Ты даже заплакал, Данил, — говорю я ему.

Освещенный углями прогорающего костра, Дукат неловко улыбается.

— Я думал, что так и покатимся, трудно с ними . . . а ты, я видел, какого-то раненого тащил?

— Больного.

В лесу у слаженной коновязи лошади ординарцев мерно жуют сено. На поляне замирают последние голоса, кашель. Я покрепче заворачиваюсь в шинель, укладываюсь возле ротной двуколки и, как только костры потухли, лесная темнота сразу же наполняет собой чужой и страшный австрийский лес.

## II.

Отходя в арьергарде, наша 117 дивизия прикрывает общее отступление армии, а я с полуротой замыкаю отступление полка. Мы идем уже по прекрасной Бессарабии, которую я так полюбил. Вместе с нами движется граница России.

В предвечернем сумраке мы стоим на окраине разбитого войной села; полувыворочен сруб колодца, переломлен стебель журавля; артиллерия сорвала крыши, хаты оголились печами и всей убогой трудовой бедностью; кругом немая тишина, нет ни человека.

Бесстройно, вразброд через мертвое село идут отступающие воинские части. На белом иноходце у моста покуривает поручик Стоковецкий, а я сижу на поваленной разбитой колоде. Мы ждем, чтоб, пропустив Заамурский полк, замкнуть отступление, тогда саперы взорвут дощатый мост на заросшей осокой реке и подожгут остатки села.

На мост, дремля в высоком казачьем седле, въехал рябой капитан-заамурец, командир последнего отступающего батальона; солдаты идут за ним торопливой пылящей толпой; и один

шустрый солдатик с заломленной на затылок фуражкой, под общий смех, растягивает гармонику и пританцовывает с вывертом и коленцем:

«Иэх, гармонь моя, рязуха!  
Дождь идет, дорога суха!  
Иэх!..»

Тонкие губы Стоковецкого кривятся, кивнув на солдатское веселье, он бросает, звеня польским акцентом:

— Войска российской республики отступают в порядке, настроение войск бодрое! — и дав шенкеля белому коньку, говорит, — прапорщик Гуть, пошлите к саперам связь, скажите, что могут взрывать.

За телеленькающей в темноте гармоньей, за хохотом солдат мы проходим последними по селу. За нами, треща, взлетает горящими щепами слабенький мост и, занимаясь желтым огнем, начинают полыхать уцелевшие хаты.

Мы движемся по кукурузному полю. За нами, как театральной занавесью, занавешивается ночь. Кто там в ней, в этой дикой ночи, за этим оранжевым занавесом пожара? Там пока еще никого.

От арьергардных стычек, от бессонных ночей, от марша по растоптаным, изрытым полям, по лесам ломящимся и стонущим под обстрелом артиллерии, мы так устали, что, кажется, сейчас упадешь, уснешь. Но мы уже подходим к линии старых русских окопов, где нам приказано встать и держаться во что-бы то ни стало.

### III.

День стоял прозрачно золотой, когда мы вошли в старые русские окопы. Это было под селом Клишковцы. Вокруг белых хат сливовые сады уж роняли лимонно-канареечный лист. Дальний лес краснел, лиловел, желтел. В голубой дымке утренника мы размещались в глинистых, глубоких окопах с прекрасными бойницами, проволочными заграждениями, извилистыми ходами сообщения, просторными блиндажами и землянками, и нам,

утомленным походом, эти окопы показались прекрасными квартирами.

К тому ж они идут по живописной местности, на участке соседнего полка почти кавказская крутизна; а перед нами ровный луг с глубокой травой прямо вплоть до немецких окопов, упершихся в тающий бледным золотом лес.

Тишина, синева, осеннее отдохновение. Я иду поверху, вдоль линии окопов. Приземляться не хочется, иду с удовольствием, что прекратилось шатание по неизвестным лесам, ночные походы. Небо надо мной бледно-лазурное, в нем высоко преследуют друг друга два ястреба.

Наши солдаты спешно заплетают проволочные заграждения, чистят ходы сообщения; саперы навалили уже бревна, тес, поправляют блиндажи, землянки.

Немцы уже вошли в противоположные свои окопы и сейчас, вероятно, заняты тем же.

После обеда солдаты, лежа на дне окопа, спят, а на лугу, у землянки отдыхаем мы: я, капитан Лихарь, прапорщик Дукат и пулеметчики-поручики Юрко и Фатьянов. Из землянки вылетает землей придушенная песня фельдшера Бешенова, он поет легким фальцетом:

«Был я маленькой, был я глупенькой,  
Отец, мать меня любили,  
Меня в зыбочке качали  
За подцепочки, за серебряны . . . »

А мы, глядя то в небо, то на золотеющий и краснеющий лес, разговариваем. Я говорю о том, что война явление неоднородное, что у нее кроме тяжелого быта и страшной были есть и своя увлекательная литература. Фатьянов молча перевертывается со спины на живот и неодобрительно смеется.

— Ты не смейся, Петр, это совершенно верно, — говорит петербургский студент, поручик Юрко, на смуглом лице его играют живые углы монгольских глаз, — вот мы лежим, курим, смотрим на этот лес и никто сейчас в Москве или Петербурге не мог бы так понять, до чего он хорош, этот лес, и до

чего хорош весь этот сегодняшний пушкинский осенний день. А мы можем, потому что на войне наши восприятия гораздо резче и живем мы, так сказать, сильнее, ускоренней. Только надо суметь сохранить это наше, на войне нажитое умение остро чувствовать и остро жить, его жаль было бы потерять, его надо сберечь во что бы то ни стало, чтобы им и в мирной жизни отличать ценное от всей той бытовой дряни, которой она загромождена.

Кадровому капитану Лихарю скучно, с сладким звуком зевоты он потягивается, расправляет тонкими пальцами холечные, волнистые усы. Дукат заснул, удобно уложив голову в сгиб локтя, он существо совершенно политическое и поддерживает только соответственные разговоры.

А Юрко, подперев черноволосую голову кистью бледной руки, продолжает говорить, обращаясь к Фатьянову.

— Вот ты послушай, мы движемся по незнакомой земле, это движение само по себе приятно, а если чувствуешь природу, оно приятно вдвойне. От физического труда, от утомления мы здоровы, чувства наши уравновешены, в голове нет преизбыточного многомыслия, и это тоже слава Богу, — залиvisto, по-детски смеется Юрко, показывая мальчишеские блестящие зубы, — все это дает мужественное ощущение жизни, отчего окопавшиеся в кабинетах штатские кажутся просто какими-то ихтиозаврами. Ведь наши отцы прожили, в сущности, самую пошлую жизнь за столом в столовой, за столом в кабинете, а умерли в чересчур им известной кровати, вот и все.

Дукат посапывает во сне. Хрупкий блондин с неприятно неподвижными, светлыми глазами и чувственным ртом, капитан Лихарь пускает из вишневой трубки дым. И только Фатьянов, презрительно смеясь, отмахивается.

— Ой, пощади, Юрко, я сегодня плохо обедал и брось ты врать, ради Бога! Лес да небо! Ну, что ж тут хорошего? У тебя война вроде какой-то африканской экспедиции на леопардов, а мы знаем, что такое война, — говорит он с неожиданным оттенком злобы.

Фатьянов сын богатого волжского купца, студент-есте-

ственник. С Юрко они друзья, хоть Фатьянов и подсмеивается над романтическим петербуржцем, который не только в окопе, но даже на походе ежедневно выбрит. Лицо у Фатьянова румяное, славянски-правильное, может-быть, с легкой примесью мордвы в скулах. Приятный облик этого пулеметчика как-то не вязался с тем цинизмом, с которым он смотрел на все в мире. Фатьянов был, конечно, нигилист, но не «писаревец», «базаревец», а бытовой ежеминутный нигилист. Ему совершенно искренно было п л е в а т ь на Россию, победу, войну, революцию, на жизнь других, на, так называемую, мораль. В Кинбурнском полку он был единственным офицером, вступившим в партию большевиков. Хороший оратор, Фатьянов на митингах говорил солдатам о том, что Временное Правительство враждебно народу, что только большевики защищают трудящихся, что войну надо кончать немедленно, братаясь с немцами и втыкая штыки в землю. И арестовать его нельзя — взбунтуется полк, а, может, и вся дивизия, ибо солдаты читают Фатьянова «представителем интересов трудящихся».

— Война, это вот что, — продолжает говорить Фатьянов, — прежде всего это глупость, именно г л у п о с т ь, всегда и вовеки, хотя бы уж потому, что воюют-то ведь те, кто воевать совершенно не хочет, а те, кто говорят, что хотят воевать за родину и прочую ерунду, просто врут из трусости. Вдобавок эта глупость чрезвычайно скучная и неостроумная. Конечно, наш уважаемый верховный, генерал Корнилов, и все прочие генералы воюют с интересом, потому что это их профессиональный спорт, прекрасно оплачиваемый и, главное, довольно-таки безопасный. А посади ты самогó, скажем, императора Вильгельма на четыре года в окопы, так на первом же году он, как миленький, станет за немедленный мир. Ведь когда мы читаем в газетах, что генерал Ренненкампф разбит в Восточной Пруссии, это вовсе не значит, что Р е н н е н к а м п ф разбит, это значит, что перебито превеликое множество безымянной скотинки в виде солдат и офицеров отчасти, а Р е н н е н к а м п ф продолжает процветать и командовать, то-есть, заниматься тем же военным спортом и вести ту же самую, ему приятную жизнь.

Мне рассказывал один полковник, что когда генерал Куропаткин приехал на фронт, он, собрав генералов, прямо будто бы сказал: «Ну, говорит, господа, для меня, в сущности, безразлично, буду ли я побежден или буду побеждать, моя военная карьера сделана, а вот вы, мол, старайтесь . . .» И правильно. Это и есть война генералов. Если же ты дурак, лезь для Ренненкампа головой в печь, но знай, что заслуживаешь только улыбку сострадания. Все это давно известно и вполне естественно и законно, умные едут на дураках, первых меньше, вторых больше. Но вот наши солдаты почувствовали, что можно не воевать, что смертная казнь за дезертирство тью-тью, больше нет ее и теперь воевать они, конечно, не будут, и правильно, довольно дураков! Ведь Керенский ничего умного не ответил окопному солдату, который сказал, что он не хотел умирать за царя и не хочет умирать за демократию? Керенский ведь не бросится сам на немецкие штыки за демократию или бросится? Я думаю, что все-таки едва-ли, — резко смеется Фатьянов, оголяя плотные зубы, — и солдаты это великолепно понимают, что никто с ума не сошел и на штыки не бросается, что всякий человек «немножко подловать» и прежде всего хочет прожить собственную жизнь, а остальное все от лукавого. И вот наше с вами пребывание в окопах, поручик Юрко, — улыбается Фатьянов, — просто совершенно ничем умным неоправдываемо, кроме того, что мы с тобой было, бараны. И война твоя вовсе не псовая охота, это ты себя только улялякиваешь, создаешь, так сказать, вспомогательные конструкции, чтоб не убежать от страха с фронта. Помнишь, как в 15 году, в Карпатах, в отступлении трупами так воняло, что нас с тобой рвало? Вот это и есть война! И тебе через четверть часа попадет немецкая пуля в кишки, куда-нибудь поглубже, и будешь ты, Юрко, отвратным голосом орать, просить пить, лепетать всякие нежности о маме, а потом ослабишься и под этим солнцем так засмердишь, что тебя поторопят где-нибудь поскорей прикопать. Чего ж тут «прекрасного»? Не трепись, пожалуйста, а скажи прямо, как вот я, мол, что всему этому военному небу, осеннему лесу и мужеству резких чувств я

предпочитаю просто-напросто отпуск в Каменец-Подольск к тамошним хорошеньким девочкам.

Вынув трубку изо рта, Лихарь громко смеется, развевая усы.

— Вот насчет этой литературы и я с превеликим удовольствием! — и нахохотавшись, капитан под солнцем сладостно жмурится и, потягиваясь, говорит: — Ох, вкусно... могу даже рекомендовать не Каменец-Подольск, а Хотин... не так далеко ездить целоваться.

Мы все знаем, что Лихарь только что вернулся из Хотина и все смеемся.

— Ты, Фатьянов, шкурник и не понимаешь, что я говорю, — сквозь смех отвечает Юрко, — я вовсе не говорю что война веселая африканская экспедиция, я только согласился с Гулем, что у войны есть своя увлекательная литература и она есть, для меня по крайней мере. А простреленные кишки, раны, уродства, смерти, это другое, это былъ войны, это мы все знаем.

От шума голосов Дукат открыл заспанные глаза, приподняв голову, не понимая, где он и что такое?

— А мы знаем и другое, — продолжает отмахиваться от Юрко Фатьянов, — наши войска с боем заняли Перемышль, при чем отличился поручик Юрко, представленный к золотому оружию! И вот поручик Юрко едет в Петербург прельщать девченок золотым оружием, потому что вся эта офицерская форма, ордена, оружие спекулированы, в сущности, на женской психологии и с золотым оружием девчонку повалить можно куда скорее, чем без оногo. Брось ты мне старые калоши заливать! На войне все грязно, скучно, неприятно, и главное, чудовищно глупо, а в тылу все и приятнее и, конечно, умнее потому, что там ведь и есть естественно-свойственная человеку жизнь, а здесь на войне мы живем в сплошной бессмыслице и всякий солдат это понимает, а вы, баре, приходите в восторг то от тишины леса, то от прочей ерунды, но все это, в сущности, из-за страха, потому что вашу жизнь война у вас ежеминутно может отнять.

— Так я про то и говорю, — шумно перебивает его Юрко, — что война это великолепная школа для понимания полноты ценности жизни, ведь люди умеют ценить только то, чего лишаются, чего уже почти у них нет и этим то война и хороша, что учит по-иному видеть и ценить жизнь,

— Брось, брось нести бессмыслицу, — замахал сломанной лозой Фатьянов, — ты, говорю, живешь неестественными, наживными представлениями, вот и разводишь эту несчастную ерунду, несусветное перекобыльство! Я по крайней мере честно говорю: я, поручик Фатьянов, 457-го Кинбурнского, Господа нашего Иисуса Христа, третьеочередного полка, стою за немедленный мир, — и, обращаясь к еще ничего не понимающему, сидящему на траве с заспанной щекой Дукату, Фатьянов кричит: — Да, да, Дукат, за немедленный мир! Потому, что уроженец города Риги Даниил Эдуардович Дукат очень любит Россию, а я вот, Петр Васильевич Фатьянов, уроженец города Казани, не люблю Россию, а люблю остроумие, как сказал у богопротивного Достоевского какой-то весьма неглупый персонаж!

— Не старайтесь, Фатьянов, — с легким латышским акцентом отвечает Дукат, — мы давно знаем, что для вас России не существует.

— А что такое Россия? Скажите пожалуйста? Это же миф, Дукат, несуществующее! Что вы начнете мне из учебника энциклопедии права говорить о народе, власти, территории? Но ведь все ж это ерунда и вздор. Вот дважды два это всегда есть четыре, нерушимо и во-веки, а Россия, сегодня она есть, а завтра ее нету, чего ж лоб то разбивать? — и Фатьянов смеется.

— Это все, конечно, очень замечательно, что вы говорите, — сдерживая раздражение, отвечает Дукат, — но дважды два четыре меня не волнует, а вот временная Россия меня волнует, я ее люблю, а раз люблю, то и воюю за нее, вот именно: за власть, за народ, за территорию.

От немецких окопов в безоблачный неба, в блеске солнца с гудящим звоном, высоко паря серебряной мухой, на нас на-

плывает аэроплан. Сев по-турецкий и застив ладонью глаза, капитан Лихарь глядит на него.

— Фокер, — говорит он.

Все смотрят на аэроплан. Как только он залетает за наши окопы, за лесом ухаает наша пушка и недалеко от аэроплана тающим цветком вспыхивает разрыв шрапнели.

— Ну, вот, разве не зрелище? — говорит Юрко.

— Для «зрелища», погоди, он сейчас бомбу сбросит, — отвечает Фатьянов.

А серебряная муха гудит в окружающих ее все плотнее разрывах шрапнелей. Еще один меткий разрыв, словно прямо в аппарат и вдруг, вертась и кувыркаясь, как на тяге подбитый вальдшнеп, аэроплан падает вниз, прямо за наши окопы.

— Сбил! сбил! — радостно кричат и бегут наши солдаты. Но над самой землей кувыркающийся аппарат вдруг резко выравнивается и с густым гулом проносится над окопами, над пространством ничьей земли, скрываясь за немецкой линией.

— Ушел, стерва, — говорит тихий солдат-старовер и в тоне его спортивное сожаление; так скажет промазавший стрелок или зритель о сорвавшемся на финише скакуне.

— Хороша у него печенка, тудуть его в душу, до чего ж кувыркался, а? — смеется фельдшер Бешенов.

Я смотрю в бинокль на немецкие окопы. Меж нами расстояние с версту. Так же, как мы, они лазят там по ходам сообщения, вылезают, ходят в лес за водой, возвращаются с котелками обратно. Среди дня оттуда нет-нет да свистнет пуля, а в одном колене нашего окопа нельзя пройти: какой-то немец установил стукач и как только появляется русский, он стреляет. Отличный стрелок, вероятно, часами сидит, карауля появление нашей «движущейся мишени»; он уже ранил двух; но теперь мы углубили окоп и за стукачем он просидит зря.

#### IV.

Бой под Клишковцами начался ураганным огнем немецкой тяжелой артиллерии. Эта подготовка к атаке осталась навсегда в моей памяти. Небо в ту ночь было так черно, будто кто-то

выкрасил его тушью, а звезды были так выпуклы, будто кто-то наклеил их в черном куполе. В эту чернозолотую ночь и открылся огонь.

Он начался одиночными выстрелами по участку нашего полка, но учащался, и вскоре шелестящий визг снарядов, взрывы гранат, завыванье осколков, криканье мин, все слилось в сплошной пережат грома, в какое-то адово светопреставление.

Черное пространство ничьей земли то и дело прорезалось слепящими снопами наших прожекторов, искавших атакующую пехоту; в грохочущем небе взлетали там и сям ракеты; взрывами гранат клубы дыма окрашивались в багровый цвет.

Из души выключилось все. В окопах прижались наблюдатели; солдаты набились в землянки, блиндажи; сидя в такой набитой солдатами землянке, я не в состоянии был ни о чем думать, я только бессмысленно внутренне повторял: «скорей бы атака... пусть наступают... все равно... лучше рукопашная, чем этот ад...»

Особо оглушающим, рвущим барабанные перепонки, кричающим треском разворачивали землю минометы. Наши окопы разворочены ими уже в трех местах. Санитары тащили стонущих, исковерканных, окровавленных раненых, а убитые оставались в темноте на сырой земле, их только оттаскивали за ноги к сторонке, чтоб не мешали.

Так прошла ночь. Перед рассветом, под немолчный ответный гул нашей артиллерии, немцы поднялись из окопов в атаку, но нашего огневого урагана не выдержали, не дошли и посредине пространства ничьей земли, бросив у нашей проволоки своих убитых и раненых, кинулись назад; и снова загремела кромешная дуэль двух артиллерий, хоть уже и стихающая.

Но успокоило всех только солнце, когда оно показалось над окопами. У проволочных заграждений оно осветило убитых немцев, у нас — убитых наших. И артиллерия и пулеметы стали вдруг смолкать и смолкли. В тишине тогда началась обычная окопная жизнь и у нас и у них. Пошли к роднику за водой, в

ходах сообщения пошли оправиться, задымились котелки, закурились цыгарки, кухни подвезли еду.

А когда пришла новая ночь, в полной боевой готовности мы стали ждать повторной немецкой атаки. Но ее не было. Ночь прошла только в нервной ружейной перестрелке, начавшейся всегда одиноким выстрелом караулов. Караулы стреляли зря, от взволнованности. В темноте люди всегда беспокойны. Разорвет ночную тишину выстрел, откликнется другой, вдруг коротко застрекочет пулемет и стрельба покатится по всей темной линии, перебегая с одного полкового участка на другой, дальше и дальше, и вся ночь начнет разрываться искристыми цепочками огня, пока всех не успокоют беложелтые ослепительные светы прожекторов и взлеты и паденья разноцветных ракет.

Но все-таки вполне людей успокаивало всегда только солнце. Поднимаясь из желтоледяного тумана над окопами, оно разогревало тела и прогоняло у всех темные, ночные душевные страхи.

## V.

Обжиться человек может даже в окопах, только нет календаря и поэтому мы потеряли время. Сколько недель мы здесь? И у нас, и у немцев из окопов тонкими струйками тянутся дымки. Сидя на корточках в ходах сообщения, солдаты на потрескивающих кострах варят едово, свежестроганными палочками помешивают в котелках суп; в окопе, сидя в кружок, играют в карты, в три листика. Над нами плывут кубовые осенние тучи. Где-то идет перестрелка. Моросит дождь. Я сижу у землянки и прислушиваюсь к заунывной песне, что тихо и уныло, в три голоса поют Богачев, Мамчур и Солоха. Они поют любимую окопную солдатскую песню, сочиненную русскими неизвестными солдатами. У песни нет мелодии, рифмы, солдаты поют ее на мотив «Стеньки Разина», только гораздо протяжней, унывней и медлительней.

«Хорошо тому живется — слушать ласковы слова.  
 Посидел бы ты в окопах, испытал бы то, что я.  
 Мы сидим в открытых ямах, по нас дождик моросит,  
 А засыпят пулеметы, так поверь, что нельзя жить...»

Слушая эту песню, я думаю, что если б в немецких окопах родилась такая же (а она, может-быть, могла бы родиться и там), за нее бы отдавали под суд и она бы умерла. А у нас поют и под суд за нее никто никого не отдает.

— Да, начитаешься вот его, священного писания-то, так аж прямо волосы поднимаются, — слышу я тихий разговор Бешенова и санитар-молоканина, у которого круглое безволосое лицо младенца, — вот, к примеру, как это Господь в красном костюме-то шел...

— Да откель это?

— Откеля? Оттеля, про грешников, из Второзакония.

И не получая ответа, молоканин опять говорит:

— Думал я вот, не сказано в писании, что, к примеру, апостолы ели, чем закусывали, все хлеб да вода и боле ничего.

— Даа, — тянет, не найдя ответа фельдшер, — и чудное, говорю, это дело, никто вот войны не хочет, а все воюют и отчего это пошло, а?

Тонкий визг пули с немецкой стороны разрывает денную тишину. Пуля жалобно тыкается в бруствер. Оборвав пень, приподнявшись из окопа, с юмористической злобой Богачев кричит:

— Что ты, немец, одурел, ядрена мать, пообедать не даешь!

— Это он с тобой здоровкается, Богачев, к обеду закуску посылает.

— Хрен с ним, товарищи. Котелок кипит, седай есть, а он пущай постреляет, — говорит Богачев и солдаты садятся вокруг котелка, вытягивая из-за голенища деревянные ложки и с вкусным присвистом отхлебывают суп. — Ешь со всем, — ловя плавающие кусочки мяса, говорит Богачев и пожевав, в раздумьи добавляет, — скоро наш полковник приедет, вот

рысковый... под Тарнополем, кады прорыв делали передом шел.

— Куда его ранило?

— Сюды... в щеку, — показывает ложкой на щеку Богачев, — я от него шагах в десяти, неболе, был. Здорово его цапнуло, аж упал.

По ходу сообщения, пригнувшись, с офицерским обедом идут наши вестовые: рябой старик, крымский татарин, вестовой Дуката и мой Горшилин, тот, которого я тащил в бою под Млынскими хуторами нагловатый, пронырливый солдат-горожанин.

С Дукатом мы располагаемся обедать в землянке, стульями нам служат пеньки из соседнего леса. С фельдшером Бешеновым выпиваем по рюмке водки и потеплевший Бешенов говорит:

— Да, был вот у нас раньше в роте младший офицер, убило его, и ничего был, а не любили его солдаты, ругливый больно. А вас, господин прапорщик, вчера сильно хвалили, простой, говорят, и веселый, ты, говорит, к нему когда не подойди, у него все одна резолюция...

Брызжа рисовой кашей, подавившись, хохочет Дукат. Но фельдшер обидчиво защищает определение моего характера. Да, оно может быть и так, я дружен с солдатами, толкую с ними о войне, политике, о земле, об Учредительном Собрании, пишу им письма. За этим они приходят ко мне в землянку и я пишу, в точности сохраняя стиль их голоса. Начинаем мы всегда «во-первых строках моего письма», а кончаем «еще кланяюсь». Из землянки эти письма уходят по всей России, полные все тем же крестьянским волнением: как вспахали, да как убрались, да как озимя, а последняя строка у всех всегда одна и та же: «теперь уж недолго дожидать, должно скоро свидемся».

## VI.

Этой ночью крупный, широкогрудый великоросс, старший унтер-офицер Богачев (в детстве у меня были такие деревянные солдатики) пополз за проволочные заграждения осмотреть

трупы убитых немцев. Назад Богачев приполз с цейссовским биноклем, походной сумкой, фляжкой и письмом, вынутым из кармана убитого. Письмо Богачев принес ко мне и солдаты сошлись послушать, что пишет домой немец. Пропотевшее, закровавленное письмо сильно пахло трупом; написанное химическим карандашом, оно расплылось от ночного дождя.

— Чего ж он пишет, немец-то? Эк письмо-то смердит.

— Ничего, ребята, не пишет, разбираю только начало, да подпись. Это ему кто-то написал, жена должно-быть. Только и видно, что «милый Карл . . .», а подпись «твоя . . .», остальное, вон, все дождь смыл.

— А Карлу-то этого мы, стало-быть, стукнули . . . так . . . — протянул весельчак, коротенький и усастый Солоха и все с ним засмеялись. Но это смех не над сгнившим у проволочных заграждений немцем, а над самими собой, над всем т е а т р о м военных действий.

— Богачев, уступи бинокль, сколько за него хочешь? — говорю я, прикидывая к глазам крупный цейсс.

— А черт его знает, я ими сроду не торговал, — широко показывая желтые, животные зубы, смеется Богачев. — Возьмите его так, я за войну их сотни две с немцев поснимал.

В немецкий крупный цейсс, я вижу еще яснее, как из их окопов вьются синие дымы костров, вот двое в касках выпрыгнули и побежали в лес, наверное, за водой.

Но теперь и Богачев установил в окопе автоматическое ружье. Говорит, бьет без промаха, может и не врет. И сейчас, весело изругавшись, он бросился к стукачу. Богачев не жесток, он стреляет тоже не по живым людям, а по «движущимся мишеням», как его учили еще на действительной службе. Убегая по окопу он, торопясь, перепрыгивает через свернувшихся, спящих на окопном дне солдат; с подвернутыми головами, раскинутыми руками все они похожи на мертвецов.

По ночам и я вот так перешагиваю через них, идя в обход караулов, а потом иду на участок соседней роты к прапорщику Ивановскому пить чай. Тут на стыке полка, углубив окоп, и

сделав какую-то замечательную бойницу с установленным автоматическим ружьем, и устроился силач Богачев. Он провёл три года, не ранен, не контужен. Проходя, я всегда оста-навливаюсь поболтать с ним. Но в эту ночь я увидел, что пре-небрегая всякой опасностью, Богачев спит наверху окопа, на-крывшись с головой шинелью.

«Ухарствует, хулиган», бормочу я раздраженно и, подойдя, дергаю с силой за высунувшийся из-под шинели сапог. «Что ты, очумел, Богачев!», кричу я. Но Богачев так заспал, что не поднимается. Тогда я скидываю с него шинель, но спавший в окопе Солоха проснулся.

— Убит он, — пробормотал грубо, будто в этом виноват я, и снова заснул с уроненной на грудь головой,

Сдернув шинель, я это вижу и сам. Силач убит пулей в переносье и лежит с оскаленной жалкой улыбкой. Стало-быть, завтра в приказе по полку будет: «старшего унтер-офицера Богачева исключить с чайного, приварочного и мыльного до-вольствия». И вдруг эти, показавшиеся мне живыми, сапоги на мгновенье становятся страшными; но я знаю, что это проходит.

— Ночью убило? — нагнулся я к Солохе.

Он еле приоткрыл закаченные белки, бормотнул что-то невнятное без всякого чиновничья. Я прикрыл Богачева шинелью и пошел дальше, на участок соседней роты, к Ивановскому чай пить. В голове какие-то глупые мысли о хрупкости человеческого тела, даже вот такому, из дуба рубленому там-бовскому силачу достаточно крошечного свинца — и он лежит без дыхания. Это бь в о й н ы, скажем Юрко. А любящий красиво выражаться, живущий в обозе второго разряда, наш начальник хозяйственной части, поручик Зотов, лодырь и запивоха, по солдатской кличке «поклонник стеклянного бога», всегда встречающий нас на отдыхе прекрасным обедом и крепчайшим бессарабским вином, за вторым мутным стаканом уж непременно говорит: «Да, друзья мои, с полей войны, если и возвращаются, то не помолодевшими».

## VII.

Окопная тишина, темнота, ночной ветер обдувает лицо. Спящие солдаты что-то бормочут, иногда вскрикивают, они еще воюют во сне. Но наяву воевать они уже перестали. Идя по окопу назад в землянку, я думаю о том, что теперь уже ясно, что весеннее наступление было ошибкой. Оно только раскачало и без того уж разложившийся, обессилевший фронт, он еще страшней расшатался, размяк и теперь при первом боевом усилии хаос противовоенных страстей может вылиться просто в бунт. Пусть у нас теперь есть вволю снарядов, патронов, орудий, продовольствия, все это на войне очень важно, но еще важнее солдатское нутро, а оно уже разложилось.

В жарко натопленной землянке слабо коптит фонарь. Подложив под голову сумку с медикаментами, спит фельдшер Бешенов; свернувшись барбосом, спит мальчишка, ротная связь. Остаток ночи, устроившись возле фонаря, я читаю единственную здешнюю, забытую Юрко, засаленную и залитую похлебкой книжку стихов Сергея Городецкого:

«Стоны, звоны, перезвоны,  
Звоны-вздохи, звоны-сны.  
Высоки крутые склоны,  
Крутосклоны зелены.

Стены выбелены бело.  
Мать-игуменья велела,  
У ворот монастыря  
Не болтаться зря».

Стихи заставляют меня вспомнить Керенск, зеленый крутосклон с белым монастырем, цветущий яблоневый сад, вкусное чаепитие у матери-садовницы Анны, а дородная задыхающаяся мать-игуменья Олимпиада, это, конечно, именно она и приказала дочке звонаря «не болтаться зря». Так я сижу, перелистывая книжку; в землянке душно, сыро, затхло от слишком

многих спящих тел, отсырелая шинель топорщится; при свете фонаря я начинаю писать письма в Россию и пишу их долго, только на рассвете выхожу в окоп умываться.

Солдаты просыпаются, почесываются от вшей, протирают заспанные глаза, кричат, идут к отхожему месту, а к нашим проволочным заграждениям немцы за ночь уж подтащили очередные тюки «Русского Вестника», газеты, выходящей на русском языке в Берлине.

Белесый мальчишка, связь, улыбаясь, несет мне свежий номер; газета хорошо отпечатана, слегка хромает русский язык, в ней пишут не то русские немцы, не то какие-то мерзавцы из эмигрантов, но, в сущности, это неважно: наводка правильная и в окопах газета пользуется бурным успехом.

Собираясь кучками, выпавшиеся солдаты, сидя обнявшись, слушают, как посередь окопа грамотей читает по складам: «ми-ни-стры по-ме-щи-ки и ка-пи-та-ли-сты оже-сто-чен-но со-против-ля-ют-ся зак-лю-че-нью ми-ра . . .» Яд газеты отравляет именно те участки солдатских мозгов и душ, какие намечены немецким генеральным штабом и вождями коммунизма. И пусть эта газетка, хвалящая Ленина и Троцкого за миролюбие и поносящая Милюкова и Керенского, как делящих войну наймитов англо-французского капитала, пусть идет из немецких окопов. Это не играет решительно никакой роли. Солдаты верят «Русскому Вестнику» потому, что хотят этому верить, а хотят верить потому, что хотят кончать войну во что бы то ни стало. Да еще потому, что какой-то искрой души они верят в то, что совсем скоро вся земля будет в такой же революции и всему трудовому народу станет хорошо и свободно жить.

Фельдшер Бешенов, запыхавшись, вбегает в землянку, огляделся, нет ли кого и задыхающимся полуголосом шепчет: «Господин прапорщик, на участке . . . братанье». Я выбегаю, выпрыгиваю наверх окопа и вижу, как по всему участку полка из окопов вылезают солдаты, бегут к проволочным заграждениям, лезут через них, бегут дальше по месту боев, крови, по ничьей земле, к уже стоящей возле немецких проволочных

заграждений кучке наших солдат. В подаренный Богачевым цейсс я вижу ясно и их и вылезавших из окопов немцев в стальных касках.

— Назад! — кричу я в бешенстве на двух солдат, пытающихся выпрыгнуть возле меня. Ближайший, с иссохшим скопческим лицом, смущенно засмеялся, остановился, но дальше — солдаты выпрыгивают, бегут. В пространстве ничьей земли уж толпится наших человек двести; видно, как они прикуривают у немцев, разглядывают друг друга, смеются и вдруг кто-то из русских что-то закричал, заговорил, размахивая руками. Это вот и есть мир по-взводно и по-ротно из «Окопной правды» и «Русского вестника».

Но в эту пронёсшуюся минуту, когда я бегу назад в землянку, к телефону, чтобы вызвать артиллерию, я испытываю вовсе непростое чувство. С одной стороны самый факт, что три года воевавшие люди, считавшие жуткое простанство между собой и немцами непроходимым, сейчас прошли его без выстрела, обратив ничью землю в зеленый луг, на котором курят, смеются, дружески объясняются жестами и с любопытством разглядывают друг друга, этот факт вовсе не прост. Я и сам чувствую, что в нем есть своя правда. В том то вся бесовщина большевизма и есть, что под этим осенним солнцем, на этом порыжелом, заплетенном проволокой лугу наши солдаты и скренни и бесхитростны. И в их чувствах есть та простая сказочная русская правда о том, что людям вообще никогда не надо воевать и что земли на всех хватит и вся она Божья. Но не о Божьих землях думают редакторы «Окопной правды» и «Русского Вестника».

Полевой телефон в моей землянке крикает, гудит, я уж соединился с батареей.

— На участке второй роты Кинбурнского полка братанье, прошу немедленно открыть огонь по братающимся!

В трубке заспанный голос командира батареи.

— Изменники, сволочи... — И после молчанья: — Вы думаете, это так просто, открыть по ним огонь? У меня при-

слуга может не согласиться, тоже господа товарищи . . . — Ну, все равно, тогда попробую сам . . . открою . . .

Я выбегаю из землянки, выпрыгиваю наверх окопа, гляжу. Теперь уже все поле покрыто безоружными солдатами. Немцев немного, но наших — толпы, тучи. В цейсс я различаю: в руках многих русских газеты, вижу смеющиеся лица, вижу, какой-то наш, в развевающейся по-ветру шинели, схватился бороться с немцем и, закружившись с ним, под общий хохот брякнул его, повалив на землю.

Я жду: ухнут ли орудия, поплывут ли шрапнели, чтоб прервать похабный мир? От внезапного удара орудия за лесом я вздрагиваю. Плавно, шелково свистя, через меня уходит снаряд и высоким облачком шрапнель разрывается над братающимися. От нее с поля все бросаются врассыпную. Первыми кинулись в окопы немцы, по дороге раскидывая еще неразобранные русскими газеты.

За первой шрапнелью плывут еще и еще, вот уже очередь, три белых облачка рвутся над пространством ничьей земли. Видно, командир батареи уговорил, раскачал прислугу. И на соседних участках пошла артиллерийская стрельба. Нарымцы, замурцы, все, обгоняя друг друга, бегут назад к серой, мертвой линии своих окопов.

Солдаты моей роты уж спрыгивают. Возле меня, поскользнувшись, сорвался в окоп, присланный из расформированной петербургской гвардии, преображенец, большевик, надышавшийся смердящим распутинским воздухом столицы, и привезший его на фронт; он бешено кричит солдатам, что это я вызвал артиллерию.

— Им войны хочется . . . , им никого не жалко, им бы всех перебить, — бормочет старый казанский ополченец.

— Не навоевались . . . они нашего брата на дурняка взять хотят, — слышу еще злобнее.

А артиллерия все свищет, бьет. Но вот ответная немецкая. Перелетая, несутся бризантные бомбы, с бумом поднимая черную земляную пыль. Я понимаю, немцы показывают: вот-де как по вине русских офицеров немедленный мир перешел в

немедленную войну; и солдаты в нашем окопе уже шумят; оказывается, мне жалко моих фабрик и заводов, вот я и хочу перебить простой народ.

Когда артиллерийская дуэль стихает, я собираю солдат, я говорю им простые вещи о том, что если они вылезают из окопов добровольно, то ведь немцы-то добровольно вылезти не могут, ведь у них император Вильгельм, помещики, капиталисты и если они все-таки вылезают, то стало-быть по приказу немецких генералов, которые только и хотят своей победы. Я говорю, может-быть, и неплохо, но меня и не слушают, потому что на русском фронте война давно бесповоротно кончена; и говоря солдатам оборонческие речи, я про себя со злостью думаю: «Да чего-же смотрят глава правительства, главнокомандующий, все эти министры!? Ведь чем дольше они будут томить этих вооруженных солдат, тем злей они повернут штыки на Россию, оставшуюся позади окопов, на всех, кто покажется им виновниками окопной задержки, на кого натравят их большевики».

Я взволнованно кончил. Опершись о плечи товарищей, легко выпрыгнул бывший преображенец и отвечает охрипшим митинговым голосом: — «Все нам старые песни поете, а эти песенки мы слушали три года, только я вас спрошу, за три года сколько наших товарищей их уже не слышат? Они вот в этих окопах перебиты, а за что перебиты, скажите нам? За измену генералов Мясоедова да Сухомлинова, за измену бывшей царицы да Гришки Распутина, за то, что мы все Карпаты без винтовок излазили, за то, что нашего брата, как вшу, там губили без снарядов, а теперь вот, оказывается, вы достали снаряды, чтоб разгонять нас, когда мы, как братья, идем к нашим немецким товарищам и не хотим никакой войны. И вы, пожалуйста, нам не рассказывайте про германский штаб, потому что через эти окопы мы не к штабу в гости ходим. А вот это вы видели?» — яростно вскрикивает преображенец, перевортывая свою ладонь и показывая мне свои мозоли, — «и у них в окопах эти мозоли есть, а мозоль мозолю брат!» — И я вижу, что он верит в это и что его нельзя разуверить, что

мозоль может стать и не братом. — «Что же, что у них еще нет революции, что сидит еще эта самая Вильгельма? Не усидит, не беспокойтесь!» — зловеще кричит оратор, — «также полетит, как и наш Николашка, только вы его вот не поддерживайте, этого Вильгельму-то ихнего! А вы поддерживаете, вызываете против нашего же брата артиллерию, а мы этого не допустим! Да! Вам с Милюковым да с Корниловым Драданела нужна, а я вот критически заявляю, на что нам эта самая Драданела? Нам хоть похабный, хоть деревянный, а подавай мир, вот что!»

Но и я в ярости, я кричу: — «Довольно болтать, Кривцов! Сам не знаешь, что несешь... Драданела...»

— Я-то знаю, что несу, а вот вы-то знаете-ли? — спрыгнув в окоп, угрожающе бормочет впалыми губами вспотевший преображенец-большевик.

Из окопов в землянку я ухожу подавленный одиночеством и бессильем. С каждым днем в окопах, будто на вахте океанского корабля, мы видим, как колебнувшееся судно империи дает все больший крен, как вслед за тылом угрожающе накрывается и фронт и еще один хороший ветровой удар и все, перевернувшись, пойдет ко дну. Но самое страшное, что не видно и дна, что все утонет в мутной кровавой бездонности.

## VII.

— Смена! — кричат солдаты, торопясь, подпоясываясь, разбирая вунтовки. По ходу сообщения уже идет знакомый батальонный командир Малмыжского полка с улыбкой, говорящей: «сам знаю, что ждете не дождетесь, ну, вот мы и здесь».

Малмыжцы располагаются в окопах, землянках, блиндажах, а мы с чувством предвкушаемого наслаждения отдыхом, уходим по длинным, грязным ходам сообщения. Как следует выспаться, как следует вымыться, как это хорошо! А главное, проснуться завтра не в окопе, а в хате и спросонья даже не поняв, где ты, увидеть солнце, какой-то сад, какие-то деревья

и косые колеблющиеся от ветра тени на белой стене. Это и есть счастье!

Под Клишковцами квартиреры ведут нас в ночной темноте, кто-то впереди несет смоляной факел, багрово освещающий нам путь, позванивают котелки, штыки сцепившихся винтовок; на тихих сельских улицах мы расходимся по хатам спать на лавках, на кроватях, на печках.

А на завтра, в сельской школе — в офицерском собрании уже гремит полковой оркестр. За длинными столами — полковые товарищи, оркестр глушит голоса, чоканья, звон стаканов, вилок, ножей. Хорошо быть военным, обедать под полковой оркестр, пить водку и знать, что целых две недели отдыхаешь, как хочешь!

В хате капитана Лихаря, увешанной разнотонными, пестротканными бессарабскими коврами, после обеда открывается железка. Офицеры проигрывают хрустящие бумажки свежего жалованья, пьют местное вино, курят, разговаривают о приказе верховного главнокомандующего генерала Корнилова, восстанавливающим на фронте смертную казнь, о Керенском, о надвигающемся большевизме, о разложении полка, о скором возвращении раненого командира, полковника Симановского.

Среди говорящих о политике больше других горячится, обычно спокойный, толстоплечий прапорщик Дукат. Раскуривая трубку, он взволнованно ходит по хате. А за железкой в игрецкой страсти бледнеет проигрывающийся капитан Лихарь. Но вот входит улыбающийся румяный Фатьянов.

— Общий поклон, господа, руки не подаю, у меня трипер.

Фатьянов неизменно в хорошем расположении духа. Он садится между Лихарем и Юрко и, играя в карты, отрывается лишь, чтобы подсмеяться над патриотическими волнениями Дуката.

— Да, бросьте, Дукат, ваши формулы: «гибель России», — морщится Фатьянов, будто он закусил лимон, — во-первых России, вероятно, не так-то уж легко погибнуть, да и вообще, что такое за штука, эта « г и б е л ь »? Может, это даже не так уж плохо? Все-то вы, господа-демократы, жалеете, а попр-

буйте не жалеть и проще думать. Я вот только и жалею, что не могу сейчас опять съездить в Хотин к девочкам, ей-Богу, — посмеивается Фатьянов, скаля ровные зубы, — и в революции, Дукат, победим мы, большевики, те, кто проще думают и ничего не жалеют.

— Нет, Фатьянов, твои большевики, конечно, сволочь, — открывая перед ним девятку, говорит капитан Лихарь. Капитан улыбается, мечет банк, капитан от войны устал так же, как устали солдаты, он растерял себя по окопам, он давно уже только ловчится и ему на все плевать: большевики, так большевики!

— Но, знаешь, этим бестиям не откажешь в переживаньице, — продолжает Лихарь, — я, вот, например, на свои деньги принципиально в карты не играю, неинтересно, играю всегда на казенные. Так вот и твои большевики. Проиграют? Труба. Зато, если выигрыш, подавай сполна наличными! И что там Дукат не толкуй, а пройтись с красной тряпкой по Европе, это тоже стоящая перспектива! — и сделав полный глоток вина, Лихарь с мечтательным озорством добавляет, — а представляю я, как рассадили бы эту старую... Европу, наши «товарышшиши-граждане»!

### VIII.

Низкорослый, на кривых ногах, в солдатской шинели, украшенной беленьким Георгием, с черной повязкой на щеке, полковник Василий Лаврович Симановский приехал в полк, не долечившись от раны. Он принимал полк на широком лугу. Все знали о близости полковника к генералу Корнилову. Именно его назначил Корнилов в весеннем наступлении командовать Кинбурнским полком при прорыве у Тарнополя. И за этот прорыв, когда Василий Лаврович шел в атаку впереди полка и был ранен в голову, он и получил беленький крестик.

Знакомясь с новыми офицерами, полковник пытливо вглядывался в лица и говорил тем тенористо-певучим говором, какой есть только у природных украинцев. По его приказу я сдал командование второй ротой и принял назначение полевым адью-

тантом. Ежедневно обходя с полковником окопы, я часто слушал его рассказы о Корнилове, перед которым полковник благоговел. А в штабе по вечерам мы обдумывали меры удержания полка от дальнейшего развала. Полковник придумал: немедленный отпуск в тыл всех замеченных в большевизме. Многие уехали. Но главный противник, унтер-офицер Хохряк, от отпуска наотрез отказался.

Рябой, скуластый, рыжий, с тяжелыми узловатыми руками и бегающими буравчиками глаз, этот переметнувшийся в большевики молодой жандарм был крайне опасен. С начала революции учуяв правильную линию восхождения, он из тыла приехал на фронт и кинулся в самые отчаянные большевики. Из полкового комитета продвинулся в дивизионный, потом в корпусной. Все в Хохряке говорило о нечеловеческой цепкости. В развале фронта он делал большую и страшную карьеру.

Когда на отдыхе он созвал вооруженный митинг дивизии, полковник в противовес ему вызвал корпусного комиссара социалиста Суздальцева.

У голубоватой церкви, переливаясь солдатскими папахами, колышится митинг. В ветре напряжились красные полотнища с самоуком выведенными лозунгами: «Смерть бужуазее», «Да здравствует Ленин!», «Долой войну!» И на сколоченную трибуну лезут окопники, говоря речи одна другой злее. Но все ж, в ожидании Суздальцева, про смерть врагам народа соловьицей всех поет Хохряк, он настраивает толпу, как рояль, рассказывая про товарищей Ленина и Троцкого, кто трудовому народу предлагаю, братаясь с немцами, кончать войну.

Тревожно гудя, к поляне подъехала запыленная большая машина. Из нее выпрыгнул человек в куртке-комиссарке, с нездоровым серым лицом и выпуклыми красноватыми глазами. Это Суздальцев.

— Как настроение? — бросает комиссар, идя к трибуне.

— Горячее.

— Ну, сейчас потолкую с братьями.

И комиссар поднимается на трибуну успокоить солдатские умы и души.

— Товарищи революционные солдаты самой свободной армии в мире, — ровно бросает Суздальцев привычное вступление, протянув над толпой правую руку. И Суздальцев заговорил и чем дальше он говорил, тем сильнее разжигал в себе недюжинный талант красноречия, тем горячее захватывало его самого ораторское волнение. Но когда, кончая, напрягая голос на верхних нотах, он закричал: «... и если товарищ Керенский нам прикажет итти и умереть за нашу великую свободу...» — потрясая в воздухе винтовками, митинг живоотно заревел и вся бешенность солдатских страстей перехлестнула берега; в солдатском реве комиссара неслышно. Изможденный солдат с взглядом каких-то надорванных глаз, размахивая винтовкой, протяжно голосит: «Заклучааайй миииир!!!... Сволааачь!... С бантом приехал!!!»

Побледневший Суздальцев стоит на трибуне. Мы с командиром — поодаль, у церковной ограды. «Дуралей, — бормочет сквозь сжатые зубы полковник, — по этим гадам нужна пулеметная очередь, а он запел им арию о Керенском!» И потемневшими жестокими глазами он оглядывает стонущий митинг, от своего бессилья еще злей его ненавидя.

Вечером, в штабе полка, за ужином Суздальцев ел котлеты с помидорами, пил водку и не казался даже особенно озабоченным, а когда штабные офицеры заговорили о безнадежности общего положения, он, снисходительно улыбнувшись, проговорил:

— Преувеличиваете, господа. Помните французскую революцию? Хотите, я оживлю вам некоторые сцены сопротивления санкюлотов армиям коалиции?

И комиссар заговорил опять и было ясно, что он влюблен в свое красноречие, в свою кожаную комиссарскую куртку, а главное, в бурно разворачивающуюся революционную карьеру комиссара Суздальцева.

Возвращаясь из штаба по притаившейся в тишине улице села, белевшего лунно-освещенными хатами, я как никогда чувствовал вплотную придвинувшуюся гибель, словно ее можно было, нащупать, словно она была здесь, за этими плетнями,

деревьями, хатами и страшно было ощущение ее полной неустрашимости. Ощупью шаря по сеням, я вошел в хату, вздул огонь и в душу ударила неожиданность. Еще в штабе я знал, что в числе дезертиров скрылся мой вестовой Горшилин; а теперь в тусклом керосиновом свете я увидел, что он взломал мой чемодан и украл все, даже какие-то ему совершенно ненужные предметы. Я вспомнил и мое «проявление самообладания», и как я ему «беспрерывно спас жизнь». А может-быть, думал я, и верно, что он упал тогда под Млынскими хуторами, чтобы сдать в плен? Тягучую, плохоспанную ночь провел я после дивизионного митинга, ужина с комиссаром, побега вестового. Я все лежал с открытыми глазами.

А на другой день по фронтовым проводам пробежала телеграмма: Верховный Главнокомандующий генерал Корнилов встал против Временного Правительства, с Дикой дивизией выступив из Ставки на Петроград, и глава Правительства Керенский объявил Верховного Главнокомандующего изменником. В первую минуту во все это нельзя было поверить. Но поверить пришлось; и стало ясно, что роковая гибель пришла . . .

Дни проходили один страшнее и немее другого.

И, наконец, телеграф пронес всем, всем, всем: Временное Правительство пало, Керенский бежал и в должность Верховного Главнокомандующего вступил прапорщик Крыленко, «товарищ Абрам» . . .

В подошедших к окопам, смерзшихся порыжелых полях еще тянется кое-где паутина. В обуглившемся лесу пахнет сыростью и гниющей листвой. Воздух по-осеннему редкий. По утрам, освещенные холодным солнцем сливовые сады начинают курчавиться легким инеем. На широкоспинном жеребце я в последний раз еду к окопам. Неровность мерзлой дороги подведена инеем, скованная земля гулко отдает удары подков. Теперь к нашим окопам можно подъехать вплотную. Война кончена. Наши солдаты бегут из этих глинистых ям, подаваясь вглубь России на черный передел помещичьих земель.

У нашей былой землянки мне встретился Фатьянов. Кивнув

на уходящих солдат, весело улыбаясь, проговорил: «Это перевертываемая рукой Ленина заключительная страница участия России в мировой войне». Фатьянов доволен, он тоже бросает фронт, уезжает в Казань.

Сидя на бруствере, в шинели внакидку, держа в левой руке пестро-красочную палитру, кудрявый художник, прапорщик Бондаренко пишет линию наших окопов, дальний лес, лиловатое небо. Он словно торопится, ибо скоро этой линии уже не будет. Вокруг стоят несколько еще не убежавших солдат, с любопытством глядя, как художник покрывает картон коричнево-лиловыми мазками.

По лесной дороге я возвращаюсь в штаб; на тугих поводях жеребец несет меня машистой рысью, приятно поддавая хребтом под седло. Вдыхая прелесть этого осеннего леса, я чувствую себя потерянным в охватившем все октябре.

## Х.

Лохмами белой шерсти летит мокрый снег, облепляет краснобурые нетопленные вагоны. Я лежу в углу верхних нар, в раскрытую дверь вижу бушующую бурю солдат возле поезда. Обивая сапог налипший снег, в теплушках устраиваются фронтовики, сбрасывают вещевые мешки, отстегивают под сумки, смеются, теснятся на нарах. Винтовок, как хотели, в землю воткнуть, не воткнули, взяли с собой, пригодятся.

Наша теплушка набита свыше божеской меры. В дверях, свесив наружу ноги, плотно сжавшись, сидят окопники, крича: «Нет местов, товарищи, нет, куды на людей прешь!»

Но солдат в сбившейся на сторону папахе, с винтовкой за плечом, с глазами пустыми и остановившимися, встал перед вагонами, зверски закричав: «Тебе есть, а мне нету?! Я в окопах вшей меньше твою кормил?! Кады сюды везли, находились, а теперь местов нету?!»; и он так стоверстно заматерился, что в вагоне все расхохотались: «вот эт-тык занозил!» Он лезет на людей, через тела, через головы и все понимают, что раз «слободно для всех, то и он «должен получить место».

Снег кружится крупными хлопьями, занес обледенелые

рельсы, облепил теплушки, тяжелые колеса вагонов. Фронтоникам не терпится, они залезли не только на вагонные крыши, но и на тормоза, сидят даже верхом на единственной в составе нефтяной цистерне. С крыш, с цистерны, с тормозов хрипло, простуженно угрожают машинисту: «Крутиии, Гаврилааа!!», «Наварачивааай!!» Им хочется скорей вглубь взорванной распадающейся России и оттого, что поезд все еще стоит, они срамословят, поминая Бога, душу, доску, гроб, мать; во всех них живет отчаянье дикого безудержа, которое они везут в города и деревни, с которым растекутся по всем просторам России.

Наконец, против косо несущего снег ветра, этот перегруженный, в белом снегу поезд трогается. И сидящие у раскрытых дверей сразу разноголосо запевают все ту же любимую песню русского неизвестного солдата:

«Хорошо тому живется — слушать ласковы слова,  
Посидел бы ты в окопах, испытал бы то, что я . . .»

Я еду в Пензу. Солдат, мой сосед, с прожелтевшим больным лицом, тронутым оспой, спит, тяжело навалившись на меня, от него пахнет самогоном. Вагоны мучительно качаются, дергаются; паровик свистит куда-то в снеговые пространства, словно зовя на помощь. Так весь день прорывается он сквозь стылые бело-полотняные снега, туда, вглубь России. А когда падает темнота, в устало мотающихся вагонах люди тяжело засыпают. И в ночной темноте поезд идет черный, невидимый, кроме озаренных паровозной топкой кочегара и машиниста.

Лежа в углу верхних нар, я не могу заснуть, думаю о том, о сем, почему то вспоминаю довоенную Пензу, как после обеда в четыре часа ежедневно гуляли пензяки по левой стороне Московской улицы. Гуляли именно по левой, а не по правой, в этом была какая-то тайна движения гуляющих пензяков. Здесь обязательно промоционивается засидевшийся губернатор, бритый балтийский немец фон-Лилиенфельдт-Тоаль, идет с палкой, находу развевая красную подкладку шинели. Тепло одетый, с квадратной бородой, в пенсне, гуляет безобидный председатель.

управы князь Кугушев. Степенно и отдыхающе движутся дамы в каракулевых шубах, опираясь на руку мужей. Тротуар затоплен зелеными, коричневыми, синими форменными юбками гимназисток; с папками "Musique" топчат по снегу опушенными ботиками, спешат в музыкальную школу. Похулиганивают гимназисты, реалисты. Гимназисток нагоняют офицеры-драгуны в ослепительных канареечных бескозырках, в длинных до пят шинелях с разрезами до талии, идут с бормотанием шпор, с громом сабель по обледенелому тротуару. Им невольно дают дорогу скромные зеленые канты землемеров, садоводов и техников; за обилие учебных заведений шутники называли Пензу «мордовскими Афинами».

С криками «Ай берегись!», гулко ударяясь передками саней о глубокие ухабы, по порыжелому иссеченному подковами снегу несутся лихачи. И шурша и колыхаясь на рессорах, с мягким грохотом катится черный лаковой куб кареты, влекомый парой разъевшихся рысаков в дышлах. Это пензенский архиерей Владимир, смоляной, огненноокий красавец, в миру гвардии поручик Путята.

У каждого квартала, на бирже, хлопая галицами и наотмашь маша рукавами, разогреваются извозчики, кричат: «Подвезу, барин!» Над Пензой рассыпается мутное розовое солнце. Из домовых труб тянутся голубые дымы. На морозе раскраснелись пензяки, отдыхают, гуляют. У реки на размеченном темнозеленом студне катка чертят лед, вальсируют конькобежцы. Далеко по льду несется вальс «На сопках Манчжурии» оркестра пехотного Венденского полка. И на гуляньи в Пензе жизнь кажется тихим, спокойным подъемом на какую-то снежную гору, у которой даже нет и вершины, и все поднимаются на нее, не спеша, оттого, что солнца и всяческого изобилия на всех хватит. Но, оказывается, все было призрачно в той морозной, радостной Пензе — все, кроме синего снега и розового солнца, думаю я, лежа на верхних нарах теплушки.

Поезд остановился у какой-то станции. В полуоткрытую дверь вдруг запел бабий умоляющий голос: «Христа ради, второй день стоим, пустите, солдатики, нам недалечка . . .» Край-

ний, у двери солдат проснулся и высунулся, оглядывая двух платками увязанных баб.

— А вы, тетки, кто будете? Не ударницы ль от генерала Корнилова?

В вагоне захохотали и от этого хохота передняя осмелела и запросилась настойчивей.

— А ехать-то далеко? — муча бабу, спрашивал тот же крайний солдат.

Но в вагоне вдруг весело вскрикнул тенор: «Товарищи, ставлю вопрос на голосованье, пущать иль не пущать энтих дамочек?!»

— Пущать! — закричали голоса, — Я, может, четыре года бабы не видел, забыл, как она и пахнет.

В надышенную, тепловонючую теплушку солдаты втягивают двух смеющихся баб в полуподевках, с тяжелыми мягкими узлами.

— Сюда, солдатка, лезь, к нам на полати, погреемся маленько, а то смерзлись, — потирая руки, тоненько засмеялся солдат на нарах.

Но внизу возле баб ярится втянувший их ефрейтор, тот, что «ставил вопрос на голосование»; он уж уместился с одной из них на мешке и обвив ее за шею, притянул к себе и как-бы с издевкой над бабьей беззащитностью приговаривает: «А ты не супротивляйся . . . уж, ты враг унутренний . . . »

— Ты ее, Васька, бризантным крой . . . они, поди, ще неученные . . .

— Да отчались, ты, — вырывается баба, и по хохотку слышно, что ей и приятно и страшновато в полутемном солдатском вагоне.

Поезд пошел. В освещенную фонарями полутемноту с нар-свесились солдатские головы, каждому хочется посмотреть на баб. Ефрейтор уж повалил на мешок солдатку, щупает ее, а она, выбиваясь из-под него, и от щекотки и от стыда, и от бесстыдства заходится смехом сквозь не то рукой, не то поцелуем зажатые губы. Солдаты сползают вниз, поближе, посмотреть на свалявшихся. Но Васька затаскивает бабу под нары. Оттуда

слышится возня, сопротивление, неразборчиво-приказательные бормотанья и полузаглушенный шепот и смех.

Поезд идет, свистит, кричит в темноту. Спящие на верхних нарах стонут во сне. А внизу теперь уже от кого-то другого отбивается баба, будто даже со слезой, скулит по-собачьи: «...да што вы . . . бешеные . . . да, Манька, да што они . . .», а ей кто-то затыкает рот и опять скребутся о доски сапоги и слышится неровное дыхание и кто-то сторонний будто давится смехом.

Но вдруг темноту разодрал озверелый крик: «Не натерлись ще! Набрали . . . , не нарадуются!» И от этого огненного крика все стихло, только слышно, как на нарах, перевертываясь, умачивается разбуженный солдат.

Я заснул. На рассвете проснулся от общего шума. Поезд стоит на малом разъезде. У двери вагона баба в полуподдевке, с испугом ухватившись за тяжелый узел, вырывает его у Васьки, ненавистно крича: «Отдай!пусти! черт!» Кругом усталые зелено-желтые солдатские невымытые лица. Васька с черными кольцами усиков смеется, дразнит бабу, не отдает, но вдруг, сразу сгробастав, выпихивает из вагона и бабу, и узел и кричит, хохоча: «Катись колбасой, тетка! Телеграфируй по беспроводным проводам, что, мол, отдохнули как надо солдатики революционной армии!»

С платформы обе бабы на перебой отругиваются: «Идолы! Жеребцы стоялые! Чтоб вас под откос спустило! Черти налетные!» Солдаты бурно смеются, высовываются в дверь: «Красненькую аль синенькую за люботу-то хотела?!» — «Теперь лети, по ширинкам не засматривайся!»

Поезд пошел. Сквозь размеренный грохот колес, издалека долетает еще неразборчивая ругань баб, опозоренных, но все ж, наверное, довольных, что наконец-то доехали до своей, станции.

Паровик свистит, пыхтит, словно у него порок сердца, словно с превеликим усилием прорывается он в сугробные пустые пространства, словно трудно ему лезть сквозь всеобщую топь вглубь России. У откаченной двери, расстегнув ворот гимнастерки и свесив одну ногу на волю, покуривает козью

ножку Васька; он то сплевывает на пролетающие откосы, перелески, чащобы, поля, то вполголоса напевает что-то революционное. Он с винтовкой возвращается в деревню, злое лицо его решительно. Васька на все готов, он поет: «... грудь проложим себе...» Я гляжу на него и думаю: вот Васька это и есть октябрьская революция.

— Помешался народ, — сокрушенно покачивая головой, откусывая сахар и прихлебывая чай из жестяной кружки, тихо говорит неподалеку от меня устроившийся тощий, квелый солдат с обтянутыми скулами, — да рази на ней, на войне-то не помешаешься?

— А давно на войне-то?

Прожевал сухарь, запил глотком чая.

— Четвертый год.

— Ты откуда будешь?

— Из-под Сызрани, — и задумчивый солдат, что-то шепча, расправляет на нарах шинель и ложится, поджимая ноги, сам с собой бормоча, — трудно оно после трех-то лет ехать... у бабы мальченка растет, четвертый год, а я его еще не повидал.

Я молчу. Я слушаю, как Васька поет: «... долго в цепях нас держали...». А мимо пролетает вся Россия: перелески, поля, лесные просеки, поймы, дороги, косогоры, займища, суходолы, шлагбаумы, будки стрелочников и баба, замотанная платком, стоит с поднятым зеленым флажком, показывая, что поезду путь свободен...

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### I.

Глубокой ночью уставший поезд со скрежетом толкнулся и встал у пензенского вокзала. Я выпрыгнул из своей красно-бурой теплушки: несет несусветная пурга. Плохоосвещенный вокзальный зал завален вповалку спящими солдатами. Солдаты с вещевыми мешками, узлами, окованными сундучками, спят в ожидании поездов. Стойка у буфета сворочена, бесстеклые

окна заткнуты тряпками, большие искусственные пальмы, бывшие когда-то украшением зала, с переломленными листьями валяются кучей в шелухе семечек.

А вокруг вокзала — темнота, снег, моргают далекие глазки огней. На приступках крыльца меня охватила метель, приятно обмывая усталое от неумывания лицо.

— Извозчиков нет?

— Чай видите, что нет. Откуда им быть? — бормотал укутанный башлыком, прислонившийся к стене носильщик в нагольном полушубке и в голосе его осуждение революционных порядков.

Я двигаюсь-было в темноту, но носильщик, как сквозь сон, окликает:

— А вы не ходите, ждите кто подъедет.

— Что? Опасно что-ль?

— Опасно, — передразнил, усмехнувшись, — не знаете, город разгромили? Каак? Да как громят-то, погром был. От Московской звания не осталось, еще спасибо мы, железнодорожники, да драгуны подоспели, а то с магазинов бы на дома кинулись, — и прикрывая рот варежкой, носильщик зазевал и в зевоту произнес безразлично, устало, — Иххххи . . . — Он словно дремал в этой темной метели, несущейся безвластным вихрем над городом.

— Да кто-ж громил? — допытывался я.

— Кто? Народ громил, кому-ж громить, не звери из лесу . . . народ, вот и разнесли, — и зевая, кряхтя, носильщик пошел в вокзал греться.

Словно прорывая дыры в ткани снежной тьмы, из города доносились далекие ружейные выстрелы; и чувствовалось, зналось, что в России все «поехало с основ», что в этой вьюге в России нет уже ничего, кроме пустоты страшной всероссийской свободы.

Из налетающей метели показался темный овал дуги и мохнатая голова лошади; скрип полозьев; и запурженный, заматанный каким-то тряпьем старичек-извозчик, подвозя солдата с винтовкой, осадил у вокзала шершавую, заиндевевшую

лошаденку. Я сел в его сани, прикрыл колени полосатопестрым рядом, с намерзшими на нем льдинками, и длинношерстая, от снега темнобелая лошадка мягко понесла сани, ухая и ныряя в невидимых ухабах. А где-то, словно рвут коленкор, стреляют; выстрелы несутся в ветреной, несопротивляющейся вьюге.

— Чего стреляют-то?

— Стреляют, — дергая возжами, подтверждающе говорит извозчик. Я хочу завязать с ним разговор, мне неприятно молчать в этой черной метели.

— Темнота-то какая . . . фонари что-ль перебиты?

— А кто зныт . . . может попорчены . . . — погоня лошадедку, зачмокал извозчик; и с Козьяго болота мы скользнули в Нагорную, мимо мелькнувшей на снегу кучки каких-то вооруженных штатских.

— Охрана что-ль?

Извозчик не отвечает, по-привычке чмокает, понукает лошадедку, тропотящую мелкой рысцей. И черт его знает, может этому молчащему старику-извозчику в этой первобытной темноте разграбленного города хорошо?

В окне нашего дома я сразу, всем существом, узнаю оранжевый свет: лампу матери с светло-желтым абажуром. Наше крыльцо под круглым навесом занесено снеговым пухом. Повернувшись с козел, извозчик отстегивает рядом и, сняв галицу, протягивает за полтинником согнутую, теплую ладонь. А у нас в доме, метнувшись, в окне пробегает тень; это мать увидела, дождалась.

Визжа полозьями, извозчик отъехал, скрылся в метели. В темноте я стою один на морозной улице, у двери родного дома. На крыльце остались резко-черные следы подошедших к двери моих сапог. И в секунды ожидания, что сейчас эта коричневая с шариками, с детства знакомая дверь откроется, в сознании почему-то молнией проносится то, что обычно называется «вся жизнь». Мне хорошо и жутко. Долго не попадая, торопясь, в замке возится, скрежещет ключ.

Но вот, отваливая наметенный снег, дверь открывается и я тут же обнимаю темное очертание что-то шепчущей, плачущей няни Анны Григорьевны, а за ней спешит мать.

## II.

Все тот же старый друг семьи, томпаковый самовар, уродливо отражая наши кривоголовые лица, вздыхает все на том же с детства знакомом столе. За чаем, несмотря на долгий путь, на страшность разгромленной Пензы, на все захватившую над ней ледяную метель, я испытываю ту же, а может-быть даже еще более острую радость возвращения домой. Я смотрю на мать и она, как всегда после разлуки, кажется мне в чем-то иной и в этой новизне волнующе дорогой. Я гляжу на ее родное лицо: ясная округлость лба, высоким валом взбитые русые волосы, темные пудовые глаза задумчивы, чуть грустны. Лицо очень русское, степное, дворянское. И не подумав, что у этой маленькой женщины с бледно-красивыми руками, как у многих истых русских женщин, характер совершенно бесстрашен и тверд.

Вещи, комнаты, их расположение, все мне кажется изменившимся и от этого еще более приятным. И в то время, как я рассеянно и радостно гляжу на все вокруг, мать рассказывает о Пензе, о наплыве фронтовиков в деревнях, о том, что везде громят, что товарища отца, нотариуса Грушецкого заживо сожгли в его имении, что под Керенском убили знакомого молодого либерального помещика Скрипкина и для потехи затолкали труп его в бочку с кислой капустой, а после этого мужики двинулись дальше на соседнюю усадьбу Божеряновой. Но Божерянову предупредили. И так как в имении Скрипкина мужики барским кровным маткам ломали перебили хребты, а производителю-жеребцу вырезали язык, Божерянова у себя на конюшне застрелила свою любимую лошадь и потом выстрелила в себя, но себя только ранила; и когда толпа уже вбегала в парк, старый приказчик увозил из усадьбы окровавленную, ослепшую женщину.

Мать рассказывала, как в Евлашеве убили Марию Влади-

мировну Лукину. Ее убийство евлашевские крестьяне обсуждали на сходе, выступать мог свободно каждый. Против убийства выступил Никита Федорович Сбитнев, но большинство не захотело слушать кулака; на убийство мутил пришедший с фронта солдат Будкин. Но тогда несогласное с убийством меньшинство потребовало у общества приговор, что они в убийстве неучастники, и поднятием рук сход постановил: выдать приговор несогласным и убить старуху. И взяв колья, толпа двинулась во главе с Будкиным на усадьбу убивать старую барыню и ее дочь, которую все село с детства полуласково-полунасмешливо называло «цыпочкой».

Как друзья ни уговаривали М. В. Лукину в эти дни разгромов и самосудов бросить Евлашево, старуха наотрез отказалась: «тут родилась, а если Бог судил, тут и умру»; и осталась в разваливающейся родовой усадьбе. Когда сельский сход голосовал ее смерть, она ужинала с дочерью, но из парка вдруг в окно забарабанила чья-то темная рука; дочь подбежала, открыла фортку, на пол упал комок бумаги, на бумаге накарябано: «бегите скорей, вас идут убивать», и от темного окна какой-то мальченка кинулся бегом по сугробам. Но сырая старуха успела добежать только до каретника; их учуяли бросившиеся за ними крестьянские собаки, а за собаками набежала и темная толпа с кольями. Марию Владимировну убили, вероятно, первым же ударом кола, с «цыпочкой» же случилось чудо. Окровавленная, она очнулась на рассвете у каретника, когда ей облизывал лицо их ирландский сетер; из последних сил девушка подползла к матери, но увидав, что мать мертва, поползла дальше из сожженной усадьбы; ирландский сетер шел за ней, он и спас ее, когда она, не доползши до хутора Сбитневых, потеряла сознание; сетер бросился к избе, скребся, лаял и вышедшие Сбитневы подобрали «цыпочку» и отвезли в Саранскую больницу.

Уж давно потух наш томпаковый самовар, по подоконникам воровски вползает холодноватый рассвет. Анна Григорьевна уснула на диване, а я все слушаю рассказы матери. Она рассказывает, как громили наше имение, как после разгрома

Лукиных, конопатские пришли на усадьбу к няне Анне Григорьевне с тем, что возьмут имение в охрану, хлеб свезут в общество «под ярлык до Учредительного Собрания», а на скот установят цену и купят его обязательно под расписку, чтоб никто, даже само это Учредительное Собрание, не имело права, в случае чего, отобрать назад. Анна Григорьевна на все соглашалась. И конопатские начали перегонять скотину, как вдруг на дороге показались евлашевские, а из-за лесу, с другой стороны, выбежали смольковские. На усадьбе началось кромешное светопреставление. Евлашевские кричат конопатским, что те разворовывают «народное достояние», конопатские отвечают, что в Евлашеве они с своей Лукиншей рассчитались, а эта усадьба причитается конопатским, и они хотят свое добром взять. Но и евлашевские и смольковские требуют и тут своей доли. И вдруг какой-то мальченка, вероятно, от удовольствия общей свары запустил кирпичем в окно и от этого стеклянного дребезга толпа всех трех сел рванулась и пошло! Выбили окна, высадили двери, тащили, кто кресло, кто посуду, кто стулья, кто диван. Бабы поволокли ковры, портьеры, гардины, тут же на лугу рвали их, чтобы всем вышло поровну; какой-то евлашевский парень топором рубил медные тазы, каждому со смехом раскидывая по куску. В усадьбу понаехали с подводами, каждый торопится побольше забрать народного достояния. Беременная, насносях, баба, на себе утащила входную дубовую дверь. Разгул расходился все безудержней. Но кто-то, разлив в кладовой керосин, поджег его и выстоявший дом запылал, как свеча. За домом подожгли службы, ометы соломы, сена. Пленные немцы недоумевали, зачем же жгут? Лучше бы взяли и увезли к себе? Но этого им так никто и не мог объяснить. И скоро от отпылавшей усадьбы остался только чугунный локомобиль на снежном бугре, да пожарище головней. Анне Григорьевне же дали лошадь и дровни, чтоб уезжала по-доброу, по-здорову.

Уже после разгрома, на третий день, мать не без страха, но все-ж решила ехать в Конопать, думая, что среди вещей, сложенных у учительницы, может-быть уцелело самое дорогое:

письма мужа, отца, семейные фотографии. Въехав в село, еще издали она увидела у церкви свой зеленый полукруглый александровский диван красного дерева и на нем весело игравших ребятешек. Неподалеку прямо в снег свалена библиотека с сверху разлетевшимся собранием сочинений Льва Толстого в красных кожаных переплетах и на церковной паперти запертый замками длинный кованый коник, который конопатский сход постановил не взламывать, а, предполагая в нем большие богатства, перенести в церковь и потом разделить все поровну, по-божески, всем селом.

Учительница Марфа Семеновна, одинокое жалкое существо, увидав мать, залилась слезами. Ночь у нее мать провела страшную, потому что, узнав о приезде барыни, еще до рассвета к училищу шумящей толпой стали сходитья мужики. Мать с волнением прислушивалась к их голосам, они о чем-то спорили, была даже как бы драка, а чуть забрезжило, все ввалились в училище и тут мать поняла, чего они всю ночь дожидались.

Пегобородый, с выкатившимся острым брюхом, хозяйственный крестьянин Иван Лихов заговорил первым. Он сказал, что они, Господи упаси, не хотят никакого самоуправления, что это их попутали евлашевские, а они хотят, чтоб все было похорошему. Хлеб, как сказали, берут обществом под ярлык до Учредительного Собрания, как оно решит, так тому и быть, а всю пригнанную скотину хотят купить обязательно под расписку. Мать стояла ошеломленная, но как ни отказывалась и ни разъясняла, что никакой купли-продажи быть уже не может, взяли все, ну, и Бог с ними, мужики только сильней и недоверчивей настаивали и вокруг матери поднялся такой настоящий шум, что на требуемую ими куплю-продажу матери приходилось согласиться. Цену крестьяне назначали сами, но деньги заставляли брать мать и непременно тут же давать каждому расписку. И чем дальше все это шло, тем азартнее становились покупатели, отпихивая друг друга, ударяя по ладоням, матерясь, готовые вот-вот схватить друг друга под грудки.

Истомленная мать пыталась-было уйти в комнату Марфы Семеновны, но и туда за ней ворвался осипший, замухортый Федор Колоднев и с разбегу упав в ноги, скороговоркой заговорил: «Барыня, милостивая, будьте благодетельницей, не оставьте, бедный я, вдовый, четверо ребятенков, а коровы нет, выбрал я буресую, а Пашка Воробьев на нее зарится, а он богатый, пусть уж ваша милость будет, поддержите вы меня, ради Христа . . . » И Колоднев был счастлив большим человеческим счастьем, когда, при поддержке матери, повел в свою половину корову-ведерницу.

Так до утра проговорили мы с матерью. Когда уже в просветлевшей комнате, где я спал еще ребенком, я задержал занавес, отчего комната, как всегда, наполнилась синеватым светом, я, легши на диван, заснуть уж не мог. Не удавалось словить и осилить сон, он все выскальзывал, и с закрытыми глазами я видел то безгласного старика-извозчика, то рыжего Хохряка, рухнувший фронт, поезд с бабами и ефрейтора Ваську, то евлашевских убийц старухи Лукиной, то упавшего в ноги матери Колоднева, то петербургских матросов, заколовших Шингарева и Кокошкина, и все смешивалось в какое-то осязание страшного кровавого потопа, в котором уничтожается все.

В голову пришло воспоминание из далекого детства. Мне десять лет, я отыграл в разбойники с сверстниками, крестьянскими мальчиками, и мы сидим на закате у берега нашего пруда. Вихрастый Канорка, в красноватой домотканной рубаше на одной медной пуговице, держит в руках свою босую ногу с огрублой, словно крокодиловой ступней и выковыривает из нее занозу; хриплым баском он рассказывает, что будет время, когда всех «господов» начнут душить. Мне неприятен Каноркин рассказ; я не понимаю, почему может придти такое время? И я перебиваю его, что все это глупости и никогда ничего этого не будет.

— Кто-ж будет душить? Ну, скажи, кто?

— Бог зачнет господов душить, вот кто! Кады страшный суд придет! — шепеляво кричит Канорка.

— Да это совсем другое, — говорю я, — это только грешников!

Но Мелеха, Ефимка, все, кроме болезненного Пантелея, согласны с Каноркой.

— Кады их душить будут, мы, Канорка, тоже к ним придем, — азартно поддерживает Канорку цыганенок Мелеха, — самовар отыдем, в пруд закинем и картуз с тебя сыдем, — с жадным озорством поглядывает он на мой жокейский картузик с пуговицей на макушке.

И хоть я не верю, что они когда-нибудь придут, но все же ощущаю у пруда какое-то боязное чувство, оттого, что нас с братом двое, а их, крестьянских мальчиков, так много; и я еще горячей кричу, что все это глупости, а если они и придут, то я перестреляю их из монте-креста!

Лежа на диване, я вслух шепчу: «а ведь пришли и не только отнимают картузик, а и убивают за него; это вот и есть страшный суд над господами». И я чувствую, что засыпаю.

### III.

После разлуки есть наслаждение не только во встрече с любимыми людьми, но и с любимыми местами. Я по-особому волновался, когда вышел из дома посмотреть на свою Пензу. Дошел до Московской улицы, она неузнаваема. Как по всей России, тротуары по щиколодку залузганы шелухой семечков, от них снег грязносерый, окна и двери разгромленных магазинов забиты досками. Все наводнено проезжающими, бегущими с фронта солдатами, они, никому не сторонясь, идут по тротуарам, по снегу мостовой, вооруженные, в шинелях нараспашку, в накидку, без погон, без поясов, сплевывают на сторону подсолнухи; едут на извозчиках пьяные, расхлястаные, с винтовками на коленях и дико поют какую-то азиатчину. На базарной площади они самосудом убили проезжавшего с фронта неизвестного штабс-капитана, только за то, что тот не снял еще золотые офицерские погоны, эту самую лютую, самую жгучую солдатскую ненависть, и, связав ему ноги веревкой,

протащили его голый труп по улицам Пензы. «Пенза страшна, как страшна вся Россия», думаю я, идя в толпе солдат по Московской.

Но мне странно, что во всей этой низменной, всезатопляющей мерзости в то же время и я ощущаю какое-то своеобразное величие. «Это, вероятно, и есть трагическое величие революций», думаю я.

К вечеру к нам пришла Наталья Владимировна Лукина, «цыпочка». Голова забинтована, с трудом поворачивает шею. Рассказывая об убийстве матери, плакала и чему-то жалобно, страдальчески улыбалась. Но как это ни противоестественно, к убившим ее мать и недобившим ее мужикам она не чувствовала ненависти. Со слезами тихо говорила:

— Ну, звери, просто звери . . . а вот когда узнали, что я не убита, что я в больнице, ко мне из Евлашева стали приходить бабы, жалели меня, плакали, приносили яйца, творог . . .

— Да это они испугались, что им за вас придется отвечать!

— Нет, что вы, перед кем же им теперь отвечать? Власти же нет. Нет, это, правда, они жалели меня, — и Наталья Владимировна плачет, поникая забинтованной головой.

В эти же дни с отрядом какой-то отчаянной молодежи по пензенскому уезду поскакала верхом вернувшаяся с фронта девица Марья Владиславовна Лысова, будущая известная белая террористка Захарченко-Шульц, поджогами сел мстя крестьянам за убийства помещиков и разгромы имений. И в эти же дни пензяки узнали, что наш гимназист Михаил Тухачевский, бежавший из немецкого плена лейб-гвардии поручик, пошел в Москве на службу к большевикам. Это было воспринято, как измена. Так незаметно начиналась русская гражданская война.

В сочельник у меня за ужином собрались друзья-офицеры обсудить, как организовать для вооруженного восстания в Пензе. В разгар ужина в прихожей раздался звонок и я неожиданно услышал невнятно-сипловатый голос прапорщика Крутицкого. Что за навождение? Наш фронтовой сапер, мастер постройки землянок и блиндажей? Действительно, он, проле-

тарий, ширококостный, с белесыми усами, сын уральского рабочего, приехал ко мне прямо из окопов. За общим ужином Крутицкий долго рассказывал о последних днях Кинбурнского полка, как командир уехал с фронта в Полтаву на полковых лошадях, как разбегались кто куда полковые товарищи. Но под рассказами я чувствовал, что белоусый начальник саперной команды приехал ко мне неспроста; и действительно, когда все ушли, он как бы невзначай обронил:

— Я тебе от Василия Лавровича письмо привез, да не знаю, что от него осталось, оно в сапоге, а я их две недели не снимал.

С трудом я стащил с Крутицкого словно примерзший сапог и с трудом прочел истоптанное, пропотевшее письмо командира. Полковник писал: «Корнилов на Дону, я еду туда, приезжайте немедленно, собрав возможно больше друзей, а оттуда мы уж двинемся на север . . . »

— Он тебя обязательно ждет, — проговорил Крутицкий, — будет организовывать полк, поднимут казаков и айда на Москву! Так и сказал: передайте Гулю, что первыми войдем в Москву и наш полк будет охранять Учредительное Собрание.

В ту же ночь Крутицкий уехал глубже к Москве по тайным поручениям командира, а я и брат, приморский драгун, стали обдумывать предложение полковника. Но обдумывали недолго: мне двадцать два, брату двадцать три года, мы едем к Корнилову на вооруженную борьбу с большевиками за Всероссийское Учредительное Собрание; и с нами едут четверо товарищеско-офицеров.

Липовые солдатские документы, вещевые мешки, все достали и на третий день Рождества мать, надевая на меня ладанку и крестя частым крестом, беззвучно плакала в страшной боязни вечного расставания. Я уже вышел на улицу, а все еще чувствую на щеках ее слезы. Полувысунувшись из двери, мать с трудом выговаривает какие-то последние взволнованные наказы и благословения. На всю жизнь я запомнил выражение ее лица с сияющими от слез глазами и этот зимний синеватый вечер, в который я опять уходил из родного дома.

По обмерзлomu тротуару круто и однотонно скрипят сапоги. Мы идем гуськом на расстоянии шагов пятидесяти. «Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер на всем Божьем свете . . . »

**Роман Гуль.**

(Продолжение следует)

\*  
\*\*

Лишь эта беспредельная усталость,  
Тяжелая, глухонемая речь, —  
Все то, что у меня сейчас осталось,  
Все то, что я еще успел сберечь.

Не все ль равно, как поздно или скоро  
Сгорит остаток потускневших дней?  
Друзья, смотрите, вот он — крематорий,  
Где урна с пеплом юности моей.

\*  
\*\*

Мне суждено: уйти, потом вернуться,  
Уйти не радуясь, вернуться не скорбя.  
Я чуть устал от войн, от революций  
И, может быть, от самого себя.

Уйти, от жизни милостыню клянча,  
Вернуться, не познав ее щедрот,  
Как возвращался рыцарь из Ламанча,  
Наивный дон, мой старый друг, Кихот.

\*  
\*\*

Нет ничего любви великолепней,  
Любви последней. Выпустим стрелу,  
Пронзим глаза друг другу и ослепнем  
И побредем, нащупывая мглу.

Как далеко до ада, или рая,  
Не все ль равно? Слепцам не нужен свет.  
Идем, подруга, тщетно повторяя  
Слова, которых не было и нет.

**М. Железнов.**



Смотри, как медленно и плавно  
И величаво — в вышине,  
Орел стремится полет державный,  
В ветрах и солнечном огне.

Смотри, на малое мгновенье,  
Как-бы внезапно изможден,  
Преодолев закон паденья,  
В лазури застывает он,

Чтоб камнем рухнуть на добычу,  
Что в прахе, в страхе залегла . . .  
Ты видишь, есть предел величию —  
Два в небе сложенных крыла.

### ЦЫГАНСКИЙ СОНЕТ

Ты потерял годам и бедам счет,  
Ты все узнал, ты ничего не знаешь.  
Рокочут струны и цыган поет:  
«По ком, по ком ты слезы проливаешь?»

Ты жизнь свою поешь и пропиваешь,  
Запекшийся ты освежаешь рот  
Глотком вина — с тобою муза пьет,  
Ее черты ты всюду прозреваешь.

И правдою становится обман.  
Рокочут струны и поет цыган  
И горькие тайком струятся слезы,

И вдруг, сквозь них ты видишь, что в углу,  
На каменном, затоптанном полу,  
Цветут неотцветающие розы.

Париж, 1945.

Влад. Смоленский.

## ДВЕ ВАРИАЦИИ НА ОДНУ ТЕМУ

«Слова слаще звуков Моцарта...»

Чайковский-Блок.

## I.

Все давно уже сказано, спето,  
Все стихи унесло, как дым.  
Не ручей, а свинцовая Лета  
Протекает за домом твоим.

За окном — гробовые деревья  
И нездешний зеленый закат,  
И душа на последнем кочевье  
Оборачивается назад.

И откуда-то вдруг выплывают  
Неземные созвучья, слова,  
И черты твои медленно тают,  
И кружится легко голова.

И под сладкие звуки Моцарта  
— Отголосок небесной трубы —  
Выпадает последняя карта,  
Замыкая кольцо судьбы.

## II.

О чем душа тоскует и томится?  
Зеленый — желтый — золотой закат.  
Нездешние, пленительные звуки.

А рядом, точно крылья дивной птицы,  
Под музыку, под звездами, летят —  
Так далеко, так близко — чьи-то руки . . .

И вот, отпущенная навсегда,  
В стремительном и страшном упоеньи,  
Душа, как, камень, падает туда,  
Откуда нет заведомо спасенья.

1946.

\*  
\*\*

Не сбудется. Пускай. Не надо.  
Уходит счастье впопыхах.  
Но сердцу дивная услада —  
Твоих ресниц единый взмах.

Глаза в глаза. За этой бездной,  
За черным шорохом ресниц —  
Все обещанье ночи звездной,  
Мельканье звездных верениц.

Уходит, уплывает счастье —  
Твои ресницы, лоб и рот.  
Стихи спадают, как запястья,  
В стремительный водоворот.

Barnet, 23.viii.1941.

Глеб Струве.

## Т Р И С Т А Н И И З О Л Ъ Д А

## И з о л ь д а

Изольда, доносится зов заглушенный  
Чрез море, чрез вечность, чрез холод и тьму.  
Нечаянно выпит, пажем поднесенный,  
Любовный напиток — проклятье ему!

Изольда, мы избраны Богом и небом,  
Изольда, любовь это случай слепой,  
Над брачной фатою, над солью и хлебом  
Смыкаются своды пучины морской.

Средь солнца, средь волн, средь полунощной стужи,  
Под грохот прибоя, под шелест дубов,  
Отныне прославят бретонские мужи  
Несчастье твое до скончанья веков.

Изольда, ты слышишь: навеки, навеки  
Печальная повесть о жизни земной:  
Два имени будут, как горные реки,  
Сливаться в один океан ледяной.

Лицо твое светит средь бури и мрака,  
Кольцо твое тонет в кипящей воде.  
И грех твой и ложь оскверненного брака  
Сам Бог покрывает на божьем суде.

Молись — но молитва не справится с горем,  
Вино пролилось, колдовская струя,  
И тяжестью черной темнеет над морем  
Наш гроб, наш чертог — роковая ладья.

## Т р и с т а н

Сквозь океан — как пробиться, сквозь гибель — как сохранить?  
Паруса надуваются, буря ревет меж скалами,  
Это — колокол в церкви. Это — несут хоронить  
И на ветру колеблется свеч восковое пламя.

Все приснилось нам: шелковый алый навес,  
Дом короля, дерзость встреч беззаконных,  
Волосы золотые, сиянье лица и лес,  
Блужданье в лесу два дня средь кленов зеленых.

Бретань! Камни, воздух, деревья, вода —  
Вы пронизаны светом, а я умираю;  
Раны снова открылись. Суд настал без суда.  
Это — все, жизнь кончается... Свету и раю,

Снам и солнцу, свободе и вере пришла  
Роковая проверка. Навстречу туману  
Вырастает со дна океана пустая скала,  
Что потом назовут скалою Тристана.

Нет, Изольда, напрасно ты спешишь океан переплыть:  
Ветви розы в цвету оплетут две могилы в аббатстве  
И преданье, как тень, будет вечную память творить  
О любви, о разлуке, о горе, о браке, о братстве.

**Ю. Терапиано.**

## П Е Р Л У А Й Т

По крышам каменных домов  
Бежали мы, грозя сорваться.  
Гремели выстрелы врагов,  
Но мы могли еще смеяться  
Над бандой купленных воров.

Потом длиннейшая спираль  
Нас уводила в подземелье.  
Над ним высокий Гранд-Централь,  
Скрывая тайну ожерелья,  
Тянулся в дымчатую даль.

Под тайным действием пружин  
Засовы ржавые скрипели —  
Пол опускался . . . мы летели  
На дно невиданных глубин  
Где чьи то кости зеленели.

Потом . . . был вечер, снег летел,  
Я шел домой холодной ночью.  
И долго грезилось воочью,  
Как локон пламенный горел  
На зло пустому многоточью.

**Михаил Чехович.**

# СУДЬБА ИМПЕРИЙ

Империй призрачных орлы...

В марксистской литературе принято считать империализм политическим продуктом зрелого капитализма, в который Европа вступила приблизительно с 80-х годов прошлого столетия. Экономические мотивы (борьба за рынки, сырье и помещение капиталов) действительно отмечают новейшую колониальную политику европейских империй. Но экономика лишь одна из многих сторон политической экспансии, которая стара, как мир. Здесь социология непосредственно продолжает биологию. Борьба за власть есть лишь политическое выражение всеобщей борьбы за существование. Можно было бы утверждать, как историко-социологический постулат, что каждое государство или даже каждое политическое образование (род, племя, орда) непрерывно раздвигает границы своей территории за счет соседей до тех пор, пока не встретит достаточно сильного сопротивления. В результате устанавливаются более или менее твердые границы, но всегда оспариваемые, всегда подвижные. Война в истории более постоянное явление, чем мир. Даже в периоды длительного мира нельзя забывать, что он лишь результат равновесия враждебных сил. Границы государства не статические формы, а силовые линии, где скрещиваются и уравниваются внутреннее и внешнее давление. Равновесие постоянно нарушается, и тогда происходит расширение, сжатие или гибель государства.

Вся история может быть рассматриваема (и даже преимущественно рассматривалась в узко-политической историографии) как смена процессов интеграции и дезинтеграции. Можно называть первый процесс ростом, развитием, объединением или же завоеванием, порабощением, ассимиляцией; второй — упадком, разложением или освобождением, рождением новых наций, в зависимости от того, какая государственность или народность стоит в центре наших интересов. Галльские войны Цезаря принесли с собой смерть кельтской Галлии и рождение Галлии римской. Разложение Австро-Венгрии есть освобождение — Чехии, Польши и Югославии. Объективная же или сверхнациональная оценка историка колеблется. Рост государства означает рас-

ширение зоны мира, концентрацию сил, и, следовательно, успехи материальной культуры. Но гибель малых или слабых народов, им поглощенных, убивает, часто навеки, возможность расцвета иных культур, иногда многообещающих, быть может, качественно высших по сравнению с победоносным соперником. Эти гибнущие возможности скрыты от глаз историка, и потому наши оценки великих империй или, точнее, факта их образования и гибели, содержат так много личного и условного. В отличие от евразийцев, мы признаем безусловным бедствием создание монгольской империи Чингис-Хана и относительным бедствием торжество персидской монархии над эллинизмом. С нашей точки зрения, империя Александра Великого и его наследница — Римская — создали огромные культурные ценности, хотя в случае Рима, нельзя не сожалеть о многих нераспустившихся ростках малых латинизированных культур. Враги греческого гуманизма, которых так много в наше время, конечно, другого мнения. Борьба эллинизма и Востока еще продолжается в нашей современной культуре.

Когда экспансия государства переходит в ту стадию, которая позволяет говорить об империи? На этот вопрос не так легко ответить. Во всяком случае, нельзя сказать, что империя есть государство, вышедшее за национальные границы, потому что национальное государство (если связывать национальность с языком) явление довольно редкое в истории. Может быть, правильное определение было бы: империя — это экспансия за пределы длительно-устойчивых границ, перерастание сложившегося, исторически оформленного организма.

Историки давно говорят о Египетской Империи для эпохи азиатских завоеваний Рамесидов, о Вавилонско-Ассирийской и Персидской империях — в их расширении за пределы Междуречья и Ирана до берегов Средиземного моря. Рим превращается в империю, когда выходит из границ Италии; европейские державы, когда приобретают обширные колониальные владения за океаном. Но завоевание или ассимиляция немцами западных славян или русскими славянами финнов не создавали империи. Выход государства, даже непрерывно растущего, из его привычной геополитической сферы есть тот момент, когда количество переходит в качество: рождается не новая провинция, но империя, с ее особым универсальным политическим самосознанием.

\*  
\*\*

Наши привычные понятия о государстве сложились в опыте 19-го века, когда национальное государство из исключения

превратилось в норму, в тип государства вообще. Современное государство-нация есть продукт скрещения двух первоначально враждебных сил: романтизма и французской революции. Романтизм, с его переоценкой всего иррационального в человеке и культуре, строил идею народа на подсознательных или полусознательных элементах его жизни, каковы язык, фольклор, языческая религия природы. Народ романтиков совпадал с языковой общиной. Французская революция сделала народ (конечно другой, насквозь рассудочный народ) сувереном, единственным носителем государственной власти. Народы Европы, поработанные революционной Францией, в борьбе против нее прошли через ее школу. Их культурный, бытовой, религиозный национализм превратился в политический. Каждый народ (нация) имеет право на свою государственность, и только национальные государства оправданы. Такова была вера 19-го века. И его внешне-политическая история сводилась главным образом к революционно-военной перекройке европейской карты по национальным границам. Для одних (немцев, итальянцев) это было движение к единству, для других — к отделению, освобождению от наций завоевательниц. Некоторые страницы этой истории достойны Плутарха. Нельзя без волнения читать о героях и мучениках освободительных движений в Италии, Польше, Ирландии. Счастливые, немцы и итальянцы, создали свои крепкие национальные государства уже в 19-ом веке. Даже более слабые, балканские народы, добились своей независимости, пользуясь слабостью Турции и поддержкой мощной России. Несчастливым пришлось ждать до первой мировой войны, которая принесла долго-чаемое освобождение полякам, ирландцам, чехам и другим австрийским славянам.

Но задолго до того, как процесс национализации Европы завершился, или, вернее, достиг своего возможного апогея, началась эра нового империализма. Конечно, и он не сводился к голой экономике. И в нем говорила воля к власти, пафос славы (Киплинг) или голос тщеславия. Но для великих европейских держав конца 19-го века колониальная экспансия была хозяйственной необходимостью. Все растущая индустрия требовала заокеанского сырья (хлопок, каучук), изобретение двигателей внутреннего сгорания вызвало колоссальную потребность в нефти и борьбу за ее ограниченные естественные источники. Наконец, победоносный капитализм, по природе своей не способный удовлетворяться внутренними рынками, начинает погоню за внешними. Политическое господство становится формой, орудием и броней экономической эксплуатации. Старые колониальные империи Англии и Голландии просыпаются

от вековой дремы для новой лихорадочной работы. Поздно пришедшие народы спешно строят свои новые империи за морем: Франция, Бельгия, Италия, Германия. Впрочем *sego venientibus ossa*. Для Германии не нашлось уже «места под солнцем» Африки или Азии, достаточно рентабельного, и она обратила главную ось своей экспансии на Ближний Восток. Здесь она проникла в империалистическую зону сил Англии и России, что и было одной из главных причин первой великой войны. В эту войну вступили уже не европейские народы или нации, а мировые империи, подобные драконам, головы которых еще умещались в Европе, но туловища покрывали почти весь земной шар.

Конфликты, приведшие к войне, были двух порядков: национальные и империалистические. Национальной в старом смысле слова была борьба Франции и Германии из-за Эльзас-Лотарингии, борьба немцев и славян на Дунае, внутри и вне Австро-Венгерской монархии. Империалистическая экспансия поспорила Германию с Англией и Россией. На Версальской конференции явно преобладали мотивы национальные, даже этнографические. Ее идеальным планом, на практике оказавшимся неосуществимым, было воплощение старой романтической мечты: для каждой народности свое государство. Крушение нескольких империй позволило кроить новые государства в Европе щедро и, на первый взгляд, безболезненно. Вопрос о колониях, о переделе мира и мировых богатств стоял на втором плане.

Вторую войну можно понять лишь в теснейшей связи с первой, как ее второй акт. Основной силой взрыва было болезненно-раздраженное, в результате поражения, национальное чувство Германии, самой динамической нации Европы. В ее сознании давно уже национальные мотивы неразрывно сплетались с империалистическими. Это значит: пафос освобождения становился для нее волей к власти. Гитлер и выставил для нее программу в сущности беспредельного господства: сначала в Восточной Европе, потом в Европе вообще, — наконец, во всем мире. С поразительной легкостью ему удалось осуществить две части своей программы. Впервые со времен Наполеона Европа подчинялась единому «порядку». Этот порядок, т. е. господство Германии приняла и Франция, казалось бы, ее вечный и непримиримый враг. На службу мечу стали и новые идеологии, в которых расовые и буржуазно-классовые мотивы сплетались с самыми передовыми, сверхнациональными и социалистическими. Бессилие и малодушие находили опору в стремлении к миру, к европейскому единству, к универсальной организации.

Потеря чувства меры (как в случае с Наполеоном) и асси-

рийское варварство методов завоевания сгубили Гитлера и Германию. Он нес народам не мир на основе права и порядка, который побежденные могли бы принять скрепя сердце, но унижение, порабощение, для многих физическое истребление. В результате Германия вызвала против себя взрыв национальных чувств и страстей, который оказался сильнее потребности в порядке и единстве. Англия и Россия боролись за свое существование. Движения «сопротивления» возродили революционный национализм, напоминая эпоху наполеоновских войн. Второй акт мировой войны окончился крушением германского варианта мировой империи.

В результате этих двух «раундов» старая Европа с ее сложившейся системой международных отношений отошла в вечность. Погибли или погибают все ее империи, кроме России, на равновесии которых держался мир. Нет больше Австро-Венгрии, Турция ушла из Европы, Италия потеряла все колонии, Германия — конечно, временно, — не существует даже как государство. Франция сведена на степень второстепенной державы, которая делает бессильные попытки спасти свою распадающуюся заморскую империю. Англия, хотя и дважды победоносная и способная к героической борьбе, ослаблена тяжким кровопусканием и вынуждена сама начать ликвидацию своей империи. В отличие от Франции, она проявляет в этом процессе свертывания много проницательности и великодушия. Она, действительно, стремится перестроить свою империю в добровольную федерацию наций, преимущественно англо-саксонской культуры. Но, занятая огромными внешними трудностями, она бессильна помочь Европе в организации ее хаоса.

Этот хаос создан не только военными потрясениями. Если погибли империи, то и государства-нации не смогли организовать жизни в образовавшейся политической пустоте. Прежде всего, выяснилась утопичность чисто этнографической государственности. Историческая чересполосица племен, естественные географические рубежи (Богемия), исторические воспоминания и притязания делают национальную проблему Восточной Европы неразрешимой. Чем дальше мы идем по путям мнимых решений, тем больше накапливается ненависти, к старым прибавляются новые несправедливости, открываются источники новых конфликтов. С другой стороны, национальное чувство в наши дни, столь беспощадное к слабым соседям, оказывается неожиданно и жалко покорным перед торжествующей силой. Франция покорилась Гитлеру почти без сопротивления. Чехословакия добровольно отдалась во власть московскому властелину. А, ведь, Франция и Чехословакия были классиче-

скими странами современного демократического национализма. Почти все силы «сопротивления» в Европе, боровшиеся с Гитлером, предадут теперь свою родину новому восточному завоевателю. Точно цель всей их борьбы была в том, чтобы переменить одного тирана на другого.

Нет, не национальное сознание способно сейчас организовать мир; скорее оно мешает новой организации, стремится увековечить хаос. Нечего и говорить о том, что за столетие индустриального капитализма оно растеряло все те великие ценности, которые некогда национальный романтизм писал на своем знамени. Культура — или бескультурность — современных наций становится все более космополитической, безнадежно-однообразной. Национальные традиции служат больше для декоративной рекламы внутренне пустой технической цивилизации.

\*  
\*\*

Итак, ни равновесие империй, ни мирное строительство малых наций не даны для новой исторической эпохи. Пока над руинами и хаосом Европы высятся два гиганта, два победителя, вознесенные мировой войной на небывалую высоту. Для всех ясно, насколько неустойчиво новое равновесие. При всяких обстоятельствах дуализм политических сил, направления которых пересекаются почти во всех точках общего «жизненного пространства», неизбежно приводит к их столкновению. Правда, сейчас нет недостатка в карликах, которые, в страхе от приближающейся грозы, пытаются играть роль посредников между гигантами. Но их политический вес слишком ничтожен, чтобы поддерживать шатающееся равновесие. В данном случае нельзя даже говорить о столкновении, как о событии будущего. Борьба между двумя империями уже ведется методами дипломатии, экономики, пропаганды. Даже прямые военные действия идут, хотя и под прикрытием чужих флагов. Сейчас СССР ведет войну в Греции и в Китае, как ранее вел ее в Иране и во всей уступленной ему, но подлежащей покорению территории Восточной Европы. Для СССР война еще продолжается; мир не подписан, да он и не должен быть подписан. Сталин явно выступил в качестве преемника Гитлера не только в сфере бывшего фактического господства Германии, но и ее притязаний. Для правящего слоя в России дело идет о господстве над миром путем завоевания и революции.

Америка не мечтает о мировом господстве. Она думает больше об организации своей безопасности, но поняла уже, что мир стал слишком тесен для безопасности одиноких. Она

уже преодолела свой врожденный изоляционизм и пытается организовать мировой хаос. Пока еще только долларом и хлебом, не адекватными пулеметам и пушкам ее вездесущего противника. Но военный потенциал Америки огромен. В случае военного столкновения ее победа несомненна, по крайней мере при настоящем соотношении вооружений и сил. Ее беда в том, что она не умеет реализовать свой военный потенциал в обстановке мира, главным образом благодаря «викторианской» отсталости своего политического мышления.

Но Америке не чужда мысль о мировом единстве. Она пыталась воплотить ее в бескровном призраке ООН, этом ухудшенном издании Лиги Наций. Повидимому, она сейчас уже не верит в нее. В мире, разделенном пополам непримиримыми противоречиями, не может быть никаких Объединенных Наций. Но как ни компрометирует это жалкое учреждение великую идею единства, она сейчас жива, как никогда. Жива, несмотря на разлив национальных страстей, несмотря на подготовку третьей войны. Ведь, эта война готовится не для защиты национальных, ограниченных интересов, но во имя организации мира. Сталин, подобно Гитлеру, мыслит эту организацию, как поражение и подчинение мира своей социальной системе и единой воле господина; Америка и Англия — как союз юридически равных, как федерацию демократических народов.

До сих пор идея мирового государства не защищается правящими кругами англо-саксонских союзников. Они вынуждены считаться с самолюбиями средних и малых народов, с узким национализмом своих собственных стран. Потеря национального суверенитета пугает. 19-й век держит в плену их сознание. Но уже Черчилль имеет смелость говорить о Соединенных Штатах Европы. Но уже Маршалл требует единой экономической организации Европы, как условия американской помощи для хозяйственной реконструкции. И в перспективе атомного оружия, Америка вместе со всеми демократиями Запада настаивает на частичном ограничении суверенитета. Однако, это частичное ограничение означает отказ от права войны и от свободы вооружений. При современной атомной технике, оно, в сущности, означает всеобщее разоружение и создание мировой армии. Лишенное права войны и мира, государство перестанет существовать как суверенное. Оно вынуждено отказаться и от внешней политики, которая станет внутренней политикой рождающегося сверхнационального государства.

При неизбежном сопротивлении России, этот план является совершенно утопическим. Но попробуйте мысленно устранить Россию, и он завтра же станет реальностью. Мыс-

ленное устранение, конечно, не поможет реализации. Но мы видели, что почти стихийный ход событий (включающий и сознательную волю правителей России) ведет к войне, которая может реально устранить либо Россию, либо Америку со всеми оставшимися демократиями мира.

Все вероятности говорят в пользу того, что новое мировое государство, или новая универсальная империя, родятся, как и все бывшие империи, в результате войны, а не мира. Теоретически мыслимо, конечно, образование федерации народов в результате совершенно свободного соглашения равных. Хотя мир никогда не знал такого опыта, но новое, небывалое — как, например, фашизм, или коммунистическая революция — рождается на наших глазах. Однако, совершенно свободный отказ от суверенитета предполагает слишком высокий уровень политической морали. Об этом позволительно было мечтать в девятнадцатом или начале двадцатого века, когда старая Европа стояла в апогее своей политической цивилизации. Женевская Лига Наций давала ей последний шанс. С тех пор, в результате двух страшных войн, политическая мораль европейских народов пала так низко, как, может быть, никогда за время всей христианской истории. Политическая фразеология находится в кричащем противоречии с политическими реальностями. Для всех практических соображений можно принять, что сейчас народы мира движутся близоруким эгоизмом, ненавистью и, всего больше, страхом. Это значит, что они готовы принять единство только продиктованное силой, только в форме Империи.

Сила еще не значит завоевание, империя еще не значит господство. Сейчас история предлагает народам мира два варианта империи, из которых один является, действительно, небывалым, хотя и вполне возможным. Эти два варианта соответствуют двум возможным победителям, на долю которых выпадет организовать мир.

Легко себе представить, как будет выглядеть мир в случае победы России. Распространение коммунистической системы по всему земному шару. Истребление высших классов и всех носителей культуры, дышавших воздухом свободы и не желающих от него отказаться. Массовые казни в первые годы, каторжные лагеря на целое поколение. Закрепощение всех профессий на службу всемирному государству. Управление им, централизованное в Москве, при фиктивной независимости федеративных наций.

Постепенное (а, может быть, и быстрое) заглушение всех высших сфер культуры за счет технического знания. До сих

пор краски этой картины взяты из действительного опыта России и Восточной Европы. Идя дальше, можно представить себе, что в обстановке мира и технической цивилизации материальные потребности покоренных народов будут удовлетворены, чего никогда не было достигнуто в СССР. Парии Азии и негры Африки впервые наедятся риса до-сыта. Вероятно, они будут благословлять свою судьбу. Мировая империя Москвы будет прочна, как древние тоталитарные империи — Египта, Китая, Византии. Конечно, удушение свободы поведет к постепенному падению не только духовной культуры, но, в конце концов, и самого технического знания. Конец «прогресса». Медленное понижение уровней. Одряхление, которое может тянуться века, чтобы закончиться новым варварством. В этом прогнозе не предусмотрено одно: способность человеческого духа к творческим взрывам вроде рождения новых религий или реформации старых, которые могут разрушить или преобразовать самые твердые, неподвижные цивилизации.

Менее ясен, но более светел другой вариант Империи: Pax Americana, или лучше Pax Atlantica. В случае победы Америки, Англии и их союзников, единство мира должно отлиться в форме действительной, а не мнимой федерации. Такова сама структура и Соединенных Штатов, и Британского Commonwealth. В настоящее время англо-саксы и не представляют себе власти, организованной вне самоуправления. Даже молодой империализм Америки, при всей жадности к стратегическим базам, начинается с освобождения своих старых колоний. Опасность Атлантического варианта Империи не в злоупотреблении властью, а скорее в бездействии власти. У свободных народов нет вкуса к насилию, и это прекрасно. Но в настоящее время у них нет и вкуса к власти, и это опасно.

В отличие от России, Америка не может не считаться со своими союзниками, из которых Англия, или ведомая ею Федерация доминионов, представляет еще серьезную силу. Самолюбия и эгоизмы европейских народов тоже создают не малые препятствия. Они безропотно покорятся самой гнусной из тираний, но будут роптать при легких ограничениях их суверенитета. Заставить их войти в мировую империю, организованную в форме федерации, не легко. Нужна большая воля и большая гибкость, чтобы добиться повиновения слабых в рамках демократической законности. Юная федерация не может быть федерацией равных по существу, но лишь по форме. Лишь время и общее разоружение сделают излишней гегемонию мильного и возможным уравнение политического влияния. Если

сильный откажется от своей тяжелой ответственности, мир снова развалится, и уже безнадежно.

Но опыт двух войн показал, что англо-саксонские демократии, часто пассивные во время мира, находят в себе волю и способность к героическому напряжению в роковой час. Чувство ответственности может заменить для них вкус к власти.

Итак, нет основания бояться порабощения народов в случае победы Америки. Экономические интересы, конечно, потребуют своего удовлетворения. Надо признать, что спасение мира стоит известных материальных жертв в пользу победителя. Да и распространенные в Европе опасения американской эксплуатации страшно преувеличены. Пока что, Америка бросает миллиарды для восстановления Европы и не видно, чтобы она получила что-либо взамен.

Атлантическая Империя столь же мало предполагает единство экономической системы, как и единообразие политическое. Социализм и капитализм в разных дозах могут уживаться в общих экономических рамках. Пример социалистической Англии показывает, что в наши дни не экономика соединяет народы или разводит их по разным лагерям. Общие основы англо-саксонской цивилизации не изменились с отказом Англии от капиталистической системы. Но, конечно, необходимость регулирования мирового хозяйства в единой Империи чрезвычайно усилит сама по себе социалистические тенденции отдельных стран.

Здесь кончается возможность предвидения. В отличие от четких очертаний коммунистической империи, общество, построенное на свободе, таит в себе неограниченные возможности. Где свобода, там и возможность конфликтов. Где борьба, там и возможность поражений. Но также и необычайных побед. Мы знаем, что западная цивилизация тяжело больна; международные столкновения лишь один из симптомов общего недуга. И по устранении их остается возможность социальных потрясений, моральных кризисов, духовных бурь. В конце концов, вопрос о спасении нашей культуры есть вопрос духа. Но, если будет устранена угроза войны между народами, если будет достигнуто всеобщее разоружение, человечество получит еще одну отсрочку — как древняя Ниневия в книге пророка Ионы.

Одной из главных проблем грядущей Империи будет установление отношений между членами западной семьи и возрождающимися народами «Востока». Но это тема будущего. Сейчас Восток еще слишком слаб технически, чтобы не включиться, охотно и с выигрышем для себя, в новую федеративную Империю. Как удержать его в ней, по достижении им технического

·совершеннолетия, это проблема наших детей и внуков, которая, конечно, займет когда-то главное поле истории.

Ceterum censeo: нельзя забывать о третьей возможности — возможности не победы одной из двух империй, а всеобщего разрушения и гибели, если столкновение произойдет в условиях приблизительного равенства сил и оружия.



Остановимся на одном из возможных исходов. Какая судьба ожидает Россию в случае ее поражения? Если бы Россия была национальным государством, как Франция или современная Германия, ответ был бы сравнительно прост и не столь для нее трагичен. Да, она, конечно, прошла бы через ужасы разорения, унижения, голода, через которые сейчас проходит Германия, с той только разницей, что, в отличие от Германии, ей не привыкать стать к голоду и рабству. Для большинства ее населения падение ненавистной власти, даже ценой временной иностранной оккупации, явится освобождением. Ведь американцы не собираются колонизовать Россию, как Гитлер, или истреблять ее «нисшие» расы. Но дело осложняется тем, что Россия не национальное государство, а многонациональная империя; последняя, единственная в мире, остающаяся после ликвидации всех империй. Было бы чудом, если бы она вышла невредимой из ожидающей ее катастрофы, в тех географических очертах, в которых ее застала революция.

Правда, Россия является империей своеобразной. По своей национальной и географической структуре она занимает среднее место между Великобританией и Австро-Венгрией. Ее нерусские владения не отделены от нее морями. Они составляют прямое продолжение ее материкового тела, а массив русского населения не отделен резкой чертой от инородческих окраин. Но Дальний Восток или Туркестан, по своему экономическому и даже политическому значению, совершенно соответствуют колониям западных государств. Типологическое, т. е. качественное сходство с Австро-Венгрией еще значительнее. Однако, процент господствующего великорусского населения в империи Романовых был гораздо выше немецкого в империи Габсбургов. Это сообщало России несравненно большую устойчивость. Сходство будет полнее, если, вместо Австро-Венгрии последних десятилетий, взять Германскую Империю до 1805 года. Русские и немцы играли одну и ту же цивилизаторскую и ассимиляционную роль. Правда, среди подданных Германии были страны древних и богатых культур. Вместо одной Русской

Польша, Германия имела три: Польшу, Венгрию и Богемию. Однако, с подъемом культуры народностей России и соответствующим ростом их сепаратизмов Россия приближалась к типу Австро-Германии.

Но мы не хотели видеть сложной многоплеменности России. Для большинства из нас перекройка России в СССР, номинальную федерацию народов, казалась опасным маскарадом, за которым скрывалась все та же русская Россия, или даже святая Русь.

Как объяснить нашу иллюзию? Почему русская интеллигенция в 19-ом веке забыла, что она живет не в Руси, а в Империи? В зените своей экспансии и славы, в век «Екатерининских орлов», Россия сознавала свою многоплеменность и гордилась ею. Державин пел «царевну киргиз-кайсацкие орды», а Пушкин, последний певец Империи, предсказывал, что имя его назовет «и ныне дикой тунгуз и друг степей калмык». Кому из поэтов после-пушкинской поры пришло бы в голову вспоминать о тунгузах и калмыках? А Державинская лесть казалась просто непонятной — искусственной и фальшивой. Но творцы и поэты Империи помнили о ее миссии: нести просвещение всем ее народам — универсальное просвещение, сияющее с Запада, хотя и в лучах русского слова.

После Пушкина, рассорившись с царями, русская интеллигенция потеряла вкус к имперским проблемам, к национальным и международным проблемам вообще. Темы политического освобождения и социальной справедливости завладели ею всецело, до умоисступления. С точки зрения гуманитарной и либеральной, осуждалась Империя, все империи, как насилие над народами, но результаты этого насилия принимались как непререкаемые. Более того, девятнадцатый век для большинства интеллигенции означал сужение национального сознания до пределов Великороссии. Россия была необъятно велика, и мало кто из русских образованных людей изъездил ее из конца в конец; непоседливых манила сказка Запада. Но и путешествуя по России, русский не выходил из своего привычного уклада: объяснялся везде по-русски, видел везде одну и ту же русскую администрацию и туземцев, побогаче и познатнее, уже входящих в быт, язык и культуру завоевателей. Интеллигенция возмущалась насильственной руссификацией или крещением инородцев, но это возмущение относилось к методам, а не к целям. Ассимиляция принималась как неизбежное следствие цивилизации. Еще полвека или век, и вся Россия будет читать Пушкина по-русски (так понимался «Памятник»), и все этно-

графические пережитки сделаются достоянием музеев и специальных журналов.

Есть еще одна неожиданная сторона русского западничества. Россией вообще интересовались мало, ее имперской историей еще меньше. Так и случилось, что почти все нужные исследования в области национальных и имперских проблем оказались предоставленными историкам националистического направления. Те, конечно, строили тенденциозную схему русской истории, смягчавшую все темные стороны исторической государственности. Эта схема вошла в официальные учебники, презираемые, но поневоле затверженные и не встречавшие коррективы. В курсе Ключевского нельзя было найти истории создания и роста Империи.

Так укоренилось в умах не только либеральной, но отчасти и революционной интеллигенции наивное представление о том, что русское государство, в отличие от всех государств Запада, строилось не насилем, а мирной экспансией, не завоеванием, а колонизацией. Подобное убеждение свойственно националистам всех народов. Французы с гордостью указывают на то, что генерал Федерб с ротой солдат подарил Франции Западную Африку, а Лиотэ был не столько завоевателем Марокко, сколько великим строителем и организатором. И это правда, то-есть одна половина правды. Другая половина, слишком легко бросающаяся в глаза иностранцам, недоступна для националистической дальновзоркости.

Несомненно, что параллельный немецкому русский *Drang nach Osten* оставил меньше кровавых следов на страницах истории. Это зависело от редкой населенности и более низкого культурного уровня восточных финнов и сибирских инородцев сравнительно с западными славянами. И однако — как упорно и жестоко боролись хотя бы вогулы в 15-ом веке с русскими «колонизаторами», а после них казанские инородцы и башкиры. Их восстания мы видим при каждом потрясении русской государственности — в Смутное время, при Петре, при Пугачеве. Но с ними исторические споры покончены. Несмотря на искусственное воскресение восточно-финских народностей, ни Марийская, ни Мордовская республика не угрожают целостности России. Уже с татарами дело сложнее. А что сказать о последних завоеваниях Империи, которые несомненно куплены обильной кровью: Кавказе, Туркестане?

Мы любим Кавказ, но смотрим на его покорение сквозь романтические поэмы Пушкина и Лермонтова. Но даже Пушкин обронил жестокое слово о Цицианове, который «губил, ничтожил племена». Мы заучили с детства о мирном присоединении

Грузии, но мало кто знает, каким вероломством и каким унижением для Грузии Россия оплатила за ее добровольное присоединение. Мало кто знает и то, что после сдачи Шамиля до пол-миллиона черкесов эмигрировало в Турцию. Это все дела недавних дней. Кавказ никогда не был замирен окончательно. То же следует помнить и о Туркестане. Покоренный с чрезвычайной жестокостью, он восставал в годы первой войны, восставал и при большевиках. До революции русское культурное влияние вообще было слабо в Средней Азии. После революции оно было такого рода, что могло сделать русское имя ненавистным.

Наконец, Польша, эта незаживающая (и поныне) рана в теле России. В конце концов вся русская интеллигенция — в том числе и националистическая — примирилась с отделением Польши. Но она никогда не сознавала ни всей глубины исторического греха, совершаемого — целое столетие — над душой польского народа, — ни естественности того возмущения, с которым Запад смотрел на русское владычество в Польше. Именно Польше Российская Империя обязана своей славой «тюрьмы народов».

Была ли эта репутация заслуженной? В такой же мере, как и другими европейскими империями. Ценой эксплуатации и угнетения они несли в дикий или варварский мир семена высшей культуры. Издеваться над этим смеет только тот, кто исключает сам себя из наследия эллинистического мира. Для России вопрос осложняется культурным различием ее западных и восточных окраин. Вдоль западной границы русская администрация имела дело с более цивилизованными народностями, чем господствующая нация. Оттого, при всей мягкости ее режима в Финляндии и Прибалтике, он ощущался как гнет. Русским культуртрегерам здесь нечего было делать. Для Польши Россия была действительно тюрьмой, для евреев гетто. Эти два народа Империя придавила всей своей тяжестью. Но на Востоке, при всей грубости русского управления, культурная миссия России бесспорна. Угнетаемые и разоряемые сибирские инородцы, поскольку они выживали — а они выживали — вливались в русскую народность, отчасти в русскую интеллигенцию. В странах Ислама, привыкших к деспотизму местных эмиров и ханов, русские самодуры и взяточники были не страшны. В России никого не сажали на кол, как сажали в Хиве и Бухаре. В самих приемах русской власти, в ее патриархальном деспотизме, было нечто родственное государственной школе Востока, но смягченное, гуманизированное. И у русских не было того высокомерного сознания высшей расы, которое губило плоды просве-

щенной и гуманной английской администрации в Индии. Русские не только легко общались, но и сливались кровью со своими подданными, открывая их аристократии доступ к военной и административной карьере. Так плюсы и минусы чередуются в пестрой картине. Общий баланс, вероятно, положительный, как и прочих империй Европы. И если бы мир мог еще существовать, как равновесие империй, то среди них почетное место занимала бы Империя Российская. Но в мире уже нет места старым империям.

Национально-романтическое движение докатилось до пределов России с некоторым запозданием. Не сразу оно приняло и политический характер. Быть может, это соответствовало и слабости романтического национализма (славянофильства) в самой Великороссии. Тяготение к западной культуре (через посредство России) долго перевешивало в меньшинственных интеллигенциях их этнографическую связь со своими народами. Но неизбежное наступило. Одним из первых Рунеберг, создатель Калевалы, положил начало финской литературе, создавая новую нацию из того, что было лишь этнографической народностью. Во второй половине столетия возрождаются или просто рождаются на свет эстонская и латышская литературы — будущие нации, творимые поэтами. Тогда же происходит новый расцвет древних литератур Кавказа — грузинской и армянской. Одной из первых, в начале девятнадцатого века, романтическое веяние коснулось и оживило литературу украинскую. Уже к середине века, в Кирилло-Мефодиевском братстве, украинское движение принимает политический характер.

Пробуждение Украины, а особенно сепаратистский характер украинофильства изумил русскую интеллигенцию и до конца остался ей непонятным. Прежде всего потому, что мы любили Украину, ее землю, ее народ, ее песни, считали все это своим, родным. Но еще и потому, что мы преступно мало интересовались прошлым Украины за три-четыре столетия, которые создали ее народность и ее культуру, отличную от Великороссии. Мы воображали, по схемам русских националистов, что малороссы, изнывая под польским гнетом, только и жаждали, что воссоединиться с Москвой. Но русские в Польско-Литовском государстве, отталкиваясь от католичества, не были чужаками. Они впитали в себя чрезвычайно много элементов польской культуры и государственности. Москва с ее восточным деспотизмом была им чужда. Когда религиозные мотивы склонили казачество к унии с Москвой, здесь ждали его горькие разочарования. Московское вероломство не забыто

до сих пор. Ярче всего наше глубокое непонимание украинского прошлого сказывается в оценке Мазепы.

Новый этап в создании украинской нации падает на вторую половину девятнадцатого века. Бессмысленные преследования украинской литературы перенесли центр национального движения из Киева во Львов, в Галицию, которая никогда не была связана ни с Москвой, ни с Петербургом. Это имело двойные последствия. Во-первых, литературный язык вырабатывался на основе галицийского наречия, а не полтавского или киевского, то-есть гораздо более далекого от великорусских говоров.

Польский, а не русский язык стал источником новых отвлеченных и научных словообразований. Русский мог без труда понимать Шевченко, но язык Грушевского был ему непонятен, казался искусственным. Как будто не все литературные языки были искусственными при своем создании — русский язык Ломоносова или латинский Энния! Но мы по-прежнему упрямо продолжали считать малороссийский язык лишь областным наречием русского, хотя слависты всего мира, включая Российскую Академию Наук, давно признали это наречие за самостоятельный язык. То, что этот язык из языка фольклорной поэзии сделался языком отвлеченной мысли, на котором уже существует большая научная литература, окончательно решает вопрос об украинской нации. Грушевский может быть назван ее создателем.

На наших глазах рождалась на свет новая нация, но мы закрывали на это глаза. Мы были как-будто убеждены, что нации существуют извечно и неизменно, как виды природы для до-эволюционного естествознания. Мы видели вздорность украинских мифов, которые творили для Киевской эпохи особую украинскую нацию, отличную от русской. Но мы забывали, что историческая мифология служила лишь для объяснения настоящей реальности. Нации не было, но она рождалась — рождалась веками, но в ускоряющемся темпе в наши дни. 1917 год был актом ее официального рождения.

То обстоятельство, что центр движения был в Галиции, обособляло и политически новую нацию от общей судьбы народов России; облегчало для нее переход от федеративной идеологии Костомарова и Драгоманова к идее «самостийности».

Было еще одно движение среди народов России, центр которого оказался за рубежом, и которое мы совершенно проглядели. Это было пан-тюркское движение, связывавшее литературное и политическое пробуждение русских татар с возрождением Молодой Турции.

Русские националисты первые заметили опасность, угро-

жающую Империю. Они ответили на нее усилением руссификации, травлей инородцев, издевательством над украинцами и еврейскими погромами. Они старательно раздували искры сепаратизмов. Два последних императора, ученики и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский стиль России, рубили ее под самый корень. Революционная интеллигенция лишь накануне первой революции пошла на встречу национальным движениям меньшинств. Некоторые из левых партий (не большевики) включили в свою программу федеративный строй Российской республики. С этим и застал нас 1917 год.

Трудно возразить что-либо против идеи федерации. Это прекрасная, разумная программа. Для малых народов она обещает и свободу, и преимущества жизни в великом, веками сложившемся организме. Экономические блага имперской кооперации бесспорны, так же, как и преимущества военной защиты. Может-быть, если бы федеративный строй России осуществился в 1905 году с победой освободительного движения, он продлил бы существование Империи на несколько поколений. Но, к сожалению, народы, по крайней мере в наше время — живут не разумом, а страстями. Они предпочитают резню и голод под собственными флагами.

Как страстно славяне ненавидели «лоскутную» Австро-Венгрию, и как многие теперь жалеют о ее гибели. Старая Австрия давно уже перестала быть Габсбургской деспотией. С 60-х годов она перестраивалась на федеративный лад. Некоторые из ее народов — венгры, поляки — уже чувствовали себя хозяевами на своей земле, для других время полного самоуправления приближалось. Все вообще пользовались той долей политической свободы, какая была немыслима в царской России. И однако, они предали свое отечество в годину смертельной опасности.

В 1917 году демократическая интеллигенция, полгода управлявшая Россией, октроировала федеративное самоуправление некоторым из ее народов. Но в обстановке развала и падения военной мощи России федерация уже не удовлетворяла. А когда в Великороссии победил большевизм, от нее побежали, как от чумы. Большевики силой оружия собрали Империю и террором, как железным обручем, держат, вот уже почти три десятилетия, ее распадающийся состав.

Многим казалось, даже среди непримиримых врагов большевизма, что решение национальной проблемы в СССР принадлежит к самым удачным их достижениям. Оно сводится к двум принципам: полная культурная автономия и никакой политической.

Отсутствие политической свободы прикрывалось обильными поблажками национальному тщеславию. Даже имя России было уничтожено. Одиннадцать республик СССР жили «под своими собственными флагами»: по конституции они имели даже право на отделение. В первые годы Революции национальные силы всех народов, кроме великорусского, не только освобожденные, но и получившие государственную поддержку, привели к расцвету национальных культур. Значительная часть интеллигенции нашла удовлетворение в культурном народничестве. Конечно, вся власть принадлежала коммунистической партии, а партия управлялась из Москвы.

Этот расцвет продолжался недолго. Большевизм был системой не только политической, но прежде всего идеологической. Национальный романтизм, неизбежно принимавший идеалистическую окраску, был ему ненавистен. На десятках языков Союза должны были печататься и читаться только полные собрания сочинений Маркса и Ленина. Это было достигнуто, с прибавлением от Сталина. Для этого понадобилось задушить национальные литературы (особенно украинскую и тюркскую) с истреблением значительной части их интеллигенции. С тех пор национальные движения были загнаны в подполье. Но это значит, что опять, как в царские времена, на окраинах скопляются центробежные силы, готовые взорвать мнимо-федеративную Империю. И чем более они сдавлены прессом НКВД, тем эффективнее должен быть их взрыв после освобождения.

Большевицкий режим ненавистен и огромному большинству великороссов. Но общая ненависть не спаивает воедино народов России. Для всех меньшинств отвращение от большевизма сопровождается отталкиванием от России, его породившей. Великоросс не может этого понять. Он мыслит: мы все ответственны, в равной мере, за большевизм, мы пожинаем плоды общих ошибок. Но, хотя и верно, что большевицкая партия вобрала в себя революционно-разбойничьи элементы всех народов России, но не всех одинаково. Русскими преимущественно были идеологи и создатели партии. Большевизм без труда утвердился в Петербурге и в Москве, Великороссия почти не знала гражданской войны; окраины оказали ему отчаянное сопротивление. Вероятно, было нечто в традициях Великороссии, что питало большевизм в большей мере, чем остальная почва Империи: крепостное право, деревенская община, самодержавие. Украинец или грузин готовы преувеличивать национально-русские черты большевизма и обелять себя от всякого сообщничества. Но их иллюзии естественны.

Железный занавес тоталитарной лжи мешает нам видеть

ясно, что происходит за пределами общеизвестного застенка. Но есть три факта, которые заставляют предполагать рост сепаратизмов в СССР. Во-первых, по свидетельству беглецов, «националь» составляют заметный процент населения концлагерей. Их присутствие там не уравнивается представительством политических течений или партий Великороссии, ибо таковых не существует. В бесформенной оппозиционной массе, смешанной с уголовными, выделяются, хотя бы с ярлыком шпионов, только представители малых народов России.

Во-вторых, после второй войны, правительство уничтожило пять республик (или областей), за сотрудничество с немцами. Республики не велики, но показательны; до других, ведь, и не дотянулась германская оккупация. Украйны уничтожить было нельзя без всесоюзного позора, но, кажется, и она заслуживала той же участи. Мы знаем об украинских воинских частях, сражавшихся вместе с немцами, об украинской церкви, об эмбрионе украинского правительства. Пораженчество, конечно, захватило и Великороссию, но на Украйне оно сказалось много ярче.

И, наконец, мы видим то, что происходит в эмиграции, среди нас. Можно утверждать, что зарубежные настроения не вполне соответствуют внутри-советским: преувеличения революционеров неизбежны. Но нельзя думать, что они совершенно оторваны от советской действительности; по крайней мере, для нас, великороссов, война и новая эмиграция принесли скорее подтверждение наших оценок. И вот, среди всех групп русской эмиграции, представители других национальностей России блистают своим отсутствием. Они строят свои собственные организации, даже не пытаясь установить какие-либо связи с русскими товарищами по борьбе или собратями по судьбе. Более того, ни с чьей стороны мы не встречаем такой ненависти, как со стороны украинцев, которых мы то считали — ошибочно — совсем своими. Как далеки мы от времен старой эмиграции, когда, в чаянии грядущей революции, вожди всех народов России объединялись в борьбе «за нашу и вашу свободу»!

Не трудно предвидеть, что, в случае военного поражения России, произойдет не только падение советского режима, но и восстание ее народов против Москвы. Даже те экономические и политические мотивы, которые могли бы говорить в пользу их связи с Великороссией, превращаются в свою противоположность в условиях поражения. Быть с Россией значит разделить ее ответственность, ее тяжкую судьбу. С другой стороны, перед победителем встанет вопрос, подобный тому, который стоит после поражения Германии. Как обеспечить мир и в будущем от висящей над ним угрозы русской агрессии? Большевизм

умрет, как умер национал-социализм. Но кто знает, какие новые формы примет русский фашизм или национализм для новой русской экспансии? Если бы не было никаких сепаратизмов в России, их создали бы искусственно; раздел России, все равно, был бы предрешен. Фактическое положение сделает возможным произвести его в согласии с волей большинства ее народов, в условиях демократической справедливости. На плечи победителей, ко всем их мировым проблемам, ляжет добавочная тяжесть: организация хаоса на территории Восточной Европы. Мировая Империя — не легкое предприятие. Но военная оккупация облегчит первые шаги.

Перспективы войны и поражения России способны потрясти не одних националистов, но всякого русского, не совсем потерявшего связь со своим народом и его культурой. Теоретически, есть еще шанс — кажется, единственный шанс — предотвращения новой войны: это падение большевистской власти в России. От скольких ужасов оно избавило бы мир! Не будем говорить сейчас, возможно ли оно, — нам представляется, что шансы его ничтожны. Но в судьбе России, как обреченной империи, этот вариант ничего не меняет. Снятие страшной тяжести, висевшей над народами России тридцать лет, означает взрыв всех подспудных, революционных и центробежных сил. Пока русский народ будет сводить счеты со своими палачами, в общем неизбежном хаосе большинство национальностей, как в 1917 году, потребуют реализации своего конституционного права на отделение. Вероятно, произойдет гражданская война, приблизительно равных половин бывшей России. Если даже победит Великобритания и силой удержит при себе народы Империи, ее торжество может быть только временным. В современном мире нет места Австро-Венгриям. Если миром будет править единая власть — единственный шанс его спасения — она будет обязана прекратить всякое насилие одних народов над другими. Ликвидация последней частной Империи станет вопросом международного права и справедливости.

Для самой России насильственное продолжение имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу. Не может государство, существующее террором на половине своей территории, обеспечить свободу для другой. Как при московских царях самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, так фашизм является единственным строем, способным продлить существование каторжной Империи. Конечно, ценой дальнейшего удушения ее культуры.

\*  
\*\*

Finis Russia? Конец России или новая страница ее истории? Разумеется, последнее. Россия не умрет, пока жив русский народ, пока он живет на своей земле, говорит своим языком. Великороссия, да еще с придачей Белоруссии (вероятно) и Сибири (еще надолго) все еще представляет огромное тело, с огромным населением, все еще самый крупный из европейских народов. Россия потеряет донецкий уголь, бакинскую нефть — но Франция, Германия и столько народов никогда нефти не имели. Она обеднеет, но только потенциально, потому что та нищета, в которой она живет при коммунистической системе, уйдет в прошлое. Ее военный потенциал сократится, но он потеряет свой смысл при общем разоружении. Если же разоружения не произойдет, то погибнет не одна Россия, а все культурное человечество. Даже чувство сожаления от утраты былого могущества будет смягчено тем, что никто из бывших соперников в старой Европе не займет ее места. Все старые империи исчезнут.

В конце концов имперское сознание питалось не столько интересами государства — тем менее народа — сколько похотью власти: пафосом неравенства, радостью унижения, насилия над слабыми. Этот языческий комплекс для России девятнадцатого века означал кричащее противоречие между политикой государства и заветами ее духовных вождей. Русская литература была совестью мира, а государство пугалом для свободы народов. Потеря империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик.

Освобожденная от военных и полицейских забот, Россия может вернуться к своим внутренним проблемам — к построению выстраданной страшными муками свободной социальной демократии. Тридцатилетие коммунизма и потом коммуно-Русский человек огрубел, очерствел, — говоря словами народного стиха, покрылся «еловой корой». Вероятно, не одно поколение понадобится для его перевоспитания, т. е. для его возвращения в заглохшую традицию русской культуры, а через нее и русского христианства. К этой великой задаче должна уже сейчас, в изгнании, готовиться русская интеллигенция, вместо погони за призрачными орлами империи.

**Г. Федотов.**

# АМЕРИКА, РОССИЯ И ЕВРОПА

(О доктрине Трумана и о плане Маршалла)

## I

Если придерживаться точного значения слов, то политическое выступление американского президента, уже вошедшее в историю под именем «доктрины Трумана», едва ли можно признать заслуживающим это название. С понятием доктрины в нашем представлении связывается нечто теоретически обоснованное и тщательно разработанное. Ни того, ни другого признака в послании американского президента найти нельзя. И если с первых же дней, неизвестно по чьему почину, ему было присвоено название «доктрины Трумана», то едва ли можно сомневаться, что произошло это по ассоциации идей: вспомнилась другая, знаменитая «доктрина», имеющая за собой уже почтенную историческую давность — доктрина Монро.

Аналогия эта, конечно, не случайна, и сопоставление двух доктрин, отделенных одна от другой хронологическим промежутком в 124 года, может дать материал для поучительных заключений. В момент своего провозглашения и доктрина Монро, строго говоря, не была «доктриной». Это была скорее дипломатическая импровизация, обязанная своим возникновением политической злобе дня и возникшая до известной степени даже случайно. В виду опасности интервенции «Священного Союза» в южно-американские дела (опасности, реальность которой, повидимому, была сильно преувеличена), американское правительство вступило в переговоры с Англией, этой интервенции не сочувствовавшей. В переговорах этих речь шла о совместном дипломатическом выступлении и английский министр иностранных дел Канинг играл в них даже более инициативную роль, чем американские дипломаты. Но в последнюю минуту американское правительство предпочло самостоятельное, одностороннее выступление и дало ему настолько широкую формулировку, что оно оказалось обращенным в числе прочих европейских государств и против самой Англии. Так родилась доктрина Монро.

При соотношении международных сил в тогдашнем мире, выступление президента Монро было в сущности лишь великолепным дипломатическим жестом, «актом веры», скорее чем трезвым политическим расчетом. У молодой американской республики тех лет, только что вышедшей из политического периода своего роста и самоутверждения, не было тогда в руках реальной силы, нужной для того, чтобы защитить не только себя, но и весь американский континент, против враждебной европейской коалиции\*). Вот почему большинством европейских правительств доктрина Монро была сначала воспринята, как дипломатическая бравада, как необоснованная претензия на нечто в роде гегемонии в Новом Свете со стороны государства, не имевшего для того реальных возможностей\*). И если, вопреки этому первоначальному и скоро исчезнувшему скептицизму, доктрина Монро превратилась из простой декларации принципов в историческую реальность, то произошло это потому, что в основе ее лежали верная историческая интуиция и безошибочное чувство открывавшихся перед Америкой огромных возможностей.

Элемент такой же интуиции есть и в доктрине Трумана. Сегодняшняя Америка, конечно, не чета Америке Монро. До того возросли не только ее возможности, но и фактические ее ресурсы. Но безмерно возросла и сложность стоящих перед ней задач, и далеко за пределы Нового Света раздвинулась сфера ее международно-политических интересов. Главное значение доктрины Трумана и заключается в том, что она выражает растущее сознание новой, уже мировой роли, выпавшей на долю Америки, и сознания ответственности, с этой ролью связанной. Тогда, 124 года тому назад, Америка, находившаяся еще в начале своего исторического пути, стремилась обеспечить свою безопасность путем **и з о л я ц и** Нового Света от

---

\*) Уолтер Липман любит указывать на то, что фактическую силу доктрине Монро давало морское господство Англии на Атлантическом Океане. Но сколько-нибудь прочное и постоянное англо-американское сотрудничество в международных делах принадлежит к более позднему времени, и в начале 1820-х годов американцы никак не могли твердо на него рассчитывать.

\*) В этом пункте тогдашние критики доктрины Монро как бы перекликаются с тем же Липманом, обвинявшим президента Трумана на мой взгляд с неизмеримо меньшей долей обоснованности, — в том, что он связал Америку обязательством, которого она выполнить не в состоянии.

насильственного вторжения со стороны Старого Света. Теперь, в эпоху «единого мира» — единого пока только в смысле возросшей взаимозависимости всех его частей, она вынуждена для обеспечения своей безопасности стать на путь интервенции в делах Старого Света\*). После провозглашения доктрины Монро Каннинг ставил себе в заслугу, что он «вызвал к бытию Новый Свет для восстановления равновесия в Старом Свете». Перефразируя это изречение, можно сказать, что Америка стремится теперь возродить Старый Свет для восстановления общего мирового равновесия.

Знаменательно, что в обоих случаях постановка вопроса об американской безопасности заключает в себе то, что можно назвать идеологическим моментом. Идея национальной независимости и свободы входит составной частью и в доктрину Монро и в доктрину Трумана. Тогда Соединенные Штаты выступили на защиту борющихся за свою независимость от Испании южно-американских республик против возможных попыток насильственно подчинить их чуждой им «политической системе» (видя в этой защите, конечно, и защиту собственных своих интересов). Теперь этот же принцип распространен на европейские страны — в первую очередь, в тех «невралгических пунктах», где, по ощущению Америки, и ее жизненные интересы могут оказаться под ударом. Уже одно это сопоставление обнаруживает поверхность того взгляда, по которому этот элемент американской политики есть только «пустая фразеология», простая вывеска, прикрывающая голые, реально-политические интересы или корыстные замыслы. В доктрине Монро, как и во многих других исторических примерах, «идеология» была неразрывно связана с «интересами», и в конечном счете общий смысл политики определился не той или иной дозировкой этих двух факторов, а объективными ее результатами. В своем историческом развитии доктрина Монро проходила через многие и различные фазы, и были периоды, когда она служила орудием американской экспансии, экономической и политической, но в конце концов национальная независимость стран Латинской Америки была обеспечена, и они не превратились ни в колонии Соединенных Штатов, ни в их сателлитов. Так на историческом опыте была проверена реаль-

---

\*) Считаю нужным оговорить, что я употребляю здесь слова «изоляция» и «интервенция» не в их техническом, так сказать, смысле; а для обозначения общих тенденций американской международной политики.

ность демократической идеологии и демократических методов международной политики.

Существенно и то, что в момент своего возникновения доктрина Монро была продиктована Америке мыслью об обороне от возможной внешней опасности, а не какими-либо агрессивными замыслами. Такой же оборонительный характер носит и доктрина Трумана. Только при том смешении всех понятий и извращении смысла всех слов, которое так распространено в наше время, оказались возможны попытки обвинить в агрессивности политический курс, намеченный президентом Труманом. Еще до выступления Трумана, с легкой руки некоторых американских журналистов, начались толки о решении вашингтонского правительства усвоить «жесткую» политику в отношении России (“get though with Russia”). После опубликования доктрины Трумана в так называемых «левых» кругах толки эти превратились в громкие вопли негодования. Можно было подумать, что американский президент выступил с заявлением, небывалым по резкости тона и провокационным по существу. Заговорили об объявлении «крестового похода» против коммунизма, хотя о таком походе в послании президента не было ни слова. Критики Трумана при этом совершенно игнорировали весь ход международных событий за последние два года, тогда как только в контексте этих событий и можно было понять мотивы и смысл президентского заявления. Получалось такое впечатление, как будто без всяких оснований, в результате какого-то непонятного политического ослепления, американское правительство бросало вызов ни в чем неповинному и проникнутому самыми миролюбивыми и дружескими чувствами Кремлю. Неужели нужно напоминать всю цепь международных событий за последние два года, все последовательные этапы почти неуклонного дипломатического (и не только дипломатического) наступления Москвы, в общем шедшей от одной победы к другой, ставившей своих «партнеров» перед одним совершившимся фактом за другим и не обнаруживавшей серьезных признаков ослабления своего «динамизма»? И нужно ли напоминать, что те же два года были для Америки годами почти непрерывного дипломатического отступления, что Америка делала Советской России одну уступку за другой, не получая в обмен эквивалента, и что во всех переговорах с представителями Кремля американские дипломаты проявляли максимальное желание сговориться, дойдя до последних пределов терпения и уступчивости? И вот, когда эти последние пределы были достигнуты и когда дальше идти уже было некуда, глава Соединенных Штатов — в сущности, слишком

поздно, и, может быть, даже не достаточно определенно указал, что дальнейшей агрессии Америка допустить не может и готова прийти на помощь тем, кто окажется под ее угрозой. Есть основание думать, что выбор Греции и Турции, как первых объектов этой помощи, был продиктован конкретными сведениями о готовившемся прошлой весной на Ближнем Востоке новом «совершившемся факте».

«Левые» критики доктрины Трумана, начиная с Генри Уоллеса, усиленно выдвигали идею о том, что новый курс американской политики, якобы принятый под давлением «реакционных» кругов, является изменой заветам Рузвельта. «Назад к политике Рузвельта!» — таков был основной мотив их пропаганды. Так как этот лозунг конкретизирован ими не был, то позволительно поставить вопрос, какая именно политика Рузвельта имеется в виду. Если это политика речи о «четыре-х свободах во всем мире», Атлантической Хартии, неоднократных заявлений об освободительных целях войны или даже Ялтинской декларации, то доктрина Трумана не только ей не противоречит, но, напротив, основана на прямых из нее выводах. Если же это политика соглашения с Советской Россией любой ценой, то какое право имеют эти блюстители рузвельтовских заветов приписывать ему такую политику? Прежде всего, что бы ни происходило за кулисами союзных конференций военного времени, какие бы негласные соглашения там ни заключались, страна об этих соглашениях не знает, и связывать ее они не могут — ни с конституционной точки зрения, ни морально. Страна знает только одну рузвельтовскую политику — ту, что заключается в официальных заявлениях Президента Соединенных Штатов (включая в том числе и его интерпретацию Ялтинского соглашения). Плохую услугу памяти покойного президента оказывают те его почитатели (в том числе и один из собственных его сыновей), которые приписывают ему намерения и поступки, в корне расходящиеся с им самим провозглашенной политикой. Более того. Если даже, под давлением военной необходимости (правильно или неправильно понятой — другой вопрос), Рузвельт и пошел на компромиссы, то сделал он это, конечно, только в обмен на какие-то обещания с другой стороны, в исполнение которых он имел неосторожность поверить. Об этой стороне дела мы до сих пор в точности мало что знаем; в нашем распоряжении только слухи или частного характера сообщения отдельных лиц. В недавней статье бывшего американского посла в Польше Лэйна\*)

---

\*) "How Russia Rules Poland", *Life*, 14-VII-1947.

передается разговор, который автор имел с президентом Рузвельтом перед своим отъездом в Варшаву. На указание Лэйна о необходимости настаивать перед советским правительством на сохранении польской независимости Рузвельт будто бы ответил, что «он питает полное доверие к слову Сталина и уверен, что тот его не нарушит». Это, конечно, не свидетельствует об особой проницательности со стороны покойного президента и ставит под вопрос его дипломатическое искусство. Но и это не дает права утверждать, что Рузвельт продолжал бы свою «крупную игру» (“the great gamble”) — так определяют эту сторону военной политики Рузвельта некоторые американские писатели, — после того, как ставка на сталинское «честное слово» оказалось битой, все обещания были нарушены, а ялтинские решения превратились, по диалектике, в собственную свою противоположность. В свете этого опыта настаивать на возвращении к политике Рузвельта значит настаивать на возвращении к его уже обнаружившимся ошибкам.

Самое поразительное, однако, что проявилось в полемике против доктрины Трумана, это отсутствие у многих из ее критиков всякого чувства реальности и, в частности, полное, иногда анекдотическое непонимание сути современного тоталитарного государства и своеобразных методов тоталитарной политики. Обсуждение велось так, как если бы мир жил в условиях идиллической джефферсоновской демократии и как если бы не было ни коммунистического, ни фашистского опыта. Проповедывалось своего рода непротivление злу силой в международном масштабе. Первородный грех доктрины Трумана усматривали в том, что она, “horribile dictu”, рекомендовала борьбу с коммунистической агрессией — силой. Этому противопоставлялась свободная конкуренция идей, в которой демократия должна была одержать верх в силу внутренних своих совершенств, а коммунизм — отступить в результате идейного своего поражения. Повторяли старые истины, в которые и многие из нас когда-то безоговорочно верили, что «идеи не улавливаются на штыки» или что «ни одно правительство на штыках усидеть не может». Но то, что было простительно в доброе старое время, стало непростительным после пережитого нами трагического опыта. Теперь мы знаем, из практики тоталитарных государств, что если идеи на штыки и не улавливаются, то систематическим истреблением творцов и носителей идей действительную силу последних можно свести почти к нулю. Знаем и то, что в условиях современной техники деспотические правительства могут сидеть на штыках, и даже не без некоторого для себя удобства, неопределенно долгое время, и что для этого нужно

обладать только надлежащей степенью толстокожести. Весь этот опыт для проповедников чисто идейной борьбы с коммунизмом как будто не существует. В этом отношении пальму первенства, пожалуй, придется присудить бывшему американскому послу в Лондоне Кеннеди, который, критикуя доктрину Трумана, выражал недоумение, почему нельзя предоставить греков собственной их судьбе: пусть они испытают, что такое коммунизм и в нем разочаруются!

В более конкретной плоскости, то же отсутствие чувства реальности сказалось и в выдвигании на первый план вопроса о «реакционном характере» теперешнего греческого правительства, и в упреках по адресу президента Трумана в том, что он обошел и тем самым ослабил Организацию Объединенных Наций. Каковы бы ни были недостатки и грехи греческого правительства, как можно ставить этот фактор на одну доску с опасностью поглощения Греции тоталитарным коммунизмом? И не только с точки зрения международных последствий, но и с точки зрения дальнейшего внутреннего развития самой Греции? Почти комическое впечатление производит, например, страх перед греческой монархией, теперешний представитель которой, как известно, вынужден был провести значительную часть своей жизни в укладывании и распаковывании чемоданов. И разве не ясно, что для обеспеченной от коммунистического захвата Греции остаются возможности свободного демократического развития, тогда как подобный захват пресек бы эти возможности «всерьез и надолго»?

По видимости более серьезно, но по существу едва-ли много более обосновано возражение против доктрины Трумана, имеющее в виду урон, якобы нанесенный ею престижу Объединенных Наций. Я отнюдь не разделяю огульно-отрицательного отношения к этому учреждению. Я считаю, напротив, что оно уже выполняет полезную международную функцию и что в нем заложены ценные возможности, пренебрегать которыми было бы неразумно\*). Готов также согласиться, что тактически было бы лучше, если бы с самого начала американское правительство сделало ту оговорку, которая потом была внесена по инициативе сенатора Ванденберга и которая как бы приобщила Объединенные Нации к осуществлению трумановского плана. Но вместе с тем нельзя же закрывать глаза на то, что при теперешней своей конструкции и конституции Организация Объеди-

---

\*) Здесь один из пунктов моего расхождения со взглядами, высказанными в статье Г. П. Федотова, напечатанной в этой же книжке нашего журнала.

ненных Наций едва ли могла бы предотвратить «совершившийся факт» или потом его ликвидировать. Обычное указание в этой связи на советское «отступление» в Иране мало убедительно, поскольку совершенно неизвестно, в какой мере оно явилось результатом давления со стороны Объединенных Наций, и не было ли оно продиктовано скорее желанием избежать в данный момент серьезный конфликт с Америкой и Англией одновременно, или еще какими-либо, скрытыми от нас, мотивами внешнего или внутреннего характера.

И уж во всяком случае одна апелляция к Объединенным Нациям не могла бы сыграть той роли манифестации готовности Америки противодействовать дальнейшей агрессии — на первых порах в наиболее угрожаемых пунктах, в которой и заключалось главное непосредственное значение доктрины Трумана.

## II

Первоначальная реакция Европы на выступление Трумана явилась для американского общественного мнения несколько неожиданной: казалось, что Европа испугалась протянутой ей руки помощи. Критики трумановской политики не преминули сделать из этого скороспелые выводы: европейские народы, говорили некоторые из них, тянутся к Советской России и отталкиваются от американской «реакции». Мне это представляется искажением действительности. Я решительно не вижу наличия достаточных данных для утверждения, что европейские народы в большинстве своем ожидают спасения от коммунизма, предпочитают советский режим демократии и желают усиления советского влияния в Европе за счет американского. Как бы значителен ни был послевоенный рост коммунистических партий в отдельных европейских странах, огромное большинство населения везде (судя по всему, что мы знаем, даже и в странах, входящих в сферу советского влияния) остается антикоммунистическим. Приходится удивляться не тому, что паразитический по своей природе коммунизм добился ряда существенных успехов в условиях послевоенной разрухи и деморализации, а скорее тому, что он не одержал более решительных побед по более широкому фронту, и что в больном теле Европы оказалась налицо такая большая степень сопротивляемости коммунистической заразе.\*) Очень часто в обратных

---

\*) В одном месте своей статьи Г. П. Федотов как-будто склоняется к противоположному мнению. Я думаю, что Г. П. недооценивает возможности морального оздоровления Европы.

утверждениях, когда они продиктованы добросовестным заблуждением, сказывается влияние своего рода оптического обмана; люди не различают между достижениями партийного аппарата с его специфической тоталитарной техникой (захват «командных высот», прямой и фигуральный подкуп, запугивание) и отражениями подлинных народных чувств и стремлений.

Элемент этого оптического обмана был и в европейской реакции на доктрину Трумана — в том ее виде, в каком она дошла до Америки. Легко было забыть, что коммунистические и про-советские круги особые мастера по части фальсификации общественного мнения — в наши дни, увы, даже и в свободных странах. С другой стороны сдержанные и скептические заявления некоторых вождей европейской демократии носили явно тактический характер: знакомые голоса, когда-то внушавшие полное доверие и уважение, говорили необычные для них вещи, и за внутренней фальшью этих заявлений чувствовалось желание не обострять междупартийных отношений в стране, не создавать для себя лишних трудностей на сегодняшний день.

Но был в этой реакции и гораздо более существенный элемент — естественный, законный и вполне оправданный страх перед войной. Мысль о войне всегда ужасна. Мысль о войне сейчас, когда мир еще не оправился от самой разрушительной войны в истории человечества и когда новая война могла бы быть только еще более разрушительной, — тем более ужасна. Понятен страх европейских народов, знающих, что в случае столкновения двух не-европейских гигантов полем битвы между ними окажется в первую очередь Европа. И понятен страх перед перспективой всеобщего хаоса, который вероятно последовал бы за новой войной и который мог бы поглотить одинаково и победителей, и побежденных. На этом страхе и играет сейчас враждебная американской политике пропаганда, постоянно возвращающаяся к утверждению, что политика эта с неизбежностью ведет к войне. Вопрос при этом ставится так: либо полное соглашение с Советским Союзом — либо война. Нужно со всей решительностью отвергнуть эту ложную альтернативу. Полного соглашения не может быть до тех пор, пока Россия остается во власти сталинской диктатуры, и чем скорее будут рассеяны все связанные с этим вопросом иллюзии, — тем лучше. Но из этого никак не следует, что единственным выходом из положения является война. В мире реальностей есть много промежуточных ступеней между всеобщим братством и всеобщим взаимным истреблением. Даже и в наш «атомный век», при всей остроте современных международных

конфликтов, мыслим какой-то “*modus vivendi*”, какое-то если не полюбовное соглашение, то мирное разграничение, тот «худой мир», который, по русской пословице, лучше «доброй ссоры». Не нужно забывать о существовании факторов, способных ограничить советский «динамизм». И для русского народа, может быть даже более чем для какого-либо другого народа, — мысль о новой войне должна быть ужасна. И для советского режима в перспективе этой новой войны заключается огромная опасность. Целью Трумановского заявления и было напомнить агрессорам о том, что есть пределы, за которые они не могут переступить без риска привести к всеобщему взрыву. Быть может, самое слабое место во всей аргументации критиков Трумана заключается в непонимании того, что именно политика непрерывных уступок домогательствам Кремля была бы путем, ведущим к войне, и что, напротив, твердое отстаивание Америкой своих международных позиций только и может увеличить шансы на победу в идущей сейчас борьбе за мир.

Было бы весьма рискованным утверждать, что провозглашение доктрины Трумана не дало никаких положительных результатов. В какой-то, пока еще трудно учитываемой, мере оно уже несомненно содействовало ослаблению того гипноза советской «гегемонии» в Европе и силы коммунизма в европейских странах, который лежал таким тяжелым бременем на послевоенной Европе и так парализовал ее волю к возрождению. Французский и итальянский опыты управления страной без коммунистов получили значительное подкрепление и, даже не предаваясь преждевременному оптимизму, можно видеть в новом более независимом отношении демократических партий к их вчерашним «партнерам» обещание дальнейшего их освобождения от иллюзии единого фронта с главными врагами демократии и свободы. С большой долей вероятности можно утверждать также, что американское выступление предупредило новые коммунистические успехи на Ближнем Востоке, последствия которых были бы трудно исправимы и могли бы оказаться роковыми. Даже и в странах, уже вошедших в орбиту прямого советского влияния, выступление Трумана должно было оживить надежду на освобождение, хотя бы в пока еще отдаленном будущем, а без этого освобождения не может быть полного и прочного возрождения и замирения Европы.

Но в одном отношении доктрина Трумана требовала дальнейшего развития и дополнения. Ее упор на непосредственные задачи противодействия агрессии давал повод для обвинений этой политики в чисто отрицательном характере. На этом и были построены все рассуждения о тщетности попыток бороть-

ся с коммунизмом силой и о необходимости, вместо того, сосредоточиться на создании таких условий политической и экономической жизни, которые сделали бы рост коммунизма невозможным. По существу эта критика была мало убедительной, поскольку она противопоставляла задачи отнюдь неисключающие одну другую. В действительности это только две разные стороны одной и той же задачи. Конечно, нельзя победить коммунизм, ограничиваясь одной защитой тех позиций, которые он еще не успел захватить. И, конечно, борьбой с коммунистической агрессией не ограничивается проблема послевоенного переустройства. Но в такой же мере нельзя ограничиться и одной положительной работой по оздоровлению политической и экономической жизни, не принимая своевременных мер к тому, чтобы она не подрывалась новыми «совершившимися фактами». Избитая ссылка на необходимость, при лечении болезни, сосредоточиться на устранении породивших ее причин, явно несостоятельна: хорош был бы тот врач, который не боролся бы с ослабляющими организм симптомами болезни или не прибег бы к хирургическому вмешательству для устранения зловредной и грозящей распространением опухоли!

Можно быть уверенным, что взаимозависимость этих двух задач была достаточно ясна для руководителей американской политики и в момент опубликования послания президента Трумана. Но с точки зрения политической стратегии и тактики план Маршалла был шагом вперед по сравнению с трумановским выступлением. Выдвигая программу экономического оздоровления Европы, Маршалл устранял возможность того одностороннего политического толкования, которое могло бы быть дано американской позиции. Подчеркивая самостоятельность европейских стран и их взаимное соглашение, как условия американской помощи, он делал еще менее убедительными обвинения Америки в агрессии. И, наконец, включая в этот план общеевропейского сотрудничества Советскую Россию и ее сателлитов, он заранее возлагал ответственность за срыв такого плана на тех, кто стал бы противиться его осуществлению.

Из этого не следует, конечно, что план Маршалла отменял или даже существенно изменял доктрину Трумана. На мой взгляд никого отступления от последней не произошло. Напротив, план Маршалла не имеет смысла вне доктрины Трумана — и обратно. Противопоставление экономики и политики в данном случае более спорно, чем когда-либо. Политика и «идеология» такие же подлинные исторические реальности, как и экономи-

ка, а в известные моменты они являются даже более действенными и более определяющими реальностями, чем экономика. Самый план Маршалла предполагает известные политические условия и ведет к определенным политическим последствиям. И с своей точки зрения большевики были совершенно правы, когда они не захотели на него согласиться. Надо отдать себе ясный отчет в том, что осуществление маршалловского плана в общеевропейском масштабе увеличило бы шансы на восстановление Европы, как самостоятельного — не только экономического, но и политического целого, и привело бы если не к немедленному, то к постепенному высвобождению Восточной Европы из под исключительного и всепоглощающего советского влияния. В этом заинтересована Америка, и это пошло бы на пользу Европе и делу обеспечения всеобщего мира. Но это означало бы для советского режима отступление по всему европейскому фронту, и для того, чтобы примириться с такой перспективой, не заключающей в себе никакой угрозы для национальных интересов России, но угрожающей господству коммунистической диктатуры, последней надо было бы отказаться от самого своего существования.

Вот почему в отказе советского правительства принять участие в осуществлении плана Маршалла не было ничего неожиданного. Не знаю, можно ли даже видеть в нем законный повод для разочарования. Если не ждать чуда, то рассчитывать на добросовестное сотрудничество Кремля в каком-либо международном начинании, требующем от него, как и от других участников, самоограничения и отказа от агрессивных замыслов — невозможно. При этом условии участие большевиков в европейских переговорах, посвященных предложению Маршалла, могло бы привести только к их полному срыву. При отсутствии «единого мира» или даже «единой Европы» в реальности, поддержание благочестивой фикции их существования может принести только вред. Советский бойкот, по крайней мере, сделал положение совершенно ясным.

Было бы в высшей мере преждевременным утверждать, что без участия России и вынужденных следовать за нею восточно-европейских государств весь маршалловский план обречен на неудачу. Если нельзя теперь же начать восстанавливать Европу как целое, то лучше, чтобы процесс восстановления начался хотя бы в западной ее части. И нет оснований считать, что эта, более ограниченная задача, при всей ее трудности, неосуществима. А успех этой программы экономического восстановления в западной половине Европы рано или поздно окажет

могущественное и положительное влияние и на восточную ее половину.

В наше время нелегко быть оптимистом, да и опасно было бы обманывать самих себя, закрывая глаза на реально существующие трудности. Признаем, что в начинающемся соревновании между планом Маршалла и тем, что теперь называют «планом Молотова» и что является, попросту говоря, более откровенным закреплением советского господства в Восточной Европе, первоначальные преимущества лежат на стороне Молотова. План Маршалла предполагает прежде всего добровольное соглашение на общей программе ряда европейских государств, сохранивших свою политическую независимость и договаривающихся друг с другом как равные. В этих условиях неизбежно столкновение различных национальных интересов и точек зрения (напомню хотя бы о разногласиях по вопросу о судьбах германской промышленности) и примирение их потребует долгого обсуждения и существенных взаимных уступок. «План Молотова» может быть продиктован зависящим от Советской России странам методами прямого и быстро действующего политического давления. При выполнении плана Маршалла западно-европейским правительствам придется считаться не только с лойяльной оппозицией, но и с саботажем советской «пятой колонны», выступающей в обличь местных коммунистических партий. «Плану Молотова» эти трудности не угрожают: в зоне советского влияния демократических «пятых колонн» не имеется, а возможности легальной оппозиции сведены там до минимума или начисто уничтожены.

И, наконец, самое главное. В порядке проведения «плана Молотова» советская диктатура может не считаться ни с мнениями, ни с желаниями, ни с нуждами подвластного ей народа; может, если это понадобится для ее политических целей, возложить на этот народ новые жертвы; может, если найдет это нужным, вывозить хлеб за границу, несмотря на растущий внутри страны голод. Американское правительство такой свободой действий не располагает. Ему придется убедить Конгресс и весь американский народ в необходимости проведения плана Маршалла с точки зрения интересов самой Америки. Перед ним стоит задача организации своего рода «образовательной кампании», так как ясного представления о размерах той помощи, которую Америка должна будет оказать Европе, и тех жертв, которые при этом должны будут понести американские потребители, у среднего американца пока еще нет. Бояться нужно не того, что Америка будет проявлять агрессивность, а того, что она окажется на первых порах недостаточно дей-

ственной, что лишь постепенно, преодолевая традиционные навыки мысли, придет она к ясному и твердому сознанию своей исключительной роли в международных отношениях и своей первостепенной ответственности за судьбы всеобщего мира. И поскольку настороженность Европы основана на неуверенности в том, что план Маршалла окажется планом Америки, это есть единственный из европейских страхов, имеющий за собой некоторое реальное основание, в отличие от таких призраков, как Америка, ведущая мир к новой войне, или Америка, экономически закабаляющая европейские страны и превращающая их в свои колонии.

Отдавать себе отчет во всех огромных трудностях маршалловского плана не значит признавать его успех безнадежным. В основном — все преимущества лежат на его стороне, а не на стороне молотовского «контр-наступления». Фактическая возможность для Америки оказать Европе могущественную экономическую поддержку несоизмерима с соответствующим «потенциалом» Советского Союза. Самые основы, на которых построен маршалловский план, находятся в соответствии с задачами европейского возрождения и упрочения международного мира, тогда как «молотовский план», по сути своей, этим задачам противоречит. И каковы бы ни были непосредственные преимущества диктатуры перед демократией — в момент, когда нужны быстрые и решительные действия, в конечном счете добровольное сотрудничество свободных народов способно заложить прочный фундамент там, где диктатура обречена строить на песке.

### III

Трагедия России заключается в том, что в один из самых решительных моментов своего исторического существования она находится во власти коммунистической диктатуры и что правительство Сталина представляет ее в международных отношениях. России нужен мир — мир внешний и внутренний, международный и гражданский. России нужна свобода — свобода культурного общения с внешним миром и свобода проявления творческих сил внутри страны. Ни мира, ни свободы, ни в том, ни в другом смысле, сталинская диктатура России дать не может. Тем самым она становится главным, более того — единственным подлинным препятствием на пути к осуществлению национальных русских задач и национальных русских интересов.

Вот почему мы не радовались «победам» сталинской ди-

пломатии в период ее наступления, видя в них не увеличение государственной мощи России, а распространение сферы сталинского владычества, не триумф русской славы, а торжество коммунистической системы насилия и бесправия, не обеспечение национальной безопасности России, а обеспечение политической безопасности диктатуры. Мы не видели, каким образом от этой экспансии выигрывала Россия, ни в какой экспансии не нуждающаяся, а мы видели, напротив, как от этой экспансии, шедшей по путям нарушения международных договоров и соглашений, презрения к чужой свободе и чужой независимости и попрания элементарных человеческих прав, страдало доброе имя России, нарастал страх перед Россией и рассеивались симпатии к России.

Вот почему мы приветствуем сейчас американскую политику противодействия советской агрессии и желаем торжества плана Маршалла над «планом Молотова». Мы не боимся упреков в том, что мы становимся на «американскую точку зрения». Мы знаем, что у нас она продиктована тревогой за судьбу нашей родины и страстным желанием увидеть русский народ освобожденным. Ни в одном из основных пунктов американской политики не видим мы никакой угрозы или даже ущерба для подлинных и насущных интересов России. Остановка дальнейшей советской экспансии? Но эта экспансия была бы опасна для России и могла бы только ослабить ее вместо того, чтобы усилить. Возрождение Европы как единого и самобытного целого? Но такая Европа не представляла бы никакой угрозы для России, служила бы делу международного мира и явилась бы гораздо лучшей гарантией национальной безопасности России чем насильственное русское господство над рядом фактически лишенных независимости стран. Вытеснение коммунистического влияния и соответственный рост влияния западных демократических стран? Но такое расширение границ свободы и приближение их к пределам России могло бы только ускорить час русского освобождения.

Да, мы знаем, что сложившееся сейчас положение таит в себе большие опасности для нашей родины. Мы с тревогой следим за тем, как в некоторых иностранных кругах оправданная вражда к советскому режиму переходит в неоправданную враждебность к России и русскому народу. Но бороться с этим, поскольку это в наших силах, можно только одним путем — путем постоянного и настойчивого разграничения между советским режимом и русским народом, между интересами и целями коммунистической диктатуры и нуждами и стремлениями подвластного ей населения, между Сталиным и Россией.

Безнадежны попытки пытаться выделять из внешней политики Сталина то, что «национально», и поддерживать эти ее элементы, одновременно борясь против ее «коммунистических» задач и тенденций. Безнадежны потому, что в реальности вся эта политика представляет собою неразрывное целое и «национальное» в ней непрерывно искажается «коммунистическим». Ни одного требования, ни одного шага советской дипломатии нельзя рассматривать вне контекста общей ее «политической системы» — не из какой-либо слепой предвзятости, а просто потому, что только в этом контексте можно уразуметь их подлинное значение.

До сих пор, несмотря на весь вред, уже принесенный политикой Сталина России, проблема эта не встала еще перед нами во всем своем трагическом объеме. Будем надеяться, что этого последнего испытания и России, и нам удастся избежать. Ни мне, ни кому-либо другому не дано знать, оправдаются ли пессимистические прогнозы Г. П. Федотова. Лично я склонен думать, что Г. П. не дооценивает ни возможности сохранения мира, ни возможности внутренних перемен в России, ни в частности возможности ее перерождения в подлинную свободную федерацию. Но я приветствую его попытку, с присущей ему умственной смелостью и остротой, поставить на обсуждение вопросы, в основном значении которых нельзя сомневаться. И я ценю в его подходе к этим вопросам то, что он не отделяет судьбы России от судьбы всего мира и что в своих оценках исторических событий он применяет мерку общечеловеческой правды. В конечном счете национальные интересы России подлежат тому же высшему суду, что и интересы всякого другого народа. И как бы мы ни расходились в наших частных выводах, в этом, хочется думать, мы все сойдемся.

**М. Карпович.**

# ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ

## В АМЕРИКАНСКО-РУССКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

### I.

Два года тому назад, к концу войны, моральный и политический престиж России стоял на большой высоте. Впервые за четверть века коммунистической революции перед миром в этой войне предстал не абстрактный, таинственный лик России, полужакрый и полуйскаженный этой революцией, а подлинный и величавый лик русского народа, раскрывший в движении многомиллионных масс такую высоту героизма и подвига, что сердца всего мира были потрясены и побеждены.

Первоначальные русские поражения были превращены в победу, и в ореоле этого нового русского престижа состоялось свидание Рузвельта, Черчиля и Сталина в Крыму, в феврале 1945 года. Заключенное в Ялте соглашение, признанное Соединенными Штатами, Англией и Советским Союзом «священным обязательством», представляло собою, по существу, установление «конституции» мирного сосуществования между Россией, руководимой коммунистическим правительством, и остальным миром. Параллельно с этим соглашением намечалось также тесное экономическое сотрудничество с Россией, оказание ей в надлежащем масштабе финансовой и технической помощи в гигантской задаче послевоенной реконструкции.

Как известно, от благих пожеланий, выраженных в крымском соглашении, ничего не осталось. Насильническая советская политика в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Югославии, нарушившая во всех отношениях и букву и дух этого соглашения, и обструкционная тактика советского представительства в Объединенных Нациях целиком разбили те возможности экономического сотрудничества с Россией, которые намечались к концу войны, и вызвали создание, в качестве контр-меры, так называемой «доктрины Трумана» и дополняющей ее «доктрины Маршалла».

Для оправдания политики послевоенной агрессии в Мос-

кве был восстановлен старый коммунистический графарет. В кремлевской политике вновь оказались только две краски, и послевоенный мир, — «рассудку вопреки, наперекор стихии», — опять был разделен только на две части: мир социалистический — Советский Союз, и мир капиталистический — все, без исключения, остальные страны. В статье, посвященной англо-американским отношениям, советский экономист Е. Варга, говоря о займе, данном Соединенными Штатами рабочему правительству Англии, заявляет, что «именно переговоры об этом займе показали наличие глубоких экономических противоречий между этими двумя капиталистическими странами»\*)

По советскому графарету, сейчас существуют только два мира: казарменный социализм, по кремлевскому рецепту, и капитализм. На самом деле, как одно из самых важных исторических последствий этой войны, перед нашими глазами возник новый, третий мир, — мир подлинного, демократического социализма. На этот новый путь, в ряде решительных экономических преобразований, встала Англия; по этому пути идут теперь почти все страны Западной Европы. И к этому новому явлению история прибавила еще один новый, поразительный факт: Соединенные Штаты, единственная политически и экономически могущественная капиталистическая страна в современном мире, определенно встала на путь финансовой и технической поддержки этого нового социалистического строительства.

Социалистическое преобразование Англии полностью определилось после прихода к власти правительства Рабочей Партии. Вслед за национализацией Английского Банка ныне следуют, одна за другой, национализации ее главнейших индустрий. Несмотря на это, Соединенные Штаты дали Англии заем в 4.4 миллиардов долларов (из них 650 миллионов было засчитано на ликвидацию 15-миллиардного займа по ленд-лизу), определив процентную ставку по этому займу в 2%\*\*) и растянув уплату по займу на 55 лет.

Глава французской социалистической партии, Леон Блюм, прибывший в Вашингтон в мае 1946 года по поручению французского правительства, в котором в то время коммунисты занимали ответственные места, получил от Соединенных Штатов

---

\*) Е. Варга: «Англо-американские экономические отношения»; «Большевик», Февраль, 1946 г. Курсив мой. А. З.

\*\*) Фактически, так как уплата процентов по этому займу начинается только через пять лет по его заключению, в 1951-м году, процентная ставка по этому займу равняется только 1.62%.

заем в размере 1.370 миллиардов долларов, сроком на 30 лет, начиная с 1-го июля 1951 года, и с процентной ставкой тоже в 2%. В тот момент, когда пишутся эти строки, американские послевоенные займы Франции достигли суммы около двух миллиардов долларов.

В таких чертах, даже до провозглашения доктрины Маршала, наметилась послевоенная экономическая политика Соединенных Штатов. Условия, на которых вышеупомянутые займы были даны социалистическим правительствам Англии и Франции, ни в чем не ограничивают их политической самостоятельности и не ставят никаких преград их экономическим преобразованиям. Факт такого тесного и активного сотрудничества между капиталистическим и социалистическим мирами, при котором ресурсы могущественной капиталистической страны спасают от распада экономику социалистических стран и закладывают фундамент для их дальнейшего экономического прогресса, — факт этот исторически нов и очень знаменателен. Не менее знаменательна была готовность правительства Соединенных Штатов и влиятельных американских деловых кругов встать на путь действительного экономического сотрудничества даже с коммунистическим правительством России, при условии выполнения московскими правителями обязательств крымского соглашения.

## 2.

В этом отношении очень интересна была миссия Эрика Джонстона в Москву в июле 1944 года. Миссии этой советская печать уделила большое внимание. Эрик Джонстон, видный и прогрессивный американский промышленник, занимал в то время пост председателя Торговой Палаты Соединенных Штатов, организации, объединяющей около 1.800 местных торговых палат и ассоциаций и свыше миллиона американских промышленников и коммерсантов. Из всего того, что, в связи с этой миссией, было опубликовано, наибольший интерес представляют речь Джонстона в Москве 3-го июля 1944 года, произнесенная им на завтраке, устроенном в его честь Народным Комиссаром по Внешней Торговле, А. Микояном, почти полное воспроизведение которой появилось в «Известиях», и подробный отчет о беседе Джонстона со Сталиным, который был напечатан в «The Reader's Digest».

Как велик был масштаб сотрудничества, которое намечалось в этих московских переговорах, видно из слов, сказанных Микояном Джонстону, что Советский Союз после войны будет

готов сделать заказы в Америке «на много миллиардов долларов».\* По возвращении в Америку Джонстон заявил, что «Россия готова заказать в Америке снабжение для копей и заводов и железнодорожное и гидроэлектрическое снабжение в количестве, поражающем воображение».\*\*)

По психологии своей американцы заинтересованы во всяком строительстве большого масштаба. Даже в тот период, когда между Америкой и Россией не было дипломатических отношений, американские промышленники и инженеры играли значительную роль в развитии новой русской экономики. В интересной брошюре, посвященной этому вопросу, изданной Русским Экономическим Институтом в Нью-Йорке, приведены многие имена выдающихся американских инженеров, помогавших советскому строительству. «Хотя наш список не полон», пишет автор этой брошюры, «он дает представление о 1,500 американцах, которые своими знаниями и талантом помогли советской индустрии в период первого пятилетнего плана, с 1928 по 1932 год».\*\*\*)

Просторы для американского размаха в послевоенной экономической реконструкции России открывались большие. Говоря о намечавшемся интенсивном товарообмене между Соединенными Штатами и Россией, Джонстон в полушутливой форме высказал практически важную и для американского делового мира очень характерную мысль. «Мне нравится ваш марганец», сказал он. «Ваш марганец имеет одну замечательную черту. Он не знает того, что он является социалистическим. Он с такой же готовностью пойдет в печь в Питтсбурге, как и в Сталинграде. Точно также вам нравятся наши станки. Они не знают, что они являются капиталистическими. Они с такой же готовностью будут резать металл в Харькове, как и в Детройте. Не правда ли, господа, что это к счастью, что эти нисшие формы неодушевленной материи не имеют идеологии? По этой причине они могут служить в качестве посредников между нами, людьми». К этому он прибавил:

«Кроме марганца, у вас есть лес, хромит, мех, щетина и

---

\*) "The New York Times", 20-го июня 1944 г.

\*\*\*) Сообщение Associated Press из Вашингтона, датированное 14-м июля 1944 года.

\*\*\*) "American Engineers in the Soviet Union", by Andrew J. Steiger, pp. 3-4, published by the Russian Economic Institute in New York. Интересна также глава: "Americans Who Pioneered With the Soviets", в книге: "We Can Do Business With Russia" by Hans Heymann.

платина. Кроме станков, у нас есть электротехническое, железнодорожное и химическое оборудование. Я хотел бы, чтобы между нами происходил живой обмен этими товарами.\*)

В том же тоне велась трехчасовая беседа Джонстона со Сталиным. На вопрос Джонстона, какое количество американского промышленного оборудования понадобится России после войны, Сталин ответил: «Любое количество. Зависит от того, на сколько времени вы нам откроете кредиты».

На вопрос Джонстона: «А что вы можете предложить нам в обмен?», Сталин сказал: «Всякого рода сырые материалы. Мы можем дать марганец, хромит, платину, медь, нефть, тонгстен, лес, меха. Может быть, вы хотите золота? Мы можем значительно увеличить добычу золота после войны». При этом он прибавил: «Мы готовы скоординировать наше производство сырых товаров с тем, что Америке в этом отношении нужно. При наличии соответствующего оборудования, мы можем производить эти материалы в любом количестве. Именно поэтому мы заинтересованы в длительных кредитах.\*\*)

Джонстон вернулся в Америку с рекомендацией оказания России крупных длительных кредитов. В предварительных переговорах по этому вопросу намечалась цифра в 6 миллиардов долларов, приблизительно равная общей сумме послевоенных займов, предоставленных Соединенными Штатами правительствам Англии и Франции. При условии соблюдения Советским правительством выработанной в Крыму «конституции» мирного сосуществования между Советским Союзом и остальным миром, Соединенные Штаты готовы были экономически сотрудничать с коммунистическим правительством России, точно также как они сотрудничают теперь со странами, вступившими на путь демократического социализма. Часть займа, которая могла бы быть предоставлена России быстро, без процедуры одобрения Конгрессом, была бы дана Экспорт-Импортным Банком Вашингтона. В июле 1945 года, в связи с послевоенными задачами, Конгресс одобрил увеличение капитала этого Банка с 700 миллионов до 3,5 миллиардов долларов. В советской печати мы находим подтверждение интересного факта, что на заседаниях банковских комитетов обеих палат Конгресса администратор по

\*) Все вышеприведенные цитаты из речи Джонстона взяты из статьи: «К пребыванию председателя Торговой Палаты С. Ш. А., г-на Эрика Джонстона, в Москве»; «Известия», 6-го июня 1944 года.

\*\*) Eric A. Johnston: "My Talk With Joseph Stalin"; "The Reader's Digest", October, 1944.

делам внешней экономики, Кроули, заявил: «Союзу ССР может быть предоставлен заем через Экспорт-Импортный Банк от 750 миллионов до 1-го миллиарда долларов».\*) Из почти двухмиллиардного займа Франции 1,2 миллиарда долларов было получено через Экспорт-Импортный Банк.

### 3.

Теперь, когда вследствие насильнической и обструкционной политики советского правительства, все старые планы рухнули, анализируя возможности американско-русских экономических отношений в будущем, необходимо представить себе, что во главе России стоит не коммунистическое правительство, правительство жестокой диктатуры Политбюро, а свободно русским народом избранное демократическое правительство. Приход к власти такого правительства неизбежен и, быть может, недалек, так как насущные и неотложные интересы не только России, но и всего мира, властно требуют теперь политического раскрепощения русского народа. Послевоенная советская политика, продиктованная не капризами Политбюро, а самым существом тоталитарной власти, которую московский Кремль представляет, точно и окончательно установила тот факт, что, в то время, как прогрессивный капитализм и демократический социализм вполне совместимы, демократическая цивилизация и коммунизм не могут мирно сосуществовать в современном, по пространству и взаимности интересов быстро сокращающемся мире. Мир демократический, — мир прогрессивного капитализма и демократического социализма, — и мир коммунизма говорят на разных языках, и все соглашения между ними, даже если и будет новый опыт таких соглашений окажутся призрачными и будут краткосрочны.

Поэтому, не в качестве фантазии, а в порядке приближительного предвидения неизбежных событий завтрашнего дня, можно представить себе, что русский народ освобожден, наконец, от коммунистического ига и, располагая элементарными политическими правами, избирает себе новое, демократическое правительство. Трудно предвидеть, какие новые внутренние потрясения принесет с собой этот грядущий, исторически неизбежный переворот, но можно представить себе, я думаю, облик и характер этого нового правительства, после стабилизации отношений внутри России. Характер его определится,

---

\*) Ф. Иванов: «Экспортно-импортный банк С. Ш. А.»; «Внешняя Торговля», № 10, 1945 год.

прежде всего, двумя отрицательными условиями: новое русское правительство, по чисто объективным основаниям, не может быть ни коммунистическим, ни капиталистическим.

Экономика России, установленная за последние три десятилетия, социалистична. Все средства производства, распределения и транспорта, и все природные богатства страны, принадлежат государству. Образование капиталистической системы, «первоначальное накопление капитала» в частных руках, представляет собою длительный исторический процесс. Никакое новое русское правительство, если бы даже оно этого пожелало, не могло бы ввести капитализм в России силой указа. Существующая ныне в России экономическая система, система плановой экономики, во всех своих главных чертах, должна будет продолжить существование. Политическое раскрепощение русского народа превратит Россию из страны казарменного в страну демократического социализма и тем включит ее в общую мировую тенденцию нашей эпохи.

Можно также, я думаю, со значительной долей вероятности, представить себе, каковы будут первые шаги этого нового русского правительства вне России, и каково будет отражение новой русской политики в мировых и, в частности, в американско-русских политических и экономических отношениях. Я разрешу себе наметить этот процесс и его вероятные последствия, надеясь, что, при неизбежных ошибках в частности, основное направление этого процесса будет подтверждено будущими событиями.

С приходом к власти свободно-избранного, демократического русского правительства, последует коренная перемена политики России в Объединенных Нациях. Неизбежно будет принятие плана Барука, наметившего базу для действенного международного контроля атомной энергии. Этот, первоначально американский план стал уже планом всей Атомной Комиссии и Совета Безопасности Объединенных Наций (состав обоих почти тождественен),\*) оставив в оппозиции только представительство Советского Союза и его подневольного подгоска, теперешней Польши. Покойный президент Вильсон часто называл Барука «д-ром Факт», так как этот маститый и просвещенный представитель лучших американских традиций, пользующийся большим национальным и интернациональным авторитетом, всегда был известен двойным мужеством: мужеством

---

\*) В Атомной Комиссии, помимо представительства тех 11-ти стран, которые участвуют в Совете Безопасности, представлена также Канада.

признания фактов, даже таких, которые новы и неприятны, и мужеством умения делать из фактов строго логический вывод, даже если и вывод тоже неприятен.

Поставленный лицом к лицу с наиболее революционным фактом нашего необычного времени, фактом освобождения атомной энергии, консервативный Барук, — консервативный в лучшем смысле этого слова, — сдал из этого факта логичный и, потому, неизбежно революционный вывод. Его план действенного международного контроля атомной энергии, предложенный им от имени правительства Соединенных Штатов и принятый 10-тью членами Атомной Комиссии Объединенных Наций, при оппозиции, как было указано выше, только Советского Союза и Польши, закладывает по существу политическую и экономическую базу для будущего мирового правительства, для создания будущих Соединенных Штатов Мира.

Многоречивые возражения г-на Громыко против плана Барука, затянувшие важную работу Атомной Комиссии на целый год, и одиночество советской позиции в этом вопросе, ярко подчеркнули трагедию России нашего времени. Великий народ, во всей своей культуре выразивший стремление к всечеловечности, народ, который в девятнадцатом веке выдвинул засиявшие на весь мир имена Пушкина, Толстого и Достоевского, этот народ оказался не во главе, где ему надлежало бы быть, а в стороне от движения всех стран мира к первому, практичному объединению народов в задаче превращения страшной разрушительной силы нашего времени в орудие, по возможности, небывалого мирового прогресса. Г-н Громыко выступал в качестве защитника «государственных суверенных прав» и возражал против плана Барука, как стремления установить американское «господство» во всем мире. Англия, Франция, Бельгия, Китай, Канада, Бразилия, Австралия, Колумбия и Сирия, правительства коих представлены в Атомной Комиссии, признали план Барука, безупречный по логике и объективности, как единственно возможный путь разрешения проблемы **действенного международного контроля атомной энергии**, понимая, что Соединенные Штаты, полностью подчиняя себя всем правилам контроля, на основаниях равных со всеми остальными странами мира, делают всякие заподозривания в этом отношении лишенными основания.

#### 4.

Я подробно остановился на этом вопросе потому, что из всех актов послевоенной внешней советской политики, совет-

ская позиция в Атомной Комиссии Объединенных Наций является, я думаю, наиболее ярким выражением того факта, что советское правительство ведет политику, стоящую в полном и резком конфликте с насущными интересами страны, которую оно претендует представлять. Политика эта уже создала напряженные антирусские настроения в Польше и на Балканах. В Атомной Комиссии эта политика встала в разрез с интересами всего мира, ищущего спасения от ужасов разрушения атомной войны. В разрешении атомного вопроса, как это несколько раз отметил и подчеркнул спокойный и обычно сдержанный на выражения Барук, сроки коротки. Мир не потерпит, не может потерпеть, ни советской обструкции в деле экономической реконструкции Европы, ни такой же, и даже более опасной обструкции в задаче установления действенного международного контроля над атомной энергией. Только правительство, не имеющее никаких национальных корней и мечущееся в попытке спасти свое существование и свою потерявшую всякое, даже призрачное, оправдание диктатуру, может вести такую, — перефразируя знаменитую фразу Милюкова, — политику «глупости и измены». По существу положения, советское правительство не может ни окончательно отвергнуть, ни принять план Барука. Окончательно отвергнуть этот план значило бы встать в открытый и опасный конфликт со всем миром, который дальнейшего, длительного замедления в разрешении атомного вопроса допустить не может. С другой стороны, для советского правительства принятие плана Барука было бы актом политического самоубийства, так как установление действенного международного контроля над атомной энергией значило бы разрушение китайской стены, за которой Политбюро пряталось почти 30 лет, и уничтожение которой привело бы к быстрому разложению в России режима коммунистической диктатуры.

Как было сказано выше, с приходом к власти русского демократического правительства, неизбежно должна последовать коренная перемена в политике России в Объединенных Нациях, и это, помимо прочих важных последствий, отразилось бы, немедленно и положительно, на американско-русских экономических отношениях. Следуя за всеми остальными странами, новая, демократическая Россия, несомненно, с готовностью примет план Барука. Принятие этого плана положило бы начало, во первых, всеобщему разоружению. Экономические последствия такого разоружения для всех стран, включая Россию, были бы громадны. Бремя теперешних вооружений для всего мира исчисляется в гигантской сумме — 27 миллиардов долларов в год, — на 10 миллиардов долларов больше, чем до

войны, в 1938 году. Под ружьем находится 19 миллионов людей. Америка и Россия стоят впереди остальных стран по размерам своих военных бюджетов.\*) Американский военный бюджет теперь равен 11-ти миллиардам в год, и, если напряженность в международной обстановке не рассеется, дополнительные два миллиарда в год будут, по всей вероятности, тратиться на всеобщую военную тренировку. Поскольку дело касается Америки, если бы, в условиях всеобщего разрушения, ее расходы по участию в органах международного контроля и в новой, международной военной организации выразились в сумме, скажем, в пять миллиардов долларов в год, — сумма эта, я думаю, максимальна, — экономия в военном бюджете в размере 6-8 миллиардов долларов в год, сама по себе, была бы достаточна для оказания помощи реконструкции разоренных стран, включая Россию, в надлежащем масштабе.

Вторым и не менее важным последствием неизбежного общего принятия плана Барука будет создание международной организации по изучению способов мирного применения освобожденной атомной энергии и по использованию, среди прочих приложений, почти безграничных индустриальных возможностей в этом революционном открытии. Этот шаг тоже отразится на экономическом положении России, и влияние, в этом отношении, американских достижений на русский экономический прогресс будет очень велико. Все человечество вступит в мирный атомный век, одной из характеристик которого будет постройка всех главных индустрий на основе атомной энергии. До тех пор, пока не устранена советская обструкция в Атомной Комиссии Объединенных Наций, многие американские достижения в этой области держатся в секрете. Несмотря на это, некоторые интересные факты проникли в печать. Так, например, известно, что несколько тысяч, — да, несколько тысяч, — индустриальных возможностей было создано в процессе той длительной работы, с участием выдающихся американских ученых и инженеров, и с затратаю двух миллиардов долларов, в результате которой была создана атомная бомба.\*\*)

---

\*) См. специальный обзор по этому вопросу в "The New York Times", - May 12, 1947.

\*\*) Цитирую по сообщению, появившемуся в "The New York Times", от 18-го сентября, 1945-го года: "There are several thousands immediate applications for the products and procedures developed in creating the atomic bomb, it was declared yesterday, with War Department approval".

В Америке сейчас ведется, в большом масштабе, работа в поисках техники экономного применения атомной энергии к индустрии. Характер американского капитализма настолько динамичен, что нигде не чувствуется боязни этой неизбежной новой индустриальной революции. Факт этот тем более знаменателен, что, на основании уже сделанных достижений, некоторые ответственные группы, как, например, специальный комитет по атомной энергии, созданный в Бостоне, во главе которого стоит президент Массачусетского Технологического Института, Карл Комптон, полагают, что экономное применение атомной энергии к индустрии будет возможно, приблизительно, через пять лет.\*) Другие авторитетные предсказания более консервативны. Евгений Холман, вице-президент гигантской Standard Oil Company of New Jersey, в недавнем показании перед сенатской комиссией в Вашингтоне, высказал мнение, что через 15 лет большие заводы и суда будут оперировать на атомной энергии.\*\*\*) Его мнение, в этом отношении, совпало с мнением двух экспертов по атомной энергии в Военном Департаменте в Вашингтоне.\*\*\*)

Как неустанно и напряженно американский гений работает в этой области, видно из того, что, под руководством специально созданной Конгрессом Комиссии по Атомной Энергии, руководимой, в свою очередь, высоко-талантливым Давидом Лилендолом, создателем TVA, работа по атомным изысканиям ведется теперь в 52-х американских университетах. Бюджет этой Комиссии, приблизительно, пол-миллиарда долларов в год. Помимо тесной работы с университетами, Комиссия также тесно работает с инженерным составом выдающихся американских компаний. Из них можно назвать General Electric Company, на работу которой в этом направлении Комиссия недавно ассигновала 20 миллионов долларов.\*\*\*\*)

Вышеприведенных данных достаточно, я думаю, для того, чтобы показать какие чудеса новой атомной техники были бы открыты в России, и всему миру, если бы советская обструкция была удалена из Атомной Комиссии Объединенных Наций.

---

\*) "Use of Atomic Energy Seen Within 5 Years"; The New York World-Telegram, December 20, 1946.

\*\*\*) "Atom Power in 15 years"; "PM", June 8, 1947.

\*\*\*\*) "Cheap Atom Power Due Only by 1960"; "The New York Times", January 26, 1947.

\*\*\*\*\*) "U. S. Board Spurs Vast Program for Atom Development"; "The New York World-Telegram", June 12, 1947. См. также интересную статью: "Laboratories for the Atomic Age"; "The New York Times", June 22, 1947.

Америке, с миллиардами затрат, вложенных в ныне существующее индустриальное оборудование, атомная индустриальная революция может причинить затруднения, которых она, однако, не боится. Для экономически отсталых стран, для таких потенциальных индустриальных гигантов, как Россия, Индия и Китай, эта индустриальная революция может быть базой для быстрого экономического преобразования.

## 5.

Демократическое возрождение России привело бы также к немедленному возобновлению переговоров в Соединенных Штатах о займе для русской экономической реконструкции. Вышеприведенная беседа Джонстона со Сталиным была тем интересна, что в ней, в общих чертах, был намечен реальный базис для экономического сотрудничества между обеими странами. «В обмен на ваши продукты», сказал Сталин, «мы можем вам дать марганец, хромит, платину, медь нефть, тонгстен, лес, меха». Этот перечень, конечно, не покрывает полностью те многие продукты, которые могут быть экспортированы из России в Америку в значительном количестве,<sup>\*)</sup> но он намечает главную базу для американско-русской торговли в большом масштабе.

Очень важный факт в этом отношении заключается в том обстоятельстве, что минеральные ресурсы Америки были сильно истощены этой войной. В статье, посвященной этому вопросу, Гаролд Икес, бывший секретарем Департамента Внутренних Дел во время ее опубликования, указал, что в течение пятилетнего периода, с 1-го января 1940 года, до 1-го января 1945 года, Америка затратила из своего природного запаса около пяти миллиардов тонн важных минералов: свыше трех миллиардов тонн угля; миллиард тонн нефти, свыше полумиллиарда тонн железной руды и т. д. В этой статье Икес установил, что наличный природный запас в Америке большой группы минералов, — среди них находятся такие важные продукты, как нефть, медь, свинец, цинк, тонгстен, марганец, хромит, олово, — даже при нормальном потреблении, не может быть растянут

---

<sup>\*)</sup> В брошюре: "American-Soviet Trade Relations: Past and Future", by Valery J. Tereshenko, pp. 16-17, приведен интересный список 202-х русских продуктов, которые ввозились из России в Америку в течение периода 1925—41 г.г. Список этот был составлен под руководством Е. Ропса, стоящего во главе русского отдела в Департаменте Торговли в Вашингтоне. Брошюра вышла в издании Русского Экономического Института в Нью-Йорке.

больше, чем на 35 лет. «Эти продукты», писал Икес, «мы будем вынуждены ввозить все в большем и большем количестве».\*) Преемник Икеса, теперешний секретарь Департамента Внутренних Дел, Д. А. Круг, в недавнем показании в сенатской комиссии в Вашингтоне, полностью подтвердил мнение Икеса, что по отношению многих важных минералов, Америке придется зависеть от «внешних источников».\*\*)

В беседе с Джонстоном, Сталин наметил еще одну практическую идею, осуществление которой могло бы создать твердую базу для значительной американско-русской торговли. Как было указано выше, Сталин сказал: «Мы готовы скоординировать наше производство сырых товаров с тем, что Америке в этом отношении нужно. При наличности соответствующего оборудования, мы можем производить эти материалы в любом количестве». Планировка в этом отношении могла бы дать очень важные результаты.

В то время, как увеличение вывоза сырых материалов из России в Америку, при координации усилий с обеих сторон, может послужить базой для русско-американского товарообмена в размере, несомненно, во много раз превышающем скромный довоенный опыт в этом отношении, для России, после появления в ней демократического правительства, будет открыт еще один, дополнительный и весьма важный источник приобретения долларовой валюты. После того, как рухнет китайская стена, которая теперь отделяет Россию от всего внешнего мира, десятки, а быть может и сотни тысяч американских туристов устремятся в Россию.

Интерес к России громаден. В статье, «Об иностранном туризме», советский публицист, А. Горчаков, отмечает, что перед войной «приток иностранных туристов в СССР неуклонно рос. Его динамика характеризуется следующими данными: если посещаемость 1928 года принять за 100%, то 1929 год дал 135%, 1930 год — 302%, 1931 год — 492%, 1932 год — 723%, 1934 год — 816%, 1935 год — 1.031%, 1936 год — 1.076% и т. д.»\*\*\*) В абсолютных цифрах эта картина, по всей вероятности, не очень внушительна, но тенденция, несомненно, отмечена правильно.

\*) Harold L. Ickes: "The War and Our Vanishing Resources"; "The American Magazine", December, 1945.

\*\*) "Krug Asks a Push To Get Minerals—Demands New Policy"; "The New York Times", May 16, 1947.

\*\*\*) А. Горчаков: «Об иностранном туризме»; «Внешняя Торговля», № 10, 1945 г.

Советский автор справедливо отмечает, что «доходы от туризма издавна играли заметную роль в международных расчетных балансах и имели большое народохозяйственное значение во многих странах Европы и Америки», и что «американцы тратили на туризм больше всех». До войны в этом отношении рекордным был 1929 год, когда, по данным Департамента Торговли в Вашингтоне, американские туристы истратили за границей 437 миллионов долларов.\*) Интересно отметить, что в первый год после войны, в 1946 году, когда количество американских туристов в Европе было еще очень ограничено, затраты американских туристов за границей достигли цифры в 430 миллионов долларов, т. е. почти рекордной цифры за 1929 год. В 1946 году большинство американских туристов устремилось в Канаду и Мексику.\*\*)

Во время этой войны, миллионы американцев, служивших в армии, флоте и в воздушных силах республики, были разбросаны по всем континентам мира. Весь внешний мир теперь близок рядовой Америке. Развитие массового воздухоплавания, с постоянными новыми рекордами быстроты, открывает многие страны Европы даже для краткосрочных американских вакаций. Количество индивидуальных сбережений в Америке в 1946 году достигло рекордной цифры в 146 миллиардов долларов, и громадный внутренний товарный голод, накопленный за годы войны, вместе с колоссальным спросом на американские продукты во всех странах мира, обеспечивает американское благосостояние на многие годы. В этой обстановке, по расчету Департамента Торговли в Вашингтоне, американские туристы, по восстановлению более или менее нормальных условий в Европе, будут тратить за границей, приблизительно, 1,5 миллиарда долларов в год.\*\*\*)

А. Горчаков заключает свою статью словами: «Интерес к Советскому Союзу за рубежом всегда был велик, но особенно он возрос сейчас, после Второй Отечественной Войны. Естественно, что миллионы хотят видеть эту страну, которая принесла человечеству мир, свободу и безопасность, хотят видеть собственными глазами Москву, Ленинград, Сталинград, места гигантских битв и всемирно известных побед Красной Армии и советского народа над германскими полчищами». Конечно,

\*) "Oversea Travel and Travel Expenditures in the Balance of International Payments of the United States 1919-38."

\*\*\*) "The N. Y. Herald-Tribune", March 8, 1947.

\*\*\*\*) "U. S. Spending of \$1,500,000,000 Year Seen"; "The N. Y. Times", October 4, 1946.

советский автор увлечен. Россия, к сожалению, еще не принесла человечеству «мир, свободу и безопасность». Россия поможет миру осуществить все эти блага, и ее высокая духовная культура опять засияет на весь мир, после неизбежного демократического преобразования. Границы ее тогда широко откроются для всех ее друзей. Имя им будет легион.

С практической точки зрения можно рассчитывать, что, когда рухнет стена, отделяющая Россию от остального мира, на долю ее должно придтись не менее 10% всех американских туристских затрат за границей, определяемых для ближайшего будущего, как это было указано выше, в 1.5 миллиардов долларов в год. Это значит 150 миллионов долларов в год на долю России. Можно также полагать, на основе американской потребности в сырых товарах, что русский импорт в Америку, достигший в 1937 году цифры в 27,2 миллионов долларов, может быть увеличен, при соответствующей координации русских и американских усилий в этом отношении, скажем, в десять раз, — до сравнительно скромной цифры в 250 миллионов долларов в год.\*) Итак, можно рассчитывать, что при новых условиях, в распоряжении России должно быть около 400 миллионов долларов в год.

Американский заем Англии в 4.4 миллиарда долларов был сделан в 1946 году, сроком на 55 лет. Уплата по займу должна начаться в 1951 году; это значит, что уплата по займу растя-

---

\*) До войны, в 1938-м году, импорт из Канады, с ее скромным, 11-ти миллионным населением, в Америку был свыше 260-ти миллионов долларов. В 1946-м году он вырос до цифры свыше 864 миллионов долларов. Как было неоднократно замечено, импорт в Соединенные Штаты, — это применимо и ко всем другим странам, — растет в зависимости от национального дохода страны. В 1929-м году, когда американский национальный доход равнялся, приблизительно, 100 миллиардов долларов, импорт в Соединенные Штаты равнялся 4.4 миллиардов долларов. В наиболее тяжелый момент депрессии, в 1932-м году, американский национальный доход понизился до 46-ти, а импорт до 1.3 миллиардов долларов. Соответствующие цифры накануне войны в 1938-м году, были 98 и 2.3. В 1946-м году, при национальном доходе, приблизительно, в 170 миллиардов долларов, с Англией и Францией в состоянии разоренности и при полном отсутствии импорта из Германии и Японии, американский импорт поднялся до 4.9 миллиардов долларов. При неизбежном длительном благосостоянии в Соединенных Штатах, американский импорт будет стоять на большой высоте, и это, конечно, отразится на американском импорте из России.

нута на 50 лет. Процентная ставка по займу, как было указано выше, равна 2%. Новая, демократическая Россия, по всей вероятности, была бы в состоянии получить американский заем на не менее выгодных основаниях. При сроке уплаты в 50 лет, уплата в фонд погашения была бы в размере 2% общей суммы займа в год. При постепенном погашении займа, процентная ставка, в среднем, была бы снижена почти до 1% общей суммы займа в год. Таким образом, сумма, необходимая для уплаты займа и процентов в течение 50 лет, равнялась бы, приблизительно, 3% общей суммы займа в год.

На этой базе, для погашения займа в 6 миллиардов долларов, — сумма, которая называлась в предварительных переговорах к концу войны, — России было бы необходимо платить Соединенным Штатам, приблизительно, 190 миллионов долларов в год.\*) При таком платеже, в ее распоряжении был бы баланс в 210 миллионов долларов во год, для текущих закупок в Соединенных Штатах. Заем в 6 миллиардов долларов, растянутый, по мере выполнения заказов в Соединенных Штатах, на короткий срок, — при кооперации со стороны американских деловых кругов, он мог бы быть исчерпан, приблизительно, в три года, — дал бы возможность России вступить на путь экономической реконструкции во всеоружии современной американской техники, вместо той агонии разрешения этой проблемы «своими средствами», на которую политика Политбюро обрекла русский народ.

## 6.

В заключение, для определения общей перспективы той роли, которую Америка призвана сыграть в мировых событиях ближайшего десятилетия и, в частности, в оказании влияния на разрешение русского вопроса, ключевое положение которого по отношению ко всем проблемам Европы и Азии теперь для всех совершенно ясно, я считаю необходимым, хотя бы вкратце, остановиться на экономическом положении в Америке в настоящий момент, и на тенденциях в этом положении.

С самого конца войны, советское правительство рассчитывало на экономический кризис в Америке. «Желание — отец мысли», — такой кризис, конечно, развязал бы советским правителям руки в Европе и Азии; после этого, по их расчетам, не трудно было бы справиться и с Америкой. В вышеупомя-

---

\*) По английскому займу в 4.4 миллиардов долларов, платеж намечен в размере 140 миллионов долларов в год, в течение 50-ти лет.

нутой беседе с Джонстоном, три года тому назад, Сталин заявил голосом, не допускающим возражения: «После войны депрессия неизбежна в капиталистических странах. У вас будет депрессия после этой войны».

В подтверждение своей мысли, Сталин в то время мог бы сослаться на многих американских экономистов. В статье: «Америка после войны», напечатанной в 9-й книге «Нового Журнала», пишущий эти строки подробно рассказал о предсказаниях ряда американских экономистов, что Америке, после войны, придется пройти через кризис массовой безработицы. Принимая во внимание, что около 15 миллионов было в составе вооруженных сил республики, и около 10 миллионов американцев были полностью заняты в военных индустриях, быстрая демобилизация этих сил, казалось бы, должна была повлечь за собой массовую безработицу, очень опасную в условиях послевоенной психологии. Предсказания в этом отношении отличались только степенью пессимизма. «Безработица будет не меньше 7 миллионов», писал д-р Джон Пирсон, талантливый экономист Департамента Труда в Вашингтоне. Другие предсказания доходили до 11 миллионов.

Предсказания эти не оправдались. Несмотря на то, что обе войны, в Европе и на Дальнем Востоке, окончились почти одновременно, а не с промежутком в год или полтора, как многие ожидали, и, несмотря на то, что демобилизация американских вооруженных сил, под давлением общественного мнения, была произведена, как выразился недавно один деятель, почти с панической быстротой, живучесть американского хозяйственного организма и накопленные за войну нужды нормальной, мирной экономики оказались таковы, что демобилизованные из вооруженных сил и из военных индустрий с почти невероятной быстротой распределились в нормальной промышленности.

То, что в данном случае не оправдались пессимистические предсказания американских экономистов, представляет собою, в значительной степени, только академический интерес.\*) То, что на ожидании экономического кризиса в Америке была и, очевидно, продолжает быть построена политика советского правительства, является источником большого несчастья для русского народа и для всего мира.

Что надежды на депрессию в Америке продолжают питать

---

\*) В этом отношении интересны признания в статье профессора экономики Харвардского Университета, Сомнэр Слехтер: "Seven Surprises in Our Economic Picture", "The New York Times", November 15, 1945.

советских правителей, видно из беседы Сталина с Гарольдом Стассеном в Москве, в апреле настоящего года, хотя интересно отметить, что тон Сталина в этом отношении потерял значительную долю прежней уверенности. Цитирую по отчету этой беседы в «Известиях»: «И. В. Сталин спрашивает (на этот раз «спрашивает». А. З.), ожидается ли экономический кризис в С. Ш. А. Стассен отвечает, что он не ожидает экономического кризиса».\*)

Вместо депрессии, в Америке сейчас полная занятость всех рабочих рук. Таковых насчитывается около 60 миллионов, а фактически в мае настоящего года было занято, по данным Департамента Труда в Вашингтоне, 58.330.000. Нормально в Америке, даже в периоды экономического расцвета, насчитывалось около двух миллионов безработных. По мнению проф. Алвина Хансена, выдающегося авторитета по этому вопросу, при теперешнем, возросшем рабочем населении, нормальное количество безработных, даже при полной занятости рабочих рук, должно было бы быть от 2½ до 3-х миллионов.\*\*\*) Фактически цифра безработных в тот момент, когда пишутся эти строки, меньше двух миллионов.

В беседе со Стассеном, Сталин признал, что в теперешних обстоятельствах «имеется одно благоприятное условие для США, заключающееся в том факте, что два конкурента США на мировых рынках — Япония и Германия — устранены». Сталин и, вместе с ним, советская экономическая печать не понимают, — вернее, не хотят понять, — что настоящим источником теперешнего экономического благосостояния Соединенных Штатов, фактором, который, несмотря на возможные, временные, незначительные от общей линии отклонения, обеспечивает Америке, по крайней мере, целое десятилетие экономического расцвета, является внутренний товарный голод, накопленный за годы войны, и громадные, тоже накопленные за годы войны, покупательные силы широких масс населения. В Америке налицо жилищный голод: жилищный дефицит определяется по крайней мере в 10 миллионов единиц, а начавшееся удовлетворение этого голода идет на базе меньше миллиона единиц в год. Автомобильный дефицит определяется в размере от 10-ти до 12-ти миллионов и, принимая во внимание минимальные текущие нужды, из 3,5 миллионов автомобилей, ныне

\*) «Известия», 8-го мая, 1947 г.

\*\*) Alvin H. Hansen: "Economic Policy and Full Employment", p. 108.

производящихся в год, только около миллиона идет на погашение этого дефицита.\*)

Увеличение производства в автомобильной промышленности невозможно, так как в стране, помимо прочих, также и стальной голод. Максимальное годовое производство стали в Америке в настоящий момент определяется в 85 миллионов тонн, а спрос, по крайней мере, в 95-100 миллионов тонн.

Несмотря на такое положение, советская экономическая печать освещает события американской экономической жизни по старому трафарету. Г. Я., во «Внешней Торговле», заявил: «Широкий выход на внешние рынки крайне необходим для Соединенных Штатов, как одно из важнейших мероприятий для уменьшения безработицы, которая уже является реальным фактом в С. Ш. А.»\*\*) Е. Варга выразился следующим образом в вышеупомянутой статье в «Большевике»: «С. Ш. А. страдают (sic!) от возросшего во время войны богатства, от излишков производительных сил, с одной стороны, и от сужения внутреннего рынка, с другой, что толкает американских капиталистов к поискам внешних рынков и расширению экспорта». На самом деле, американские промышленники, вследствие острого внутреннего голода, не только не ищут, но подчас прямо отбиваются от запросов и заказов извне. По той же причине американское правительство, несмотря на то, что война кончилась два года тому назад, продолжает контролировать вывоз продуктов, в которых внутри страны ощущается недостаток. Так называемый «Export Control Act», проведенный Конгрессом в 1940 году, остается в силе, и недавний список продуктов, для вывоза коих требуется специальное разрешение Департамента Торговли, насчитывает около 500 названий.\*\*\*)

Вместо лихорадочных «поисков внешних рынков», якобы вызванных несуществующим «сужением внутреннего рынка», недавно раздались авторитетные голоса бывшего президента,

---

\*) «The New York Post», June 5, 1947. Статья написана на основании изучения вопроса вице-президентом General Motors, посетившего распределительные центры своей компании по всей стране.

\*\*) Г. Я. «Американские предложения по расширению мировой торговли и занятости»; «Внешняя Торговля», № 1-2, 1946. Курсив мой. А. З. В «Правде», от 27-го апреля 1947 года, была помещена статья, в которой количество безработных в Америке было определено, вопреки фактам, в 5.700.000 человек.

\*\*\*) «Comprehensive Export Schedule Number 23», published by the Office of International Trade, Department of Commerce, Washington, D. C., p.p. 7-16.

Герберта Хувера, и Бернарда Барука, настаивающие на новом рассмотрении и окончательном урегулировании экспортного вопроса в смысле установления такого баланса между внешним и внутренним потреблением, при котором не страдали бы интересы американских потребителей. Такова же и позиция американского организованного труда. Конгресс Индустриальных Организаций (CIO), насчитывающий около 6.000.000 членов, в заявлении, опубликованном в Вашингтоне 26 июня текущего года, высказался в том смысле, что «если иностранный спрос на американские съестные продукты, текстильные продукты и машины будут увеличиваться, необходимо будет восстановить урегулирование цен и контроль над распределением этих продуктов».\*)

Это не значит, конечно, что Соединенные Штаты не заинтересованы во внешних рынках. Баланс американской экономики в целом требует, чтобы, приблизительно, 10% национальной товарной продукции были вывезены из Соединенных Штатов\*\*). Начиная с конца первой мировой войны, страна превратилась в нацию-кредитора, и сознание этого факта отражено во всех актах современной американской экономической политики. Вместе с тем, никогда еще в истории не наблюдалось такого превышения активного мирового спроса над мировым предложением как то, которое началось после конца этой войны. Покойный Вилки с гениальной пророчливостью отметил, как главную черту нашего времени, что «человечество теперь в движении». В одной Азии от векового сна пробудилось около миллиарда человеческих существ, — половина всей человеческой расы. В технологическом смысле, все экономически отсталые страны теперь хотят «американизации».

В интересной статье, помещенной в сборнике, «К мировому благосостоянию, через индустриальное и сельско-хозяйственное развитие», вышедшем под его редакцией, Мордохай Езекил, один из самых выдающихся экономистов на государственной службе в Вашингтоне, определил, что индустриализация стран Восточной Европы (не включая Россию), Китая, Индии и стран Центральной и Южной Америки, в течение ближайшего

---

\*) Сообщение Associated Press из Вашингтона, датированное 26-м июня 1947 г.

\*\*\*) См. интересную таблицу в официальном Вашингтонском издании, "Foreign Commerce Monthly", 30-го марта, 1946-го года. В ней охвачен период с 1914 года по 1945 год. В течение этого периода отношение американского экспорта к национальной товарной продукции колебалось от 7.5% до 16%.

десятилетия, потребует капиталовложения, приблизительно, в 50 миллиардов долларов, из коих около 30-ти миллиардов должны придти извне\*). Вычисления Езекила не включают такие сравнительно индустриализованные, но войной разоренные страны, как Англия, Франция, Италия, Германия, Япония и Россия. Специальный комитет по вопросу о проблемах американской внешней торговли после войны, созданный при Национальной Плановой Ассоциации в Вашингтоне, работы которой пользуются заслуженной репутацией, определил, что индустриализация Европы в целом, в течение ближайшего десятилетия, потребует капиталовложения до 70-ти миллиардов долларов, и что мировые потребности в этом отношении будут в размере от 150-ти до 200 миллиардов долларов\*\*).

Действительно, — «человечество в движении», и ирония судьбы такова, что русские коммунистические сторонники так называемого диалектического метода в истории, взявшие для себя на этот метод монополию, упорно отказываются от его применения, когда история не только движется, как она двигалась всегда, а бежит непрерывно ускоряющимся темпом. Проглядев изменения, происшедшие в американском капитализме за последние 15 лет, со времен Рузвельтовских реформ, изменения, пустившие столь глубокие корни, что никакая республиканская победа в Конгрессе их уничтожить не может, советские публицисты и экономисты все еще надеются на настоящую экономическую депрессию в Америке.

Проглядев и движение всего мира к индустриализации, — движение, которое охватило, приблизительно, полтора миллиарда человеческих существ на всех континентах и которое, при всех своих ресурсах, Соединенные Штаты одни удовлетворить не могут, — московские правители и подчиненные им писатели-экономисты все еще толкуют о «по существу непримиримом противоречии между Соединенными Штатами и Англией.\*\*\*) Авторитетом для таких заявлений является, конечно, Сталин. «Англо-американское противоречие, как указывал товарищ Сталин еще в 1928-м году, стало основным противоречием внутри капиталистического мира после первой войны», пишет Е. Варга. «Теперь, после поражения гитлеровской Гер-

---

\*) "Towards World Prosperity, Through Industrial and Agricultural Development and Expansion", edited by Mordecai Ezekiel, page 26.

\*\*\*) "America's New Opportunities In World Trade", published by the National Planning Association, Washington, D. C., p. 20.

\*\*\*\*) П. Суслин: «Англия и США в борьбе за мировые рынки»; «Внешняя Торговля», № 617, 1946 года.

мании, англо-американское противоречие снова становится решающим противоречием внутри капиталистического мира.\*) В этом же уверен Ф. Иванов: «В дальнейшем», пишет он, «Англия неизбежно столкнется на внешних рынках с США, что повлечет за собой обострение конкуренции и усиление борьбы за рынки между этими странами.\*\*)

Во всех этих размышлениях упущен тот основной факт, что на почти бездонных внешних рынках нашего времени места много для всех. Для действенной разработки этих рынков понадобится не конкуренция, а международная кооперация, в которой, среди прочих, для России уготовлено почетное место.

Колониальный период истории, когда сотни миллионов людей оставались в нищете и поэтому почти никакого рынка собою не представляли, уходит на наших глазах в прошлое и никогда не вернется. Пример Индии — прекрасное этому доказательство. В начале 1944-го года группа видных индийских промышленников и инженеров разработала план послевоенной индустриализации Индии, рассчитанный на три пятилетних периода, так называемый «бомбейский план», задача которого удвоить сельско-хозяйственные ресурсы и увеличить в пять раз промышленное производство Индии. Было рассчитано, что этот план потребует капиталовложения, приблизительно, в 30 миллиардов долларов.\*\*\*) В независимой, открытой для всей Индии завтрашнего дня, — завтрашнего, в буквальном смысле этого слова, благодаря мудрой и либеральной политике социалистического правительства Англии, — будет достаточно места и для американской, и для английской торговли, а также и для торговли всех остальных стран. То же самое можно сказать и об остальных рынках мира.

Установление нормальных экономических отношений между Соединенными Штатами и Россией, отношений, которые возможны только после политического раскрепощения русского народа; отношений, при которых эти гиганты взаимно обогатили бы не только их собственную экономику, но и распространили бы это обогащение на соседние страны, представляет собою одну из важнейших задач нашего времени. Роль нормально функционирующей и прогрессивно растущей русской

---

\*) В вышеупомянутой статье в «Большевике», Февраль, 1946-го года.

\*\*) Ф. Иванов: Соглашение между США и Англией по экономическим и финансовым вопросам; «Внешняя Торговля» № 1-2, 1946 г.

\*\*\*) "The Washington Post", August 6, 1944.

экономики в экономическом прогрессе Европы и Азии должна быть, и будет, громадна.

Когда новая заря, неизбежная и прекрасная заря свободы, вновь осветит печальное русское небо, как она осветила его в незабываемые февральские дни 1917-го года, американский народ опять будет в числе первых, кто подаст русскому народу братскую руку. С участием лучших ученых и инженерных сил обеих стран, будет разработан новый пятилетний план, план настоящей экономической реконструкции России, в осуществлении которого, — во всеоружии новейшей техники, без голода и без надрыва народных сил, — побледнеют все прежние достижения. Тысячи американских инженеров с энтузиазмом отправятся на русский экономический фронт; для тысяч русских инженеров откроются двери самых передовых американских лабораторий и промышленных учреждений. Для России и для всего мира, после долгой и кошмарной ночи, начнется новый день.

**А. И. Зак.**

# ТРИ СУДЬБЫ

(БЛОК, ГУМИЛЕВ, СОЛОГУБ)

В прошлом, 1946, году исполнилось 25 лет с того августовского дня, когда, онемевший и оглохший как поэт, угас, «задохся» в революционном Петрограде Александр Александрович Блок, крупнейший русский поэт нового времени. Немного спустя трагически погиб, «у стенки», расстрелянный Чекой в расцвете творческих сил, другой большой поэт, Николай Степанович Гумилев. А через шесть лет после них ушел из жизни — правда, в гораздо более преклонном возрасте — тоже в последние годы замолчавший Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников). Потомство несомненно признает этих трех поэтов крупнейшими русскими поэтами той творчески богатой и разнообразной эпохи в истории русской культуры, которую принято обозначать как эпоху символизма.

В 1852 году, узнав о смерти Гоголя, французский писатель Проспер Меримэ, один из первых в Европе заинтересовавшийся русской литературой, выучивший русский язык и переведивший Пушкина, Гоголя и Тургенева, писал своему приятелю, другу Пушкина и Мицкевича, С. А. Соболевскому, что какого-то рода фатум преследует русских поэтов. Действительно: Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Гоголь — все они погибли безвременно (а первые три и бессмысленно), не свершив всего, что могли совершить. В новейшее время к ним надо прибавить Блока, Гумилева, Есенина, Маяковского. Сологуб умер молодым, свершив, может быть, уже все, чего можно было от него ожидать, но и его последние годы были окрашены трагедией, и он оказался жертвой русского «фатума».

## I. ОБРЕЧЕННЫЙ

И в какой иной обители  
Мне влачиться суждено,  
Если сердце хочет гибели,  
Тайно просится на дно?      А. Блок.

«...учел ли ты, что я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви» (А. Блок в письме А. Белому 22 октября 1910 г.).

З. Н. Гиппиус в своих воспоминаниях о Блоке говорит, что в нем всего больше поражала его «двойная черта» — «его

трагичность во-первых, и во-вторых, его какая-то «незащищенность»; от чего? Да от всего; от самого себя, от других людей, от жизни и смерти». В этой-то именно трагичности и незащищенности, прибавляет Гиппиус, «лежала и главная притягательность Блока». <sup>1)</sup> Это была трагедия обреченности. Блок сам, со свойственной ему скромностью писал в 1907 году Андрею Белому, что до трагедии он «не дорос». Но в нем все было именно трагично: трагично его жизнечувствие, трагично его отношение к творчеству, трагична его судьба. По силе трагизма нет в русской поэзии стихов равных блоковскому жуткому, зловещему циклу «Пляски смерти». Блок больно и остро переживал с одной стороны разрыв между жизнью и поэзией, с другой — между творческим актом и творением. В одном из довольно ранних своих стихотворений («Балаган», 1907 г.) он писал:

Ташитесь, траурные клячи!  
Актеры, правьте ремесло,  
Чтобы от истины ходячей  
Всем стало больно и светло!

В тайник души проникла плесень,  
Но надо плакать, петь, идти,  
Чтоб в рай моих заморских песен  
Открылись торные пути.

Еще с большей силой и точностью та же мысль выражена в стихотворении 1910 года:

Как тяжело ходить среди людей  
И притворяться непогибшим,  
И об игре трагической страстей  
Повествовать еще нежившим.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,  
Строй находить в нестройном вихре чувства,  
Чтобы по бледным заревам искусства  
Узнали жизни гибельной пожар.

В стихотворении «К Музе» (1912 г.), открывающем собой раздел «Страшный мир» в третьей книге стихотворений Блока, поэт говорит, что в сокровенных напевах его Музы есть «роко-

<sup>1)</sup> З. Н. Гиппиус, «Мой лунный друг», в книге Живые лица.

вая о гибели весть», есть «проклятье заветов священных» и «поругание счастья», что для него она не муза и чудо, а — «мученье и ад», и продолжает:

Я не знаю, зачем на рассвете,  
В час, когда уже не было сил,  
Не погиб я, но лик твой заметил  
И твоих утешений просил?

Я хотел, чтоб мы были врагами,  
Так за что ж подарила мне ты  
Луг с цветами и твердь со звездами —  
Все проклятье своей красоты?

Творчество — не отрада и утешение, а проклятие. В одном из великолепнейших своих стихотворений — «Художник» (1913 г.) — Блок прямо говорит о творческом акте, как акте убийства, акте, которому предшествует и за которым следует «смертельная скука», который оставляет творца опустошенным и измученным. Вот конец этого замечательного стихотворения:

И, наконец, у предела зачатия  
Новой души, неизведанных сил, —  
Душу сражает, как громом, проклятие:  
Творческий разум осилил, — убил.

И замыкаю я в клетку холодную  
Легкую, добрую птицу свободную,  
Птицу, хотевшую смерть унести,  
Птицу, летевшую душу спасти.

Вот моя клетка — стальная, тяжелая,  
Как золотая, в вечернем огне,  
Вот моя птица, когда-то веселая,  
Обруч качает, поет на окне.

Крылья подрезаны, песни заучены.  
Любите вы под окном постоять?  
Песни вам нравятся. Я же, измученный,  
Нового жду — и скучаю опять. (2)

---

2) Это стихотворение Блока интересно сопоставить со следующим отрывком из письма знаменитого польского поэта Зигмунта Кра-

Блок сам особенно любил первую книгу своих стихов — «Стихи о Прекрасной Даме», это наивысшее создание русского мистического романтизма, где Блок перекликается не только с Владимиром Соловьевым, но и с Новалисом, и порой напоминает своего немецкого современника (поэзии которого он, видимо, не знал) — Рильке. В 1915 году Блок записал в своей записной книжке: «Лучшим остаются «Стихи о Прекрасной Даме». Время не должно тронуть их, как бы я ни был слаб, как художник». (3) Сам Блок отрицал, впрочем, что он мистик: в 1905 году он писал Белому:

Я вообще никогда (заметь, никогда, даже когда писал все стихи о Прекрасной Даме) не умел выражать точно своих переживаний, да у меня никогда и не бывало переживаний, за этим словом для меня ничего не стоит. А просто, беспутную и прекрасную вел жизнь, которую теперь вести перестал (и не хочу, и не нужно совсем), а, перестав, и понимать многого не могу. Отчего ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю (4).

Но в декабре 1903 года Блок писал отцу:

...существует черта, на которую ни один из моих профессоров до смерти не ступит: это — религиозная мистика. Живя

---

синского к Генри Риву: «...картина, статуя, слово, знак — это всегда одно и то же: мгновение жизни, остановленное в своем течении и сразу же застывшее в неподвижности и смерти. Человек может выражать себя только в бездушных вещах. Каждое такое выражение является поэтоу лживым, ибо оно призвано представлять жизнь, само будучи трупом...» (*Correspondance de Sigismond Krasinski et de Henry Reeve, Paris, Delagrave, vols. I-II, 1902. Цитируется у W. Lednicki, Life and Culture in Poland, New York. 1944*).

Мое внимание на это совпадение было обращено моей студенткой по Калифорнийскому Университету, М. Кригер. Блок был знаком с творчеством Красинского (ср. В. Ледницкий, «Польская поэма Блока», «Новый Журнал», номера 2 и 3), но ему едва ли была известна переписка Красинского с Ривом, изданная в Париже.

3) Записные книжки Ал. Блока. Редакция и примечания П. Н. Медведева, Ленинград, 1930, стр. 182.

4) Александр Блок и Андрей Белый, Переписка. Редакция, вступительная статья и комментарии В. Н. Орлова. Изд. Государственного Литературного Музея, М. 1940, стр. 157.

ею изо дня в день, я чувствовал себя одно время нещадно гонимым за правую веру <sup>5)</sup>.

Но уже в «Стихах о Прекрасной Даме», в этом дневнике мистической любви, с его почти полной отрешенностью от всего земного, с его нереальным, неземным пейзажем, звучит мотив предвкушаемой трагической раздвоенности, мотив двойника, мотив измены небесной возлюбленной:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —  
Все в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,  
И молча жду, — тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,  
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,  
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,  
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.  
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Стихотворение это, в известном смысле являющееся средоточием первого тома, написано в Шахматове в 1901 году. Ему предпослан эпиграф из Владимира Соловьева: «И тяжкий сон житейского сознания — Ты отряхнешь, тоскуя и любя».

Со второго тома стихов мотив двойника и измены, сочетающийся с темой города, становится лейтмотивом. Трагическая тема ширится и углубляется с ростом мастерства Блока в третьем томе. Уже упоминавшееся заглавие одного из разделов третьего тома — «Страшный мир» — выражает в этот период мироотношение Блока. Для него был характерен духовный максимализм, который он иногда переносил и в область политики и социальной жизни. Он недаром любил ибсеновского Бранда. Одним из его девизов было: «все или ничего». В письме одной своей родственнице (написанном 16 января 1916 года) Блока писал: «... (я) требую от жизни — или безмерного, чего она не даст, или уже ничего не требую. Вся современная

<sup>5)</sup> Письма Александра Блока к родным. С предисловием и примечаниями М. А. Бекетовой. Ленинград, 1927, стр. 96-97. Подчеркнуто мною. — Г. С.

жизнь людей есть холодный ужас, несмотря на отдельные светлые точки — ужас, надолго непоправимый».<sup>(6)</sup> Блок метался между любовью и ненавистью или соединял их в одном остром, трагическом чувстве любви-ненависти. Такой любовью-ненавистью было его отношение к жизни: «И отвращение от жизни, — И к ней безумная любовь» (Возмездие). Блок — прежде всего лирик, творчество его тесно связано с его личной судьбой, с его биографией, и в его дневнике, записных книжках и письмах мы постоянно находим параллели к его стихам. Отвращение от жизни, безысходная усталость звучит в письме к матери из Италии от 19 июня 1909 года:

Более, чем когда-нибудь, я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделывать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция (7). Все люди сгниют, несколько человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня — все та же — лирическая величина. На самом деле — ее нет, не было и не будет. Я давно уже читаю Войну и Мир и перечитал почти всю прозу Пушкину. Это существует. (8).

И в том же письме:

...я теперь ничего и не могу воспринять, кроме искусства, неба и иногда моря. Люди мне отвратительны, вся жизнь ужасна. Европ[ейская] жизнь так же мерзка, как и русская, вообще — вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудовищно грязная лужа (9).

Но тот же Блок мог говорить о своем страстном желании жить и еще в октябре 1907 года восклицал в стихах:

О, весна без конца и без краю —  
 Без конца и без краю мечта!  
 Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  
 И приветствую звоном щита!

<sup>6)</sup> Александр Блок, Сочинения в одном томе, М.-Л. 1946, стр. 559.

<sup>7)</sup> Разрядка моя. — Г. С.

<sup>8)</sup> Письма... к родным, 267-68.

<sup>9)</sup> Там же, 266.

Но растущее отвращение от жизни рождало глубокое, безысходное, последнее одиночество, красной нитью проходящее через дневники и письма Блока. Как преодолеть это одиночество — одна из проблем, упорно занимающих и донимающих его. «Может быть, одиночество преодолимо только ритмами действительной жизни — страстью и трудом. Остальное — сны» — писал Блок 22 мая 1908 года писателю М. И. Пантюхову (10). В поэтическом преображении мы находим развитие этой же самой мысли в чудесной поэме «Соловьинный сад», написанной в 1915 году.

От одиночества, как мы видели, не спасает и творчество. Блок-художник — и художник в глубине несомненно религиозный — скорбит об умирании искусства и религии: «Искусство и религия умирают в мире, мы идем в катакомбы, нас презирают окончательно» (11). В отличие от многих своих современников, Блок сознавал, что «искусство связано с нравственностью» (12) — в этом он видел идею своей лирической драмы «Роза и Крест». Опоры для себя он мог «искать только в небе, но небо — сейчас пустое для меня (вся моя жизнь под этим углом... )» (13). Но и здесь опять раздвоенность. Мистик, Блок боится, чурается мистицизма; романтик, он тянется к реализму: «Реальности надо нам, страшнее мистики нет ничего на свете», записывает он в дневнике 19 марта 1912 года (14). И раньше еще, в письме к матери от 1 апреля 1910 года, о лечившем ее д-ре Соловьеве: «... гораздо лучше, в конце концов, что он — анти-мистик, не всем же и не вечно видеть изнанку мира и погружаться в сны» (15). Сам Блок старался бороться со своими снами. «Реалистические» настроения особенно усилились в нем в 1911 году, в период работы над «Возмездием». 21 февраля 1911 года он пишет матери о своем отходе от декадентства, о своем желании жить, о том, что он «общественное животное», что у него есть «публицистический пафос» и по-

10) Сочинения в одном томе, 529. Пантюхов, обративший на себя внимание повестью «Тишина и старик», скончался в 1910 году в психиатрической лечебнице.

11) Дневник Ал. Блока 1911-1913, под ред. П. Н. Медведева, Л. 1928, стр. 193 (запись 22 марта 1913 года).

12) Там же, 185 (23 февраля 1913).

13) Дневник Ал. Блока 1917-1921, Л. 1928, стр. 45 (12 июля 1917).

14) Дневник... 1911-1913, 88.

15) Письма... к родным, т. II, Л. 1932, стр. 67.

требность общения с людьми, об интересе к телесной культуре и к французской борьбе, о том, что голландский борец Ван-Риль вдохновляет его для поэмы (т. е. для «Возмездия») «гораздо более, чем Вячеслав Иванов» и добавляет: «... настоящее произведение искусства в наше время (и во всякое, вероятно,) может возникнуть только тогда, когда 1) поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром и 2) когда мое собственное искусство роднится с чужими (для меня лично — с музыкой, живописью, архитектурой и гимнастикой)» (16).

В предисловии к «Возмездию» Блок говорит о владевшем им в это время сознании «нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики» и подчеркивает, что для него факты из самых различных областей жизни «вместе всегда создают единый музыкальный напор». Это сознание он и пытался выразить в «Возмездии», произведении, представляющем крайнюю точку выхода Блока «из себя» — в мир. Из своего уединения, из мира своих «цыганских снов» Блок тянется в это время к «житейскому», к человеку:

...нам опять нужна вся душа, все житейское, весь человек. Нельзя любить цыганские сны, ими можно только сгорать. Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное, и бескрылое и цыганское. Возвратимся к психологии.

И дальше:

Назад к душе, не только к «человеку», но и ко «всему человеку» — с духом, душой и телом, с житейским — трижды так (17).

Неслучайно — намечающееся у Блока в это время и особенно обостряющееся в последние годы жизни тяготение к Пушкину. Дух Пушкина витает над «Возмездием». А в конце 1913 — начале 1914 года Блок записывает:

Перед Пушкиным открыта вся душа — начало и конец душевного движения. Все до ужаса ясно, как линии на руке, под микроскопом. Не таинственно как будто, а, может быть, зато по другому, по «самоубийственному», таинственно (18).

16) Там же, стр. 125-126. Ср. предисловие к «Возмездию».

17) Дневник... 1911-1913, стр. 23 (30 октября 1911).

18) Записные книжки, 158.

Выхода из одиночества Блок искал и в театре — и еще гораздо раньше. 22 декабря 1906 года он писал В. Э. Мейерхольду, по поводу своего «Балаганчика», что для него театр — «выход из лирической уединенности» (19). А в статье «О театре» он говорит:

Более, чем какой бы то ни было род искусства, театр изобличает кощунственную бесплотность — это сама плоть искусства — та высокая область, в которой «слово становится плотью» (20).

Необыкновенно интересны в этой связи некоторые высказывания Блока об искусстве. Романтик, «одержимый», он тянется к классицизму, видит спасение в форме и дисциплине (опять пушкинское начало!). В письме к своему другу Е. П. Иванову по поводу одного рассказа его брата, А. П. Иванова, Блок писал, 3 сентября 1909 года, что после Пушкина русская литература «как бы перестала быть искусством», и продолжал:

...все, что мы любили и любим (кончая Толстым и Достоевским) — гениальная путаница. Этого больше не будет и не должно быть (говорю преимущественно о «разлитом море» бесконечной «психологин»). Искусство есть только космос — творческий дух, оформливающий хаос (душевный и телесный мир). О том, что мир явлений телесных и душевных есть только хаос, распространяться нечего, это должно быть известно художнику (и было известно Эхилу, Данту, Пушкину, Беллини, Леонарду, Мик(ель)-Анджело и будет известно будущим художникам). Наши великие писатели (преимущ., о Толстом и Достоевском) строили все на хаосе («ценили» его), и потому получался удесятеренный хаос, т. е. они были плохими художниками. Строить космос можно только из хаоса. — Вздумалось написать тебе это из числа бесчисленных моих мыслей такого порядка (о строгой математичности искусства) 21).

19) «Искусство и труд», М. 1921, № 1, цит. в книге Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам, сост. О. Немеровская и Ц. Вольпе, Л. 1930, стр. 113.

20) «О театре», Сочинения, т. VI.

21) Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову, М.-Л. 1936, 73-74. Тогда же Блок записывал в своей записной книжке: «Форма искусства есть образующий дух, творческий порядок. Содержание — мир — явления душевные и телесные. (Бесформенного

А уже гораздо позже, летом 1917 года, Блок записывал:

...бесформенное содержание. само по себе, не существует, не имеет веса. Бог есть форма, дышет только наполненное сокровенной формой. (22).

## 2.

В поэзии Блока, как известно, большую роль играет тема России. И то же раздвоение характеризует его отношение к ней. «И страсть, и ненависть к отчизне» — эта строчка «Возмездия» относится к самому Блоку. Блок сам определил свое отношение к России как «ненавидящую любовь» (23). В этом смысле он был лишь продолжателем давней традиции в русской литературе, но ни у кого из русских писателей это двойственное чувство любви-ненависти не получило такого заостренного, такого страстного выражения.

Тебя жалеть я не умею,  
И крест свой бережно несу...  
Какому хочешь чародею  
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —  
Не пропадешь, не сгинешь ты,  
И лишь забота затуманит  
Твои прекрасные черты...

В стихотворении «Грешить бесстыдно, непробудно...», написанном в начале войны 1914-18 года, потрясающе-жуткую картину пошлости, лицемерия и низости русской жизни Блок заканчивает словами:

Да, и такой, моя Россия,  
Ты всех краев дороже мне.

---

искусства нет; «бессодержательное» — вследствие отсутствия в нем мира душевного и телесного — возможно). Сколько бы Толстой и Достоевский ни громоздили хаоса на хаос — великий хаос я предпочитаю в природе. Хорошим художником я признаю лишь того, кто из данного хаоса (а не в нем и не на нем; данное: психология бесконечна, душа — безумна, воздух — черный) творит космос. А. Иванов («Стереоскоп») — Брюсов — проза. От Пушкина. (Записные книжки, 130-131).

<sup>22)</sup> Записные книжки, 197.

<sup>23)</sup> Е. И. Замятин, «Из воспоминаний об А. Блоке», «Русский Современник», 1924, № 3 (цит. в Судьбе Блока, 256).

Любовью-ненавистью проникнута и вся неконченная поэма «Возмездие», одно из замечательнейших и недостаточно еще оцененных произведений Блока, где он по новому поставил давно его волновавшую тему связанности личной своей судьбы с судьбами России. Ненависть и презрение к России в ее низменной, реальной ипостаси (но не к России «в мечтах») вырвали у Блока в 1909 году, когда он был в Германии, страшные, жестокие слова: «О, если бы немцы взяли Россию под свою опеку!» (24). Блока, на основании его предвоенных статей и докладов, его отношения к революции, его «Скифов» особенно, принято считать нео-славянофилом. В нем, конечно, очень сильна была — особенно в годы, последовавшие за революцией 1905 года — народническая жилка, роднившая его со славянофилами. Но и тут Блок был двойственен. В нем сказывалась и европейская закваска. «Всякий русский художник имеет право хоть на несколько лет заткнуть себе уши от всего русского и увидеть свою другую родину — Европу...» — писал Блок матери из Италии 7 мая 1909 года (25). В уже цитированном письме, где он пишет об увлечении гимнастикой и французской борьбой, он характеризует эти свои интересы, как свой «европеизм»:

Европа должна облечь в формы и плоть то глубокое и все ускользающее содержание, которым исполнена всякая русская душа (26).

Европеизм Блока прорывается, в конце концов, даже и в «Скифах» — и не только в навеянной Достоевским мысли о «всечеловечности» русского духа.

С темой России у Блока связан один настойчивый мотив, на который до сих пор, мне кажется, не обращалось достаточного внимания и который упорно возвращается в его творчестве. Это — мотив ребенка, сына, который растет и который призван отомстить за грехи родителей. Таков в конечном счете основной мотив «Возмездия», поэмы, эпиграфом к которой стоят слова из ибсеневского «Строителя Сольнеса»: «юность — это возмездие». В предисловии к поэме, объясняя ее тему, Блок писал:

Тема заключается в том, как развиваются звенья единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела и затем вновь поглощаются окружающей

---

24) Письма... к родным, I, 269.

25) Там же, 261.

мировой средой; но в каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и нечто более острое, ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и т. д. ... Мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа, сама она, если остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. Был человек — и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка. Но семя брошено, и в следующем первенце растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное начинает, наконец, ошутительно действовать на окружающую среду; таким образом, род, испытанный на себе возмездие истории, среды, эпохи, — начинает в свою очередь творить возмездие; последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться своей человеческой рученкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится таки за него...

В «Возмездии» этот мотив переплетается с темой — вернее, в него вплетается тема (на мой взгляд, побочная) — русско-польских отношений<sup>(26)</sup>. Но тот же мотив мы находим не только в «Возмездии». Возможно, что он первоначально как-то связан с одним малоизвестным фактом биографии Блока. 2-го февраля 1909 года у Л. Д. Блок, жены поэта, родился сын Дмитрий, проживший всего восемь дней. По рассказу З. Н. Гиппиус, Блок после рождения сына был полон этим событием и думал о том, «как его, Митьку, воспитывать»<sup>(27)</sup>. Смерть сына Блок пережил очень тяжело. Глухим и злым отчаянием звучит стихотворение «На смерть младенца», написанное в феврале 1909 года и явно навеянное смертью сына:

Я подавлю глухую злобу,  
Тоску забвению предам.  
Святому маленькому гробу  
Молиться буду по ночам.

Но — быть коленопреклоненным,  
Тебя благодарить, скорбя? —  
Нет. Над младенцем, над б л а ж е н н ы м,  
Скорбеть я буду без Тебя.

<sup>26)</sup> Этот аспект «Возмездия» впервые подробно и обстоятельно изучен В. А. Ледницким в статье «Польская поэма Блока» (также по-английски: "Blok's 'Polish Poem'. A. Literary Episode in the History of Russian-Polish Relations", в "Quarterly Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America". Vol. II, No. 2, January, 1944).

<sup>27)</sup> Гиппиус, М о й л у н н ы й д р у г.

Но в творчестве Блока мотив растущего сына появляется до этого эпизода в его биографии. В начале октября 1908 года Блок записал в своей записной книжке черновой набросок стихотворения «Россия» («Опять, как в годы золотые...»), окончательный печатный текст которого помечен «18 октября 1908». Последние строки этого наброска читаются так:

\* \* \* \* \*  
Нейдешь ты замуж, не стареешь,

В прекрасном рубище стоишь.

О днях протекших не жалеешь,

Легко в грядущее глядишь.

Зимуешь... в хате чадной — (28)

Но за стихотворным черновиком у Блока в записной книжке идет еще следующее:

А летом рвет загорелыми ногами злаки.

О том, как жених ее сосватал, как долго не давалась она жениху. Как сыпала звезды в осенние ночи, как ветром гуляла по хлябям болот. Но как полюбивший ее приколдовал ее, смирил, прижил с ней сына — и таинственный сын растет. А Россия смиренно ждет, что скажет сын, и всю свою свободу вложила в него. Ждет у колыбели. А сын растет, просыпается. (29).

В «Возмездии» именно эта тема растущего сына вплетается в русско-польскую тему. В эпилоге к поэме должен был быть «изображен младенец, которого держит и баюкает на коленях простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому неведомая и сама ни о чем не ведающая» (30). Этот младенец — плод грешной русско-польской любви, сын героя поэмы (несомненно автобиографичного, которого Блок хотел назвать именем своего покойного сына) (31). Мать «баюкает и кормит грудью сына, и сын растет» (32); он начинает уже играть, он начинает повторять по складам вслед за матерью: «И я пойду навстречу солдатам... И я брошусь на их штыки... И за тебя, моя свобода, взойду на черный

28) Записные книжки, 90-91.

29) Там же.

30) Предисловие к Возмездию.

31) «Планы» Возмездия.

32) Разрядка моя. — Г. С.

эшафот» (33). Здесь мы видим не только повторение мотива растущего сына из черновика «России», но и оттуда же идущую тему с в о б о д ы. Только здесь идет уже, видимо, речь о свободе Польши. А может быть Блок имел в виду свободу и Польши и России, помня о лозунге «за нашу и вашу свободу»?

Из отброшенного черновика «России» та же тема, еще до «Возмездия», перешла в план неосуществленной пьесы, который мы находим в записной книжке Блока под датой 19-20 ноября 1908 года. В конце этой записи — пометка: «Ночной кошмар (патологический)». Очевидно, эта неосуществленная пьеса была навеяна Блоку его сном. Вот эта запись:

Первый акт.

Писатель. Кабинет с тяжелыми занавесками на окнах. Книги. Цветы. Духи. Женщина. Он — все понимающий. Она живет обостренной духовной жизнью. Глаза полузакрыты, зубы блестят сквозь полукрытые губы.

Тушит огонь, открывает занавеску. Чужая улица, чужая жизнь. Тонкие мысли. Посетители.

Ждет жену, которая писала веселые письма и перестала.

Возвращение жены. Ребенок. Он понимает. Она плачет.

Он заранее все понял и все простил. Об этом она и плачет. Она поклоняется ему, считает его лучшим человеком и умнейшим.

Но его видели не только на вечерах, в кабинете, среди толпы или книг, гордого и властного. Не только проносившимся с тою женщиной. Его окружает не только таинственная слава женской любви.

Его видели ночью — на мокром снегу — беспомощно плетущимся под месяцем, бесприютного, сгорбленного, усталого, во всем отчаявшегося. Сам он знает болезнь тоски, его снедающую и тайно любит ее — и мучится ею. Он думает иногда о самоубийстве. Он, кого слушают и кому верят, большую часть своей жизни не знает ничего. Только надеется на какую-то Россию, на какие-то веселенские ритмы страсти: и сам изменяет каждый день и России и страстям. И не понимает преследующей и мучительной для него формулы Ибсена и Гоголя. Или лучше; понимая (как и все), не принимает. Испорчен (интеллигент).

А ребенок растет. (34).

Последняя фраза подчеркнута самим Блоком. Она именно связывает эту запись с черновым наброском «России» и с:

33) Предисловие к Возмездию.

34) Записные книжки, 96.

«Возмездием». Автобиографичность этого наброска «первого акта» пьесы несомненна. Несомненна и связь его с темой России. Интересна фраза о «преследующей и мучительной для него формуле Ибсена и Гоголя». В написанной тогда же, в ноябре 1908 года, статье «Ирония», Блок говорит о «священной формуле, так или иначе повторяемой всеми писателями: «Отрекись от себя для себя, но не для России» (Гоголь). «Чтобы быть самим собою, надо отречься от себя» (Ибсен). «Блок прибавляет: «Эта формула была бы банальной, если бы не была священной».

## 3.

В Советской России, где господствует огульно враждебное отношение к символизму, трактуемому, как «поэзия русского империализма» (35), исключение делается для Брюсова, Блока и Белого, как тех символистов, которые «приветствовали» революцию и пошли с ней. Тогда как большинство других поэтов этого периода (особенно Сологуба, Гиппиус, Вячеслава Иванова, Гумилева) замалчивают, Блока переиздают и усиленно изучают (советская литература о Блоке — мемуарная и иная — весьма обширна, но по большей части относится к более раннему периоду революции) (36). Но, конечно, присвоение Блока «советской культуре» есть незаконная узурпация. Советские критики склонны затушевывать и замазывать двойственность отношения Блока к революции (37). Между тем, можно говорить не только об «аполитичности» блоковского восприя-

---

35) Так называется книжка некоего Волкова о поэзии этого периода, но эта формула повторяется и большинством остальных советских критиков и литературоведов, ср., например, Б. Михайловский, Русская литература XX века, М. 1938.

36) В книге О Блоке (Сборник литературно-исследовательской ассоциации Ц. Д. Р. П. под ред. Е. Ф. Никитиной, М. 1929) зарегистрировано в библиографии литературы о Блоке по 1928 г. свыше 800 названий. Эта библиография включает и журнальные, и газетные статьи, в том числе и некоторые появившиеся за пределами России на русском языке. С 1929 г. «Блокиана» еще разрослась.

37) Характерно, что в одномтомном собрании сочинений Блока под редакцией В. Н. Орлова (новое издание 1946 г.), содержащем не только все стихи, поэмы и пьесы Блока, но и многие его статьи и письма, в Записке о «Двенадцати» выпущены многозначительные замечания Блока о свободе печати.

тия революции, не только о двойственности его отношения к ней, но и о его горьком в ней разочаровании. Можно с правом утверждать, что Блок не только физически, но и морально стал жертвой революции, в ней именно нашел трагическое завершение своей судьбы.

Двойственна, двусмысленна знаменитая блоковская революционная поэма «Двенадцать». Как известно, Блок написал ее в состоянии настоящей «одержимости» (хотя и неверно часто встречающееся утверждение, что он написал ее в один присест).<sup>(38)</sup>; в упомянутой выше «Записке» (1920 г.) Блок писал:

В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907, или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией: например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира).

Но конечный смысл этой вещи был самому поэту неясен. Лучше, чем кто-либо другой, он ощущал двусмысленность и соблазнительность ее концовки — неожиданного появления Христа перед шагающими в ночь двенадцатью красногвардейцами, которые воплощают не только разрушительный социальный аспект революции, не только ее «скифство», но и простое ее «хулиганское» лицо. По словам К. Чуковского, Горький говорил Блоку, что считает «Двенадцать» злой сатирой на происшедшее в те дни. «Сатира? — спросил Блок и задумался. — Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я н е з н а ю»<sup>(39)</sup>.

Сам Блок писал:

Что Христос идет перед ними — несомненно.

Дело не в том, «достойны ли они его», а страшно то, что опять Он с ними и другого пока нет; а надо Другого—?<sup>(40)</sup>.

<sup>38)</sup> Чуковский в книге А. Блок, как человек и поэт (П. 1924) утверждает, что Блок написал Двенадцать в два дня. Между тем 15 января 1918 г. Блок записал в записной книжке: «Мои «Двенадцать» не двигаются. Мне холодно». Поэма была окончена 29 января и отделана в начале февраля. (См. Зап. Кн., 198, 199).

<sup>39)</sup> Чуковский, цит. соч.

<sup>40)</sup> Записные книжки, 199.

Блок принял и приветствовал революцию из страстной ненависти к буржуазии, к мещанству, к старому «страшному» миру. Верно говорит его друг, поэт В. А. Зоргенфрей:

В чем же «дело»? Для Блока — в безграничной ненависти к «старому миру», к тому положительному и покойному, что несли с собою барыня в каракуле и писатель-вития. Ради этой ненависти, ради новой бури, как последнюю надежду на обновление, принял он «страшное» и осветил его именем Христа (41).

Чуковский, которому, правда, не всегда можно доверяться, рассказывает, что в июне 1919 года Гумилев в лекции о поэзии Блока в присутствии последнего сказал, что конец «Двенадцати» кажется ему «искусственно-приклеенным», что «внезапное появление Христа есть чисто-литературный эффект». По окончании лекции Блок «сказал задумчиво и осторожно, словно к чему-то прислушиваясь: — Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос» (42).

Интересно, что Блок целиком выписал у себя в дневнике отзыв о «Двенадцати» П. Б. Струве в софийской «Русской Мысли», заканчивающийся словами: «На правдивом изображении лица революции в «Двенадцати» лежит именно соблазнительная печать «роковой пустоты» в религиозном отношении». В том же отзыве Блок подчеркнул слова: «Невольню вспоминается вещее признание самого же Блока, что он принадлежит к какой-то проклятой породе людей, к «детям страшных лет России», у которых «в сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота» (43)». Во всяком случае сам Блок протестовал против политического толкования «Двенадцати»:

...те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой—будь они враги или друзья моей поэмы. (44).

41) «А. А. Блок (по памяти за 15 лет 1906-1921)», «Записки мечтателей», П. 1922, № 6 (цит. в Судьба Блока, 220).

42) Цит. соч. Такой записи у Блока нет. Чуковский, вероятно, имеет в виду запись, цитированную выше.

43) Дневник... 1917-1921, 238-239.

44) Записка о «Двенадцати».

Записи Блока в период революции полны противоречий, но несомненно его глубокое и все растущее разочарование в ней после первоначального опьянения. Тяжелое впечатление произвел на Блока разгром крестьянами Шахматова, нежно любимого им дедовского имения под Москвой (в Блоке было очень много традиционного, «барского»). Сам Блок был в феврале 1919 года арестован по делу левых эсеров<sup>(45)</sup>. Но не в личном, конечно, было дело. Из дневника Блока мы знаем, что в ноябре 1920 года у художника Браза он «спорил» с венгерским журналистом-коммунистом Холлитчером, который призывал своих русских собеседников «не желать падения этой (т. е. советской — Г. С.) власти». Блок кончает эту запись словами:

В конце вечера я уже не находил возражений, тем более, что сосед мой и хозяин дома все более увлекался собственным красноречием, рисуя отнюдь непривлекательные для меня картины буржуазного мира... Но... во что же у вас верить, дорогой Herr Hollitscher? (46).

Глубокое, последнее разочарование в революции — и вместе что-то пророческое — звучит в дневниковой записи от 18 апреля 1921 года:

Жизнь изменилась (она изменившаяся, но не новая, не новая, вошь победила весь свет, это уже совершившееся дело, и все теперь будет меняться только в другую сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы. (47).

Свою последнюю книгу Блок хотел озаглавить — Черный день.

Но всего более значительна и интересна с точки зрения отношения Блока к революции и к трагедии художника в ней его речь «О назначении поэта», произнесенная в годовщину смерти Пушкина в 1921 году в Пушкинском Доме Академии Наук и дважды затем повторенная. Это — лебединая песнь Блока, после которой он в сущности замолк. Речь эта — приглушенный, но страстный, из души вырвавшийся вопль о сво-

<sup>45)</sup> Подробно об этом см. в речи А. З. Штейнберга на заседании Вольной Философской Ассоциации памяти Блока, напечатанной в сборнике Памяти Александра Блока, П. 1922 (речи А. Белого, Р. Иванова-Разумника и А. З. Штейнберга).

<sup>46)</sup> Дневник... 1917-1921, 184-185.

<sup>47)</sup> Там же, 233.

боде, той «тайной», внутренней свободе, которую пёл Пушкин. Чувствуется, что, говоря о Пушкине, Блок говорит и о себе (48):

Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому, что дышать ему уже нечем.

В этой речи Блок предостерегал чиновников, «которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение», и провозгласил «три простых истины», в которых он предложил «поклониться веселым именем Пушкина»:

«Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того, чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать».

В тот же день, когда он произносил эту речь (29 января-11 февраля 1921 года) Блок записал в альбом Пушкинского Дома свое чудесное (и последнее!) стихотворение «Пушкинскому Дому».

Пушкин! Тайную свободу  
Пели мы вослед тебе!  
Дай нам руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе!

Блок умер, потому что дышать ему уже было нечем. Он задохся в черном, безвоздушном, беззвучном пространстве. Он, музыкальнейший из поэтов, такой чуткий, слышавший в январе 1918 года «шум от крушения старого мира», перестал, как сам говорил Чуковскому, слышать какие-либо звуки. Революция обманула его, как когда-то Прекрасная Дама, обернулась чем-то другим, оказалась оборотнем. Последние месяцы жизни Блока были сплошной агонией. Еще до своей роковой болезни он, видимо, добровольно шел навстречу смерти, хотел ее. По рассказу Э. Голлербаха, в последнее свое пребывание в

---

48) Это отмечает и П. Н. Медведев, один из лучших советских исследователей Блока, в своем этюде «Творческий путь Ал. Блока» в книге Памяти Блока. Сборник материалов под редакцией П. Н. Медведева, Петербург, 1923. См. стр. 213.

Москве весной 1921 года, слушая то, что говорил ему о своих литературных планах Г. И. Чулков, Блок вдруг прервал рассказчика вопросом: «Георгий Иванович, вы хотели бы умереть?» И на ответ Чулкова (не то «нет», не то «не знаю») сказал: «А я очень хочу». Голлербах прибавляет: «Это «хочу» было в нем так сильно, что люди, близко наблюдавшие поэта в последние месяцы его жизни, утверждают, что Блок умер оттого, что хотел умереть»<sup>49</sup>).

...сердце хочет гибели,  
Тайно просится на дно...

Если бы Блок не задохся в 1921 году, он, конечно, не выдержал бы позднейшего полного попраiania «тайной свободы». А может быть, его постигла бы судьба Анны Ахматовой.

**Глеб Струве.**

(Окончание следует)

---

<sup>49</sup>) Э. Голлербах, «Образ Блока». Альманах «Возрождение». М. 1923 (цит. в Судьба Блока, стр. 265-266). Разрядка в последних словах — моя.

## КОСТЕЛ ПАННЫ МАРИИ \*)

Был ноябрь 1944 года. История, приключившаяся со мною в мае, еще не завершилась. Много событий произошло с тех пор: наши войска форсировали в середине лета Буг, вступили в Польшу, овладели предместьем Варшавы — Прагой и заняли плацдарм у Сандомира, на западном берегу Вислы. Мне в этих событиях не нашлось места: как «идеологически чуждого человека» меня исключили не только из состава военных корреспондентов, но и из жизни вообще. Не было никакого формального повода, чтобы судить меня, разжаловать в рядовые или отправить на каторжные работы, в ссылку. Но где же держать меня? А так... где-нибудь... где придется...

Ноябрьской ночью 1944 года я лежу на соломенной подстилке в холодном дощатом бараке. Посередине барака — длинный стол, на столе — артиллерийская гильза, в сплющенное отверстие которой вставлен клочек не то одеяла, не то шинели. Эту гильзу солдаты зовут — «окопная кандылябра». «Кандылябра» горит красноватым дымным пламенем. Ее хватает едва, чтобы осветить стол — изрезанный ножами, залитый ружейным маслом, в сухих хлебных корках и клочках грязной, промасленной пакли. В двух шагах от стола — темнота, и тут, как в пещере, на двухэтажных нарах спят вповалку, прикрывшись шинелями, офицеры-резервисты.

Холодно, — тонкие стены барака не держат тепла. Как шинель ни натягивай, ее не хватает, чтобы накрыться. Натянешь на плечи — стынут ноги, укутаешь ноги — замерзает спина. Люди ворочаются, пристраиваясь один к другому, стараясь согреть свою спину о чужой живот. Нары скрипят, на меня сыплется сверху соломенная труха.

Надо мною лежит человек беспокойный — лейтенант Балун. Все его называют по имени: «Ванька», а натурой он — простяга-парень: льняной висячий чуб, подбритые брови и озорные глаза. К нам в полк офицерского резерва он прибыл

---

\*) Глава из книги «Почему я не возвращаюсь в СССР». См. книгу 15-ую «Нового Журнала».

из штрафной роты — с передовой позиции. Историю, как он попал в штрафники, рассказывает охотно и весело:

— Понимаешь, лето . . . Вышли на Вислу, заняли оборону — стоим. В соседнем полку у меня корешок был, товарищ. Выпросился я у командира — пойти в санбат: сказался, будто косточка из старой раны лезет. Командир посмеялся: знаем, говорит, что у тебя за косточка. Но — отпустил! Иду я по дороге, думаю: прихвачу корешка и зальемся мы к полякам, на веску ихнюю — паненок щупать. А тут, по этой же дороге двуколка едет. «Стой, подвези!» — «Садитесь, товарищ лейтенант!» — Понимаешь, везет солдат ящик вина, консервы, папирсы. — «Ну, дай, говорю ему, пару бутылок! Что, тебе жалко?» — «Оно-бы не жалко, да ящик починать . . . Может, генерал, командир-от дивизии, — ему я везу, — недоволен будет». — «Да он и знать не будет, есть ему дело до твоего ящика!» — «Адъютанту есть дело, адъютант зверь!» — Ну, не дает. Думаю: а ну-ка языком приказа — подействует? Ни в какую: вы, говорит, товарищ лейтенант, приказывать не можете, чтобы я вам генеральское вино отдал . . . — Как это не могу? По уставу — ты устав знаешь? — любой приказ исполняется. Заспорили. Оглянулся я — на дороге никого — и хлопнул из пистолета. За невыполнение приказа. Паненок то мы пощупали, ночь провеселились, а назавтра — погоны с меня долой, разжаловали и — в штрафную роту.

В штрафной роте Балун был смелым, прямо идущим на риск солдатом. Он пробирался в немецкие траншеи, доставал «языков». Осенью ему вернули его лейтенантские звездочки. Теперь в полку резерва он ждет нового назначения в часть. У него поговорка: «Главное — не теряться, товарищи!» В резерве он не теряется: морочит голову интендантам — то получит вторую пару сапог, то новую шинель без сдачи старой, изношенной. Все это тащит в соседнюю деревню, к шинкарю, одноглазому, со сбитым на бок рылом Стефану.

Вот и теперь, минувшим вечером, Балун вернулся от Стефана пьяный. Падая, обрываясь, он все же взобрался на верхние нары, и, уткнувшись лицом в солому, захрапел. От ночного холода он продрог, и я слышу, как в пьяном сне он стучит зубами, ворочается и ругается. Доска надо мною прогнулась, — это он, опершись на локоть, приподнялся и, должно быть, огляделся в темноте, и тотчас упал, провалился в сон.

32-й полк офицерского резерва насчитывает 2000 человек. Есть батальоны, составленные из мальчиков, только что надевших погоны с одной звездочкой: они приехали с Волги или Урала, окончив военные училища — отсюда их разошлют по

действующим частям. У нас в батальоне не мальчики, а солдаты бывалые: или штрафники, или проштрафившиеся. Направо от меня лежит капитан, который побывал в штрафной роте за изнасилование паненки, а налево — лейтенант, служивший в той же Воздушной армии, что и я. Лейтенант потерял оперативные документы, был приговорен Военным трибуналом к 5 годам тюрьмы, но приговор заменили тем, что отправили его из авиации в пехоту. Меня не судили. Со мною — скандальный случай: в Кодексе не подобрать статьи! Но и без суда ничто не мешает держать меня среди этого пестрого штрафного сброда.

Не спится... Зажигаю стеариновый огарок и, приладив его к полочке над головою, принимаюсь читать. На Воьлини, на чердаке, начинал я изучение польского языка. В резерве, пользуясь вынужденным бездельем, я совершенствовал свои познания в области полонистики. Уже изрядно говорил по-польски, напевал костельные хоралы, много читал. Литература польская открывалась мне оваянная романтизмом, рыцарством, духом вольности.

В роте посмеивались, поглядывая на мою полочку с польскими книжками. Польские симпатии — это опять-таки была вольность, явление, начальством недозволенное. В Красной армии, напротив, считалось хорошим тоном — презрительно относиться к Польше. Не потому, что Польша — «изменница славянства», что она носит в себе «отравленное жало латинства», как писали в старину. Красная армия, разгромив минско-бобруйскую группировку немцев, переступила Буг в сознании своей силы, непобедимости. Советский человек, отвыкший от вольности, привык уважать только силу — отсюда и презрение к слабой в военном отношении Польше.

Мне же каждая страница польской истории говорила о силе Польши. Об истинной, непреходящей силе — о вольности, о любви к свободе. При свете стеаринового огарка я с волнением читал гневные страницы Иоахима Лелевеля, демократа, выдающегося польского историка середины XIX века. Лелевель выступал против того, что мы теперь называем «тоталитарным строем». Он звал на борьбу против «установлений, основанных лишь на приказе и послушании». И не одних поляков, но всех славян, в особенности же нас, русских, звал он на эту борьбу, и к нам обращаясь, он провозглашал:

— За вашу и нашу вольность!

Холодно в бараке. Тонкие струйки морозного воздуха проникают в щели. Как парус под ветром, колеблется пламя свечи у меня в изголовьи. И есть что-то парусное, уносящее сердце, в словах, которые я читаю:

— Народ польский чтит героев и мучеников вольности русской, отдает честь им и ставит им памятник, памятник вольности. Вы, русские люди, этот памятник вашим героям поставить не можете, — это вам запрещено . . .

Опять посыпалась сверху соломенная труха. Кто-то слезает с нар. Широкоплечий, необычайного роста, с одутловатым лицом. Тупо, сонно посмотрел на меня, накинул на плечи шинель и, шаркая надетыми на босу ногу сапогами, пошел к двери. Через минуту вернулся, поводя от холода могучими плечами под шинелью. Колкий мороз на улице продрал его.

— Капитан, курить есть? — спросил сиповатым голосом.

В роте все знают, что я не курю, но он — новичек, вчера только прибыл. Приехал в польской форме: длиннополая зеленая шинель с орлеными пуговицами, на голове — четырехугольная конфедератка. Хлопнув конфедераткой по столу, весело крикнул: «Эва, какой конверт мне на голову налепили! Где тут у вас вещевое снабжение? Пойду, скажу — давай нашу русскую шапку!»

— Не куришь? Это плохо . . .

На столе и у печки на полу валялись окурки. Он собрал, размял их, скрутил цыгарку. Прикурил от «кандылябры» и присел на нары, у меня в ногах.

— А ты все это «вшистко-пшистко» учишь. Есть охота . . . Так ты в польское войско иди, — чего тебя здесь держит! А я едва оттуда вырвался.

— Ты что же, поляк?

— Какой там поляк! Украинец. Только фамилия, видишь ли, у меня такая . . . Сви́дерский. А имя Зот, нормальное. Из под Киева я, с Василькова.

— И долго был в Войске Польском?

— Долго, больше года . . . Красная армия на польскую границу еще не вышла, — меня уж забрали в поляки. Когда Андерс ушел, наши стали формировать свою польскую армию. А поляки-то, где они? Ушли с Андерсом, самая малость осталась. Вот и давай собирать таких, как я, — с фамилиями . . . Туда всякие шли, — у нас командир батальона был, так вовсе — Криволапов. Оклад двойной, кормежка крепче и от передовой далеко. Части Красной армии продвинулись, а мы за ними.

— Так чего же там не остался?

— Душа не вытерпела . . . Первое дело — измаялся я без языка. На Волыни пополнение дали — поляки чистокровные. Которые помоложе — по-русски не понимают. Какой из меня командир роты, если я ротой командовать не могу, а все оглядываюсь на переводчика.

— Но ведь вас языку учили.

— Тебе легко сказать — учили! Мне за плохую учебу домашний арест всыпали, с удержанием из зарплаты, — все равно «вшистко-пшистко» в башку не лезет. А главное — молитвы... Еще когда там, в Союзе, были — особенно не принуждали. Пришли в Польшу, тут что ни день — молебен. Публично, при всем народе. Вникни в мое положение: вывел я на молебен роту и я же должен солдатам пример показать — шапку долой и на колени! Первое время, конечно, прикроешь лицо ладошками и смеешься, легко относились — ну, маскарад... А потом противно мне от маскарада стало — до тошноты! Или ты веруй, молись как следует, или — не делай так. Не знаю, что бы со мной вышло далее, только случилось вдруг происшествие, — чуднее не придумать. На молебне как-раз и случилось-то. Походный алтарь раскинули, крест воздвигли, и вот — причащать нас должны. Приехал из Люблина старичок высокоший, — бискуп ихний. Офицеры — первыми к алтарю. Стоим на коленях, и надо рот открыть — он на язык тебе положит такое белое, оплатка называется. Вот моя очередь, — старичок подошел, у меня уж и язык на поларшина с губы свесился, и — как ветром меня подняло, вскочил я и заорал: «Не могу! Не могу!» Старичок отскочил, чуть вазу серебряную не выронил, — так испугался. И все повскакивали, — какой уж тут молебен! Криволапов, командир батальона, бледный такой, говорит: «Дойдет до начальства, я скрыть не смогу, не миновать тебе, Свидерский, штрафной роты». Чтобы в штрафную — до того не дошло, однако. Выставили из Войска Польского, прислали вот сюда. Ну, я и рад...

Свидерский затянулся, обжигая губы, и, бросив догоревшую цыгарку к печке, полез на нары.

— Просись, капитан, в польскую армию, — посоветовал он еще раз. — Раз ты знаешь язык, большое положение можешь занять...

Разговор со Свидерским взволновал меня. В самом деле, я знал, что в Войско Польское набирают советских офицеров. Для большинства из них, не знавших языка и тяготившихся молебнами, это была не служба — каторга. Последнее время шли туда неохотно, — коммунистов брали в порядке «партийной дисциплины». Офицеров в польской армии не хватало. Может быть, меня могли взять туда?

Чем была и чем стала для меня Польша? Была — ничем: до войны, отгороженные китайской стеной от Европы, мы ничего не знали даже о жизни соседки-Польши. Представлялось, — очень туманно, впрочем, — нечто враждебное, противополо-

ложное, антагонистическое. Прежде всего — ближайшее капиталистическое окружение, то, из-за чего мы должны были держать себя «в состоянии мобилизационной готовности». У интеллигенции к этому примешивались славянофильские реминисценции, какие-то воспоминания о том, что *“la Pologne est une modification du slavisme par l'éducation latine, en concurrence au slavisme grec et oriental des tribus danubiennes, de la Moscovie et de la Ruthénie”*.

Война разломала перегородки между народами, — стало видно далеко во все концы света. Многое мы увидели по-другому. На моей дороге легла Польша, и я увидел, сколь прекрасна и родственна эта страна. Поля, холмы, перелески . . . — простой и неказистый, однако, полный прелести пейзаж. Деревенские избы — совсем как у нас в России: белые глинобитные печи, пестрые половички и народ, ласковый, гостеприимный, как нигде в мире. Что в особенности казалось прекрасным — мощные религиозные чувства народа. На протяжении всей моей жизни я видел одно: как в России действовали нигилистические, разрушительные процессы. Польша от них была предохранена, и охранительным оплотом там явилась религия, более крепкая и активная, нежели наша, русская.

Славянство — латинство . . . Православие — католицизм . . . Что мне до этих противоположностей? Догматики я не знал никакой — ни православной, ни католической. Не знал и обрядности. В самом себе чувствовал как-бы разлившуюся и охватившую все существо религиозную стихию. Она была близка простому и непосредственному религиозному чувству народа. Повсюду — в Польше-ли, в России — народ знает Бога, а не догматику богословия. Так же, как на православной Волыни, в католической Польше по воскресеньям крестьянки в ярких нарядных хустечках шли в костел и молились Богу, возвращались домой — светлые, праздничные — и собирали на стол «снадание». Мне было все равно, где молиться — в церкви или в костеле. Неподалеку от лагеря, в котором располагался офицерский резерв, находилась польская деревня Демба, — украдкой я бегал туда в костел. Тихо входил, стараясь не стучать подкованными сапогами по каменному полу, садился на скамейку и, как все, склонялся ниц — лицом на ладони. И долго сидел так, прислушиваясь, как что-то ходило во мне, и не словами, а каждой кровинкой своей молился:

— Вот я весь тут, отдаюсь в руки Твои, Господи Боже мой, наставь меня, научи, что делать, в вере меня укрепи!

Православные обряды, какими видел я их на Волыни, в кафедральном соборе в Луцке, поражали меня эпической вели-

чавостью, веянием древней былинной Руси. В католических молчаливых мессах нет эпоса. Там больше лиризма, углубленности молящегося в самого себя, — этой склоненности ниц, лицом в ладони, когда человек отрешается от земного и переходит в какие-то совсем иные измерения. Это больше соответствовало тогдашнему состоянию моей души. Не думая об «отравленном жале латинства», я отдал свои симпатии католичеству.

В Польше познал я католичество и через католичество познал Польшу. Польская вера\*), в силу ее личного, лирического характера, — чище, активнее, беспримерно пламеннее. Так я коснулся духовных истоков Польши — ее рыцарства, ее романтизма. Каждому народу свойственен свой стиль. «Острый гальский смысл» французов, эмпиризм и прагматизм англичан, «сумрачный гений» германцев... Для поляков нет другого слова — романтизм. Это их стиль, народный темперамент.

Презрение к Польше — характерная психологическая черта советских людей, сидевших десятилетиями за своим забором. Презрение выросло на почве незнания: что там, за забором. Чертополох, крапива... — буржуазная зараза, капиталистические сорняки. Из знания вырастает любовь. Так всей душой полюбил я Польшу. Маленькую, героическую Польшу, имевшую свои светлые годы при Ягеллонах, свою блестящую жизнь при Сигизмунде-Августе, свои упоения славой при Стефане Батории и при Яне Собесском, и раздавленную теперь двумя страшными и предательскими ударами.

1-го сентября 1939 года немцы бросили на Польшу 96 дивизий пехоты, 9 танковых дивизий и 8500 самолетов первой линии. Польша была в окружении: враг наступал из Германии, Восточной Пруссии, Словакии. Истинно-рыцарски отбивались поляки. Они верили — на востоке спокойный тыл. Пусть не помощь, хотя бы стена, о которую — опереться и отражать, отражать удары. 17-го сентября восточная стена рухнула: Красная армия перешагнула границу. Польша очутилась под двойным ударом.

Никто не знает, какой ценой еще придется платить нам, русским, за предательство, преступление против Польши. Наши газеты, не исключая и «Правды», питались тогда кашей Гебельса. По немецким сообщениям, выходило, что Польша сдалась в 18 дней, что «полячишки — никудышные солдаты» и т. д. Клевета удобряла ту почву невежества, на которой произрастал чертополох презрения. Только в Польше, по рас-

---

\*) Позволю себе употребить такое выражение.

скажем, мы узнали о героях Вестерплатте, об армии Клебера, дравшейся у Варшавы до 2 октября. Мне стыдно было перед поляками.

Страна под бременем обид,  
Под игом наглого насилья . . .

Болело сердце за Польшу. И хотелось Польше послужить. «Просись, капитан, в польскую армию . . . » Буду проситься! Уж если надо, чтобы в Войске Польском были советские офицеры, то все же для Польши полезнее, лучше, если они будут такие, как я .

В шесть утра дежурный по роте прокричал «подъем». Опясавшись крест-на-крест ремнями, начистив сапоги, заботливо одернув складки на шинели, — отправился я к командиру полка. Полковник относился ко мне с сочувствием, хотя помочь ничем не мог: офицерами резерва распоряжался отдел кадров штаба фронта. Но разрешить двухдневную поездку в Люблин, в Главный Штаб Войска Польского он был вправе, и он даже увхватился за мою идею, обрадовался, пожелал удачи.

Назавтра я был уже в Люблине. Старинный и несколько грязный, весь в кривых и узких улочках, город этот жил шумной, кипучей жизнью. Временная столица Польши . . . Казалось, пришла вторая слава Люблина. Четыреста лет назад здесь Польша заключала унию с Литвою и вот по этим улицам король Сигизмунд-Август ехал на белом коне из сената в костел, где было пропето “Te Deum laudamus”. Исторические воспоминания ни к чему не ведут: 1944 год не походил на золотой век Сигизмунда-Августа. В наспех сколоченных министерствах временной польской столицы распоряжались советские чиновники. В кабинетах Главного Штаба сидели офицеры Красной Армии, не желавшие даже сменить советский китель на мундир польского покроя.

Когда адъютант «шефа выдзялу персональнёго», т. е. начальника отдела кадров Главного Штаба, отворил передо мною тяжелые и высокие двери, я увидел за столом русского полковника в широких золотых погонах и мерлушковой папахе на бритой голове.

— Чи позволи пан пулковник . . . — начал я было по-польски.

Полковник расхохотался.

— Здорово! Если бы мои офицеры так само балакали . . . Надо взять тебя в польскую армию, капитан! Военная специальность?

— Сапер. Командовал ротой. Был помощником начальника оперативного отдела штаба саперной бригады.

— Боевые характеристики на руках?

Я подал полковнику «личное дело». Разломав сургучные печати, он открыл папку и прочитал первые два листка, — боевые характеристики, полученные мною в 1942 году в саперной бригаде. В них говорилось о моих «командирских навыках», «волевых качествах» и т. д. Увидев приказ о награждении меня орденом, полковник не стал читать «дело» дальше. Последними страницами в «деле» были материалы о моей «чуждой идеологии», но я не стал напоминать о них полковнику. Важно было: вырваться из «штрафного» батальона, а там, может, все образуется как-нибудь . . .

— Хорошо, — сказал, полковник, закрыв папку. — Оставьте «личное дело» у моего адъютанта. А вам — вот . . .

Он вырвал листок из блок-нота и крупно, размашисто написал:

«Тов. Антонюк!

Капитана Корякова, М. М., как знающего польский язык, откомандируйте в мое распоряжение на должность командира саперной роты.

Полковник Крицкий».

— У меня это просто, — улыбнулся Крицкий, подавая листок. — Нам предоставлено право — брать любого офицера из любой части Красной армии. Комплектованию польского войска лично товарищ Сталин придает особенное значение.

Крицкий поднялся. Пожал мне руку.

— Все. Поезжайте в штаб фронта. Тем временем, сегодня-завтра у нас вам подыщут должность. Послезавтра приступите к новой работе.

Из Люблина я ехал в штаб фронта, как говорят, «окрыленный надеждами». Но полковник Антонюк, начальник отдела кадров штаба фронта, обрезал мои крылья. Он прочитал, повертел записку Крицкого в руках, посмотрел на меня и опять на записку . . .

— «Личное дело» он прочитал, этот Крицкий?

— Так точно, читал.

— Странно . . . — произнес полковник, склонив на бок голову. — Чуть подумав, он что-то такое решил: — Но я не могу отпустить вас в польскую армию без санкции Москвы, — вот в чем штука. Он должен в Москву обратиться, Крицкий. В Главное управление кадров Красной армии.

— Не знаю. Он сказал, что ему предоставлено право набирать офицеров непосредственно здесь, на фронте.

— Он сказал... Он сказал... — раздражился полковник. — Вам говорят — без Москвы отпустить не могу. Поезжайте в полк, а Крицкому я позвоню — пусть запрашивает о вас Москву.

— В полку мне, что же, ждать вашего вызова, товарищ полковник.

— Да-а, — протянул он. — Конечно, ждите. Отчего не ждать.

... Прошел месяц. Мы все еще жили в бараках, в сосновом лесу у Вислы. Мимо нашего лагеря, на тот берег Вислы, к Сандомиру, шла пехота, катили пушки, ночами грохотали танковые армады. Полугодовому стоянию войск над Вислой подходил конец. Передавали слухи, что как только Люблинский комитет будет преобразован в официальное польское правительство, наши войска перейдут в наступление. Как всегда перед наступлением, полк офицерского резерва сильно поубавился: и «юнцы», выпускники военных училищ, и «штрафники», и «проштрафившиеся» разъезжались по действующим частям. Уехал Балун, уехал Свицерский... Только мне по-прежнему не находилось места.

Вызова не было. Ни из Люблина, ни из штаба фронта. Пользуясь добрым отношением командира полка, я решил снова съездить к полковнику Крицкому.

На этот раз встреча у Крицкого была не такая любезная.

— Товарищ полковник! — обратился я. — В штабе фронта хотели бы меня отпустить в ваше распоряжение, но считают, что вы должны запросить санкцию Москвы.

— Никто не хочет вас никуда отпустить, — оборвал Крицкий. — Все!

— «Личное дело» позволите получить?

— Спросите у адъютанта. Если «дело» еще не отослали в ваш полк. За ненадобностью...

Не довелось мне послужить Польше! В сумерках шел я по улицам Люблина. Кончался декабрь — был последний день 1944 года. По Краковскому предместью, перед памятником Люблинской унии, проходил с развернутым знаменем полк пехоты, за ним — тоже со знаменем — жидкая манифестация. Открывалась сессия Краевой Рады, — Люблинский комитет преобразовывался в Правительство. По легкому морозцу, сквозь крупный задумчивый снег бежали в разные концы мальчишки-газетчики. Они протяжно кричали: «Жечпосполита», «Глос люду». Распахнулась занавешанная дверь кофейни, — теплый,

ярко освещенной, блещущей громадными никелированными аппаратами, — и на темную, без фонарей, улицу вышли молодые люди в щегольских высоких сапогах и панны, те самые, про которых сказано: «И очи панн чертят смелей свой круг лаекательный и лъстивый». Вечная, даже под бременем обид неумирающая Польша . . .

Новый год . . . Пронзительное и скорбное чувство. Мысль двумя крылами охватывает и то, что было, и то, что будет еще. Волна времени — тысяча девятьсот сорок четвертая — потрепала меня немало. Вот она разобьется сегодня об утес вечности, и меня подхватит другая волна, — будет ли она столь же бурная? В 1944 году мне исполнилось 33 года, — говорят, возраст решающий, переломный. Таинственным и непонятым остается то, что именно в этом году произошел перелом во мне — от религиозного индифферентизма к личной вере. Куда ведет меня новый путь? На какие высоты подымет меня волна времени тысяча девятьсот сорок пятая?

И вслушавшись в предвечный шум  
Потока, мчащегося с дальних,  
Вне мира скрытых гор,  
О завтрашнем не беспокойся дне, —  
Ведь нить его сучит  
На невидимке-самопрялке  
Бог.

Неудержимо потянуло меня — помолиться Богу. В костеле было сумрачно, тихо. Мерцали свечи у алтаря. В боковом приделе, в часовенке, стояла статуя Божьей Матери — в золотой короне на склоненной голове, с Младенцем, радостно воздевавшим руки. По своду ниши тянулась латинская надпись: “*Consolatrix*”. Опустившись на колени и спрятав в ладонях лицо, я попросил утешения мне на новом пути. В душе выросло неоспоримое светлое знание, что неудача моя с поступлением в Войско Польское была проявлением Божьего Промысла, что нить моей жизни, свитая на невидимке-самопрялке, тянется дальше — в другом направлении . . . Приблизился 1945 год. Я встречал его в костеле Панны Марии. Напряженная молитвой душа предчувствовала, что новый год несет мне чудо.

**Михаил Коряков.**

## Ф. И. РОДИЧЕВ И А. Р. ЛЕДНИЦКИЙ \*)

А. Ф. Родичева предоставила для сборника в память А. Р. Ледницкого три письма ее покойного отца Федора Измайловича к Александру Робертовичу. Они драгоценны; но интерес их не в каких-либо новых фактах. Факты общеизвестны и почти все вошли уже в историю. Интерес этих писем в том, что они раскрывают перед всеми исключительное, любовное отношение ветерана Родичева к сравнительно с ним молодому Ледницкому; о силе этого чувства не подозревали многие из их общих близких друзей.

«Благодарю Бога», пишет Родичев в первом письме, что встретил Вас в жизни». А в последнем предсмертном письме: «Жизнь моя сводится к воспоминаниям. Остались живыми светлые фигуры. Вы, Александр Робертович, светите мне из прошлого и будите во мне действительную память об этом прошлом и живое чувство, даже радостное, в настоящем. Не знаю, сумею ли я выразить его».

Но убедительней слов самый факт. Последнее письмо, не то исповедь, не то завещание, полно чисто предсмертной искренности и пронизательности. Родичев писал его несколько месяцев, с напряженным усилием и мучениями. И это заключительное письмо своей жизни он обращает именно к Ледницкому. «Примите, пишет он, эти записки как слабое выражение того чувства к Вам, с которым оно написано».

Было бы нескромно доискиваться причин этой необычной привязанности, если бы она лежала только в области личных симпатий. Она и не была бы тогда интересна. Откуда вырастают личные симпатии? Иногда из сходства, иногда из контраста, а иногда просто из каприза случая. Поэтому они мало что выясняют. Но дружба Ледницкого с Родичевым не из такой кате-

---

\*) Статья эта была написана В. А. Маклаковым еще до войны и предназначалась для сборника в память А. Р. Ледницкого, который должен был выйти в Польше, но из-за войны так и не вышел. Рукопись статьи была передана нам В. А. Ледницким и печатается нами с разрешения автора, как интересная и поучительная страница из истории русско-польских отношений

гории; она покоилась не на личных симпатиях; она выросла из политического единомыслия и из их общей работы над одним заполнявшим их душу и совесть вопросом. Она вся идейна и обоим им делает честь. Переписка вскрывает именно эту сторону дела.

За Родичевым укрепилось почетное, хотя по теперешним взглядам старомодное название — «рыцаря свободы». Название им заслужено. Он был одним из самых ярких образчиков русского либерализма. Защитник всех «униженных и оскорбленных», он естественно был таким же горячим защитником и угнетенных национальностей. Таков был он не один. Борьба против национального угнетения, защита права национальностей на самоопределение стояли в программах всех русских оппозиционных партий. Но в отношении к этому вопросу были оттенки. Для одних наша официальная политика относительно национальностей была только самым уязвимым пунктом правительства, который было возможно «использовать» в борьбе с ним. Для других отвлеченная «доктрина» стояла превыше всего и о практических последствиях ее применения к разноплеменной России не думали. “*Perissent les colonies, plutôt qu’un prince*”, — как говорил когда-то *Varnave*. В подходе Родичева к этому вопросу было нечто другое. Он был искренним патриотом Великой России, как бы сказали теперь — «империалистом». Целость и величие России были для него символом политической веры; и именно поэтому он осуждал политику национального угнетения. Защита права и интересов национальных меньшинств была для него требованием прежде всего русского патриотизма. Он верил в то, что громадная Российская Империя может сохраниться и процветать только тогда, когда правильно разрешит у себя национальный вопрос. Мало того; такое разрешение даст ей такую новую международную силу, при которой ей извне некого будет бояться.

Эти основные идеи были у Родичева очень давно; со студенческой скамьи он пошел сражаться добровольцем за Сербию. Но его настоящее отношение к национальным вопросам, конечно, могло полностью проявиться только с «Освободительным Движением». И тогда перед ним стал самый острый и сложный из этих вопросов — русской-польский вопрос.

Трудно преувеличить значение его в мирозерцании Родичева. Беспрецедентная судьба силой уничтоженного государства, безнадежная и геройская борьба за его восстановление, верность поляков своему прежнему государству покрывала поляков романтическим ореолом, который издавна производил

обаяние не только на таких идеалистов, как Родичев. В своей полноте польский вопрос был, конечно, международным, а не русским вопросом. Но, по мнению Родичева, для России он являлся в особенном свете. Преступление России в эпоху «разделов» было не в том, что она отобрала у поляков свои старые, при этом не чисто польские земли, а в том, что она — славянская страна — отдала «немцам» земли своего славянского брата. Но после разделов был 1815 год. Именно тогда на Венском Конгрессе «раздел» превратили в захват Россией самой сердцевины польского государства, с ее столицей Варшавой. Это был уже новый и худший исторический грех. Но за то с этой поры Россия получила возможность искупить прошлое, сделать благородный жест, для нее самой бесконечно полезный. Она могла в своих пределах восстановить польскую государственность, сделать ее не только пунктом притяжения для австрийских и германских поляков, но настоящим центром славянства и получить этим над Германией и Австрией такой политический перевес, который исключил бы для этих стран возможность столкновения с Россией.

В этом взгляде Родичева, конечно, много романтики, не всегда согласной с историей. Ведь Александр I хотел именно этого: 30-ый и 63-ый годы показали, что такое решение было гораздо сложнее и труднее, чем прежде казалось. Но обстоятельства переменились. В эпоху «Освободительного Движения» эта возможность вновь открывалась. Все этому способствовало. На исторической сцене появились новые поколения, которые единой целостной Польши уже не знали и могли поневоле мириться с тем, с чем их отцы не мирились. Этим молодым поколениям должно было быть ясно, что для борьбы за отделение от России одной русской Польши не было почвы. А с другой стороны, тех фатальных ошибок самодержавия, которые в 30-х и 60-х годах толкали поляков на восстание, при преобразованном строе в России больше не должно было быть. Так Освободительное Движение неизбежно выводило на сцену русско-польский вопрос в новой его постановке.

Естественно, что деятели «Освободительного Движения» пытались прежде всего столкнуться с самими поляками. Начались негласные и сначала даже очень секретные совещания русских и польских политических деятелей сперва в Москве, а потом и в самой Варшаве. Инициатором их в Москве был А. Р. Ледницкий; вероятно именно тогда состоялось знакомство его и Родичева и во всяком случае начало их позднейшей совместной работы.

На предварительных совещаниях этой эпохи польская проблема полностью ставиться не могла. Так она могла быть разрешена только в международном порядке, путем европейской войны; о войне в то время не думали. В то время ставился только русско-польский вопрос, т. е. отношение России к той русской Польше, которую ей дал Венский конгресс. Такая Польша очевидно не могла быть самостоятельным государством. Его бы проглотили соседи. Но зато путем государственной автономии русскую Польшу можно было искренно примирить с Россией. В ней Россия создала бы зародыш польской государственности и, как бы ни повернулись события, обеспечила бы себе этим в будущем прочную дружбу с поляками. Все это с исчерпывающей глубиной и ясностью высказывает Родичев в своих письмах к Ледницкому.

Такова была точка зрения лучшего представителя русского либерализма. Но для поляков этот вопрос был гораздо труднее. Если для России дарованием польской государственной автономии исчерпывалось все, что в тот момент она могла дать, поляков в такое решение, конечно, удовлетворить не могло. У польских работников над русско-польской проблемой была внутренняя трагедия, которой не было у русских. Сейчас это всем ясно. Как можно было для них сочетать полную лояльность к России с несомненным у каждого поляка стремлением к восстановлению «Польши»? На польскую «автономию» они неизбежно смотрели, как на этап к «отделению». Польский сепаратизм был и польским патриотизмом. Надежда на то, что «Польша еще не погибла», составляла истинную польскую силу. Позднее Россия могла отдать должное этому национальному чувству, признав независимость Польши. Но в 1904 году она так смотреть не могла. То, что в 1917 году стало реальностью, что для поляков всегда было «верой», для русских казалось нереальной мечтой. Европейской войны никто не хотел и не ждал. Расчет на нее был вне «реальной» политики, которая стояла в «порядке дня» в это время. В пределах же этой политики можно было со спокойной совестью удовлетвориться частичной русско-польской проблемой и найти в ней почву для соглашения и примирения. Поэтому в целости польский вопрос никем определенно не ставился и оставался как бы в сфере «подсознательного».

Так планы «восстановления Польши» могли порождать только академический обмен мыслей. Этим в то реальное время не занимались. Но за то в пределах актуальной проблемы Ледницкий и Родичев отлично понимали друг друга. Поборник «Великой России», Родичев любил и ценил польский «патриот-

тизм» и для России его не боялся. А польский патриот Ледницкий мог оставаться искренним другом России, ибо в ней видел защитника польской культуры и польского государства от более опасного врага — от германизма. Эти два человека на своем примере показывали, как примирение России и Польши тогда могло быть возможно и просто.

Для истории политических настроений было бы интересно видеть точнее, как в польской душе ставилась тогда эта проблема. К сожалению, в этом вопросе я свидетелем не был. Я не принимал участия в совещаниях, не знал даже интимных мыслей Ледницкого. При наших отношениях это мне самому теперь кажется странным. Но, вспоминая Ледницкого, когда его более нет, я не могу не видеть, что судьба устроила между ним и мною своеобразные отношения. И я позволю себе здесь личное отступление.

Эта судьба совершенно неожиданно поставила меня очень близко к Ледницкому. С 1897 года я был у него записан «помощником» и работал в его кабинете. Часто бывал у него, гащивал в его имении на Днестре в Смоленской губернии, встречался с ним повсюду в Москве. Как финальный аккорд многолетних дружеских отношений, я не забуду, что, когда 12 октября 1917 года ранним пасмурным утром я уезжал (как оказалось навсегда) из России, ехал в Париж послом, что, пока я не переехал границу, Временное Правительство принуждено было скрывать, то тогда, на пустынном Финляндском вокзале, А. Р. Ледницкий, один из немногих посвященных, приехал меня проводить. Но, если судьба нас как будто сближала, то судьба же делала так, что мне никогда не пришлось над чем-нибудь с ним совместно работать, и мы только издали наблюдали друг друга. И может быть поэтому я никогда не мог во всей полноте узнать и ощутить того большого человека, к которому внешне я так близко стоял.

С этой стороны характерно было даже наше знакомство. Я сделался его помощником, не зная его и не подозревая, чем он впоследствии станет. Когда неожиданно для себя самого я решил вступить в адвокатуру, приискание патрона для меня затруднений не представляло. Еще при жизни отца у меня было много связей с различными корифеями адвокатского мира. Так, когда Ф. Плевако узнал, что я готовлюсь к адвокатуру, он не допускал мысли, что я запишусь не у него. Но в Москве был замечательный человек, мировой судья Л. В. Любеньков; я пошел с ним посоветоваться. «Не ходи к знаменитостям», сказал он мне, «у них получишь практику, но ничему не научишься; они завалены делами и им не до помощников;

иди к человеку, который пока не знаменит, но скоро им будет». И он мне назвал незнакомое мне тогда имя Ледницкого. «Он далеко пойдет. Он выступал у нас по средам (по средам Любенков председательствовал в Съезде и потому в этот состав передавались самые сложные дела) и поверь мне, будет большой адвокат». Он сам пошел к Ледницкому просить за меня и через день я был уже у Ледницкого на квартире, на Собачьей Площадке, где позднее жил Д. Н. Шипов и происходило столько исторических заседаний.

Любенков в своем пророчестве оказался прав. Ледницкий быстро выросал в крупнейшую адвокатскую силу. Это происходило на моих глазах. И я оказался его первым официальным помощником.

Я мог бы пройти у Ледницкого хорошую школу гражданского адвоката. Атмосфера его кабинета была здоровой школой для начинающих. Он был адвокат-джентльмен. Безупречная добросовестность, тонкая юридическая изобретательность, при сохранении уважения к праву, образцовая корректность к судьям и товарищам. По натуре он не был «Москвичем», был культурным «европейцем», несколько сдержанным, но внимательным и дружелюбным. Громкий успех не сделал его ни тщеславным, ни гордым; только поставил его выше возможности зависти. Он быстро шел в гору в общем признании. На вечерах в его доме, где собирался цвет московской магистратуры, адвокатуры и интеллигенции, я мог наблюдать, как росла его популярность.

Но совместная моя с ним работа оборвалась в первый же год, совершенно случайно. В Москве слушалось громкое уголовное дело, в котором участвовал и Плевако. Незадолго до заседания он был вызван по другому делу в Баку и своему клиенту вместо себя навязал меня. За недостатком времени клиенту пришлось подчиниться. Но защита прошла так удачно, что мне сделала имя. После нее работать у Ледницкого я уже не успевал. Я стал самостоятельным адвокатом; с Ледницким мы остались друзьями, но его учеником и сотрудником я быть перестал. Так адвокатура сблизила нас на самое короткое время.

Когда началось освободительное движение и Ледницкий сделался инициатором русско-польских переговоров, я еще оставался исключительно адвокатом. Если в этой профессии я подобно другим старался делать общественную и даже политическую работу — то и в этом за пределы рамок профессии я не выходил. Это было одной из причин, почему, несмотря на близость с Ледницким, я никакого отношения к польско-рус-

ским совещаниям не имел и о них просто не знал. Но с результатами этой чужой работы пришлось столкнуться и мне. Одно из писем Родичева напоминает о памятном для меня эпизоде этого времени.

Указ 18 февраля 1905 года вывел политическую деятельность из подполья на свет. Указ, как известно, предложил всем подавать в Совет Министров предложения о реформах. В этом приняла, конечно, участие и московская адвокатура. На ее общем собрании была принята банальная освобожденская резолюция и решено созвать всероссийский съезд в Петербурге для образования «адвокатского союза». Я был выбран в число делегатов на съезд. И вот в Петербурге неожиданно стал перед нами польский вопрос. Организаторам съезда, вероятно, это было известно заранее; но для меня, как и для большинства непосвященных, это было сюрпризом. Прибывшие на съезд польские адвокаты предупредили, что примут участие в Съезде только в том случае, если съезд признает за поляками право на автономию. Русская адвокатура к такому требованию просто не была подготовлена. Люди, относившиеся к польскому вопросу без предубеждений, были все-таки задеты и содержанием и формой ультиматума. Отъезд поляков со съезда был бы, конечно, скандалом; но тем более такая угроза с их стороны казалась насилием. Наконец, она была по существу обидным отказом от общей с нами работы. Не знаю, чем бы это неудовольствие кончилось, но Родичев, как председатель, тогда спас положение. Он открыл собрание приветственной речью, о которой в своем письме вспоминает. Я до сих пор ее помню. Это была первая речь Родичева, которую мне пришлось тогда выслушать. В ней весь Родичев с неотразимой силой его удачных речей. Он поднял вопрос на ту высоту, на которой всякое возражение казалось постыдным; создал настроение, в котором притязания поляков (их докладывал Кошиц, позднее член II-ой Думы) были сразу всеми одобрены. И польская автономия на этом адвокатском съезде экспромтом оказалась принятой хронологически раньше, чем на земских съездах.

Но это было только характерно для неподготовленности и впечатлительности русской интеллигенции. Постановление адвокатского съезда значения не имело. Seriously польский вопрос был впервые поставлен уже на земских съездах: там и сказались настоящие результаты устроенных у Ледницкого совещаний. У польской автономии обнаружились на съезде опасные противники в лице земского «меньшинства» — будущих октябристов. Они были тем сильнее, что существовавшего официального отношения к полякам не защищали.

Они были против национальных ограничений и исключительных мер. Поляки, по их мнению, должны были получить те же права, что и русские. Но не больше; автономия же значила больше. Она давала полякам привилегии перед русскими; а с другой стороны могла стать опасной для целостности русского государства. Эта позиция земского меньшинства казалась вполне благовидной. Против нее и повели борьбу поляки с их друзьями на глазах широкого русского общества. Помню общее ощущение от этих съездов. Я не был их членом, но посещал их усердно. Многие в них мне не нравились и мои симпатии вообще скорее шли к меньшинству. Но в польском вопросе аргументы большинства меня убедили. Фальшь принципа «равного для всех права» была на Съезде блестяще раскрыта. Этот принцип игнорировал факты; и особенность польской культуры, и польское прошлое, и незабываемое еще прежнее польское государство и даже существовавшее польское местное законодательство. Игнорировать это во имя принципа равенства, считать Россию унитарной страной вопреки очевидности было таким же доктринерством, как требование Учредительного Собрания и четыреххвостки. Идея польской автономии для того времени была самой государственной из идей, до которых додумалась наша общественность. И ее создали совместные совещания у Ледницкого. Представители их ее и отстаивали на съездах. Этот бой, в передовых рядах которого были Родичев, Кокошкин, Врублевский, Ледницкий и много других, был боем за правое дело, за полезную для России идею. И это поняло широкое общество. Как правильно вспоминает Родичев в своем письме, эта идея «обывателя» не оттолкнула, как на это рассчитывали. Она оказалась ему совершенно понятной; об этом позднее я мог судить сам во время избирательных кампаний.

На земских съездах я впервые увидел своего бывшего патрона Ледницкого не адвокатом, а в роли политика; мог оценить его темперамент, которому до тех пор не было полного применения в рамках гражданского адвоката. На этих съездах, где выступали лучшие наши политические ораторы, такие чародеи, как Врублевский и Ф. Родичев, он оставался в первом ряду. Но все это я видел лишь со стороны, так как в Земских Съездах не участвовал, а чтобы иметь право слушать, сидел в секретариате с обязанностью записывать прения. Потом была Первая Дума; в ней Ледницкий быстро создал себе громкое имя и блестящее положение. Но и в этой Думе я не был. А когда после ее роспуска Ледницкий вернулся назад в Москву, к адвокатуре, то уже я стал депутатом, а адвокатом в Москве

больше почти не выступал. Так судьба вечно нас разводила и, как я говорил, нам с Ледницким не пришлось ни разу делать вместе общего дела.

Я на этом оканчиваю свое личное отступление; оно поясняет и мой интерес к тем письмам Родичева, которые так характерны для его отношений к Ледницкому. Возвращаюсь к польской проблеме.

Как глубоко Родичев был ею проникнут, показывают и эти письма, и его журнальные статьи, и его знаменитые выступления в Государственной Думе; хочу отметить из писем одну менее известную мелочь. Акт 3-го июня можно было осуждать с разных сторон, не будучи ни поклонником четыреххвостки, ни закона 11 декабря 1905 года. Но характерно для Родичева, что и в этом акте он болезненнее всего воспринял именно удар по полякам, численное уменьшение их представительства.

Так польский вопрос сблизил Ледницкого с Родичевым, а упорная и многолетняя борьба за правильное его разрешение, которое они одинаково понимали, борьба, которую они вместе вели, достаточна, чтобы объяснить себе их прочную дружбу. Но, конечно, нужны были еще последние испытания, чтобы эта дружба сделалась для Родичева той душевною радостью, о которой так красноречиво говорят его письма.

Теперешнюю судьбу русской эмиграции в разных степенях испытывали в се эмиграции. Это не утешение. «Старая штука смерть, говорит Базаров, но всякому внове». Трагедию теперешнего эмигрантского бессилия всякий переносит по-своему; для иных она может даже быть и не трагедией. Родичев в отличие от многих в идеях своих не изверился; он изверился только в людях; но от этого очень страдал. По своей натуре бойца хотя бы за безнадежное дело, он не задумался бы броситься в бой за свою старую веру. Но на это уже не хватало здоровья и физических сил; прежние соратники переходили в другие лагеря; он умирал в одиноком бессилии.

Жизнь жестоко надсмеялась и над заветной мечтой его жизни о польско-русском примирении. Что из него вышло? До самой войны, кроме некоторых искалеченных реформ, которые поляков удовлетворить не могли, все осталось по-прежнему; об «автономии» больше не было речи. А с начала войны спасительная идея польской автономии свое значение потеряла. Война властно поставила, наконец, полностью польский вопрос — о «восстановлении Польши». Россия поторопилась это объявить Манифестом Великого Князя. Но решение, которое Манифест предлагал, было не только не полным, но утопическим. Чтобы восстановленная и объединенная Польша согласилась

остаться автономной частью России, было «нереальной» мыслью. Это еще могло бы быть, может быть, мыслимо, если бы в свое время, до начала войны, по инициативе России была дана автономия русской Польше, если бы она поэтому благодаря России сделалась польским Пьемонтом. Но для этого все должно было быть иначе. Ни до-военная официальная политика России относительно Польши, ни эфемерный опыт нашей военной власти в Галиции, ни отношение к Манифесту Великого Князя во влиятельных официальных кругах не давали почвы для создания подобного настроения в Польше.

Февральская Революция восстановила возможность сближения; Временное Правительство не замедлило признать полную независимость Польши. Родичев с негодованием возражает на инсинуации, будто это решение России было из Европы навязано. Но в сложившейся обстановке и с этим решением было опоздано. Россия фактически из войны уходила. Она объявляла независимость того, что уже потеряла. Воспользоваться этим признанием Польша могла только при победе союзников, а среди них Россия скоро числиться перестала. Она была побеждена и на дальнейшую судьбу Польши больше влиять не могла. Конечно, если бы моральные соображения в политике имели больше значения, можно было бы и не забыть, что крушение России было ее взносом за общую победу союзников, в том числе и за «восстановление Польши». Родичев, как истинный идеалист, верил в справедливость и благодарность не только отдельных людей, но и народов, и надеялся, что восстановлением Польши теперь завершилась та общая борьба за ее освобождение, которая началась когда-то на квартире Ледницкого, продолжалась во время войны и ознаменовалась бесконечным числом безвестных русских могил на территории Польши. Родичев думал, что это искупило прежние вины России и не может забыться, что теперь осуществится мечта его жизни: примирение России и Польши в виде союза и дружбы двух независимых славянских соседей.

Но все пошло иначе. Я не хочу беречь незажившие раны; да никто и не знает, как еще сложатся в будущем отношения. Но факты все же за себя говорят. Для Родичева, с его верой в благородный польский характер, было тяжело увидеть отношение поляков, когда они стали силой, а Россия переживала страшные годы своего унижения, и русские в Польше превратились либо в «национальное меньшинство», либо в беззащитных «бесподданных». Польша прежнего зла не забыла. Он был удивлен и огорчен, но не озлобился. Он знал, что положение меняет людей. Во что превратились «свободолюбивые» герои

подполья, когда стали правительством? И у угнетенной национальности, которая борется за свободу, есть обаяние, которое часто исчезает с ее освобождением. Победа, так же как власть и богатство, безнаказанно не проходят. И потому Родичев больше страдал, чем осуждал, и от надежд на русско-польскую дружбу отказаться не мог. В лице Ледницкого он видел прежнего человека, не только по отношению лично к нему, но и к их общему делу, и продолжал страстно ценить в нем то, что любил когда-то в «угнетенных» поляках.

«Хочу Вам сказать», пишет он в первом письме, «сколько доброго чувства, радостного восхищения (не будем бояться слов) рождается во мне, когда вспоминаю об Вас, восхищения, относящегося к благородным сторонам польского характера: неизменному патриотизму, духу свободы и гуманности. Сколько раз встречая в России поляков, я видел живой патриотизм, скрашивающий самое скромное существование. Благодаря этому патриотизму воскресло польское государство».

Он переживал в воспоминаниях, как они оба пытались примирить Польшу с Россией. Эта благородная цель казалась теперь запачканной и растоптанной. И Родичева в эмиграции озлобленные и изверившиеся люди стали укорять за его всегдашнюю веру в поляков, за защиту их в старые годы; с злорадством указывали на то, как отплатили России за это поляки. А в свою очередь и поляки могли укорять Ледницкого за то, что он был старым другом России, всегдашним сторонником русско-польского примирения. Демагогам восстановленной Польши начала казаться уже изменой Польше та глубокая и верная мысль, которая лежала в основе политики 1905 года. И Родичев волновался, думая о несправедливостях, с которыми у себя дома мог столкнуться Ледницкий. Он торопился их устранить.

«Я считаю в высшей степени важным, чтобы Ваша деятельность по польскому вопросу была правильно оценена . . . Теперь ясно, какое значение возымела Ваша Московская инициатива. Даже и для разъяснения польской мысли, не только русской . . . »

Родичев, и это было его главное страдание, в последние годы в возрождение России не верил. «Легче бы было перенести этот удар,—пишет он про смерть своей жены,—если бы было ощущение возрождавшейся России». В несчастьи люди бывают

несправедливы; взаимное озлобление и обвинения — удел побежденных. Но, если Россия была побеждена и надолго ослабла, и могла быть даже несправедливой в несчастье, то ведь Польша воскресла. Она, по мнению Родичева, должна была испытывать ту радость победы, когда за прежние обиды не мстят. Благородный жест, который требовал Родичев от России, теперь могла сделать уже воскресшая Польша. Родичев с умилением и некоторой завистью смотрел на Ледницкого, который был моложе его, мог в новых условиях продолжать то самое дело, которое они вместе начинали в Москве.

«Храню о Вас (1-ое письмо) светлую и добрую память и верю, что и польское общественное мнение верно оценит значение Вашей деятельности в России на пользу Польши . . . на пользу права».

Родичев и тут остался идеалистом, который не подозревал всего, что таит обратная сторона действительной жизни. Он не подозревал, что придется пережить и Ледницкому, и что его письма к нему будут тем надгробным венком, который он после своей смерти возложит на могилу ненадолго его пережившего соратника и верного друга.

**В. Маклаков.**

# В ДОМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Н.К.В.Д.

## 1. ДЕЛО ХУДОЖНИКА МИХАЙЛОВА

Когда в Ленинграде произошло убийство Кирова, все советские граждане были уверены, что Киров устранен агентом НКВД по предписанию Кремля. И в то же время мы понимали, что это же убийство Кремль использует для своих внутренне-политических махинаций. То-есть, под предлогом «мести за Кирова» расправится со всеми теми группами населения, которых с точки зрения НКВД нужно частично уничтожить, а частично терроризировать.

Эта оценка оказалась правильной. Сразу же после убийства, НКВД начало поиски «врагов народа» там, где оно этого хотело. При чем, как всегда, делалось это посредством самой грубой провокации. Одним из таких «провокационных построений» того времени явилось и дело художника Михайлова, ставшее страшной сенсацией в жизни обеих столиц.

Художнику Михайлову было лет около сорока. Это был одаренный человек, но на его беду он был непролетарского, «скверного» происхождения. Поэтому хода ему не было и он вел тяжелую жизнь «недобитка». После убийства Кирова, чтобы вырваться из своего невыносимого положения, художник решил написать такую картину, которая явилась бы для него, так сказать, паспортом на благонадежность. И он написал маслом большой холст на самую, по его мнению, нужную правительству тему: «Сталин и Ворошилов у гроба Кирова». Картина Михайлову удалась. Разумеется, это не было высокое искусство, но надо признать, что в картине были интересные детали. Главное же — вожди были изображены так, как их требовалось изображать. И увидевшие картину товарищи-художники поздравляли Михайлова с «выходом в люди».

Картина сразу стала широко известна в кругах художественной Москвы. Михайлов выставил ее в Союзе Советских Художников. Ее пришли посмотреть референты по делам искусства при ЦК партии. Очень одобрили. Пришли высокие партийцы. Тоже одобрили. Особенно хвалил картину, близкий к художественным кругам, наркомпрос Бубнов. Михайлов был

открылен и уверен, что наконец-то выйдет из нищеты и неизвестности. Ему объявили, что картина будет репродуцирована и вскоре картину с выставки увезли в помещение ЦК партии для получения разрешения на репродукции.

Все, казалось, шло гладко. Судьба улыбалась Михайлову. Но никто не знал, что как раз в это время в недрах НКВД было решено «прощупать художников», схватить среди них всех ненадежных и подозрительных, одним словом, — по вечному методу НКВД — терроризировать их, создав «процесс». И в частности, взять близкого к художникам наркомпроса Бубнова, на которого НКВД уже давно готовило «удавку».

И вот эта самая картина Михайлова «Сталин и Ворошилов у гроба Кирова», которую видела вся художественная общест-венность Москвы, ложится в основу очередной провокации НКВД.

В один прекрасный день вместо оттисков репродукции своей картины, которых он ждал, партийная ячейка Московского Союза Художников вызывает Михайлова и представляет ему фотографию его картины, на которой к своему столбению Михайлов видит, что фигуры Сталина и Ворошилова обнимает тонко сделанный скелет. Можно представить себе потрясенного Михайлова. Тут же на месте его обвинили в умышленном изображении Сталина в объятиях скелета. А надо сказать, что в это время НКВД крайне настойчиво повсюду искало покушений на «вождя народов».

Через несколько дней потрясенный Михайлов был вызван на допрос в НКВД на Лубянку и с этого допроса никогда не вернулся. Михайлов исчез. Никто не знает, что с ним случилось. Но последствия его «допросов» мгновенно ощутились. В Москве начались аресты среди художников и деятелей искусства. Близкие к НКВД художники, как например, Кацман, уже неистовствовали, громя «притаившихся контр-революционеров и вредителей». И все понимали, если Кацман так выступает, то стало-быть, дело это серьезное. Будучи правой рукой художника Бродского, близкого к головке партии, Кацман был человеком отвратительным и способным на все. Все художники начали шараться от Кацмана и ему подобных, боясь при встрече с ними обронить лишнее слово. Многие в панике бросились уезжать из Москвы, чтобы скрыться «на периферии», в далекой провинции, ибо все понимали, что фотографический трюк с «скелетом», обнимающим Сталина, может любому оговоренному стоить 10 лет концлагеря, а то и жизни. Эта паника еще более усилилась после того, как в газетах мелькнул знаменитый слоган самого «лучезарного отца народов» о том, что

«кое-кому придется дать по зубам». Аресты множились. И вскоре Москву поразил, как громом, арест самого наркомпроса Бубнова. Бубнов исчез в одном из таинственных изоляторов для высоких партийцев, откуда никогда никто не выходит на свободу. Эти изоляторы (которых в СССР имеется два) окутаны полной тайной. О них хорошо знают только Сталин и его приближенные из личного секретариата. По слухам, один из таких изоляторов находился где-то в Белоруссии.

## 2. ДОПРОС НА ЛУБЯНКЕ.

Я хорошо знал Михайлова еще до революции 1917 года. Я прекрасно знал, что ни в чем контр-революционным он никогда замешан не был и никакой политикой не занимался. Но что из этого? Как всякий советский гражданин я тоже знал НКВД. И понимал, что одно упоминание Михайловым моей фамилии на допросе будет достаточным, чтобы я в числе других попал в это «дело». Поэтому (чтобы не готовить «аварийный багаж»: смену белья, мыло, полотенце и немного провизии для тюрьмы) я начал готовиться уехать из Москвы куда-нибудь подальше в провинцию. И я был уже в Воронеже, когда получил телеграфный вызов в Москву: «явиться в Наркомат Внутренних Дел».

Это только советские граждане знают, что значит — вызов в Народный Комиссариат Внутренних Дел. Обычно нас, москвичей, вызывают в Московское Отделение НКВД. И только в особо-важных случаях вызывают в Наркомат. Я понимал, что этот вызов может стать вечной разлукой с любимыми людьми, исчезновением навсегда в каком-нибудь страшном концлагере, истязаниями на допросах и смертью.

В страшное здание Наркомата Внутренних Дел я вошел вечером с Милютинского переулка точно в указанное время. Я вошел в вестибюль. В дверях мне преградили дорогу два рослых энкаведиста, в прекрасных военных шинелях, со скрепленными винтовками. Так они всегда тут стоят.

Я предъявил им пропуск. Винтовки разошлись. И я вошел в преддверие ада. Откуда то появившийся дежурный энкаведист сухо указал мне, на какой этаж и в какую комнату я должен идти.

Я пошел. По этажам здания НКВД я шел совершенно один. Нигде не было ни души. Ни откуда не раздавалось ни звука. Я шел в полной тишине по ковровой дорожке. Но в этой тишине мне казалось, что на меня отовсюду глядят какие-то невидимые

глаза. А тишина казалась мне наполненной кровью, ибо всем известно, что в этом образцово-чистом здании, в этой совершенной тишине — происходят самые чудовищные пытки, самые утонченные допросы людей, повинных лишь в том, что они нужны НКВД для его очередных провокационных махинаций по устрашению подданных советского государства.

На третьем этаже, у комнаты, в которую я был вызван, я остановился и постучал. Изнутри раздался какой-то усталый и в то же время важный женский голос: «Войдите!» Я открыл дверь и очутился в большой строго обставленной комнате. В углу стоял массивный письменный стол черного дерева, вокруг него три черных кожаных тяжелых кресла. Следователь НКВД, немолодая женщина, одетая в черное хорошее платье, возилась, стараясь передвинуть ближе к стене одно из тяжелых кресел. Я тут же вызвался ей помочь. Пододвинул кресло куда она хотела. Она поблагодарила. И сев за стол, вежливо попросила меня сесть напротив.

Сразу мое внимание привлекла справа от следователя настезь открытая дверь в темную соседнюю комнату. Я понял, что это, конечно, не случайность. Может быть, из этой комнаты за мной наблюдают, может быть, оттуда меня сфотографируют, а может быть и просто для устрашения эта дверь открыта в полную темноту. Признаюсь, что эта темнота в соседней комнате оказывала на меня требуемое действие. Что касается устрашающих воздействий на человека, методы НКВД крайне утонченны и разнообразны: от тонких деталей, действующих на психику, до грубых физических пыток.

Женщине-следователю на вид было лет сорок. Умное, усталое и очень холодное лицо. Крепкое тело. Гладкая прическа. Глаза необыкновенно пристальные, профессионально-пристальные. В лице было что-то восточное, но не резкое. Я не мог понять, кто она по национальности: грузинка, украинка, еврейка или армянка?

Она деловито просматривала какие-то бумаги. Потом тихо спросила мою фамилию, имя, отчество, год рождения, местожительство. Сначала началось заполнение анкет моей биографией. О Михайлове пока разговора не было. Следовательница расспрашивала о главных этапах моей жизни. Она начала изда-лека: где я был в 1917 году, что делал? И постепенно довела всю мою биографию до 1933 года. Потом, внезапно остановив на мне свои усталые глаза, она проговорила:

— Вы знали художника Михайлова?

— Знал, — ответил я.

— Где вы с ним встречались?

Я стал рассказывать, что с Михайловым я встречался во Владивостоке, где помог ему достать документы, чтобы бежать от мобилизации в Белую армию на Китайскую полосу отчуждения . . .

На столе лежали какие-то папки. И пока я рассказывал, следовательница иногда брала ту или другую папку и просматривала в них какие-то исписанные листы, явно сверяя мои показания. Я говорил о том, что Михайлов был по натуре настоящим художником и в силу этого не желал участвовать в гражданской войне, его мечтой было только жить и писать, в политике он ничего не понимал . . .

Следовательница слушала меня очень внимательно. Очень холодно, но вежливо она задавала мне вопросы. Я отвечал на них с чудовищным напряжением всей моей пронизательности, всей моей нервной системы, все время стараясь понять, что кроется под этими с виду как бы незначительными вопросами: нет ли в них ловушки и для меня? Вопросы сыпались. Я чувствовал, что лоб мой покрывался потом, ладони вспотели. Когда она записывала мои ответы, я в паузу невольно взглядывал в темноту соседней комнаты.

Допрос длился около двух часов. Было видно, что следовательница прекрасно знает свое ремесло, что в этом кабинете она просидела годы. Но по мере того, как она все продолжала задавать вопросы за вопросами, я на втором часу уже чувствовал, что начинаю терять силы, не будучи уверенным, чем кончится этот вежливый допрос: арестом, переводом к какому-нибудь второму следователю для допроса с пристрастием?

Но вдруг, так же устало она проговорила:

— Хорошо. Вы свободны. Но знайте, что вы не имеете права выезжать из Москвы. Вы можете нам понадобиться.

— Какое же время я должен оставаться в Москве?

— А вы собирались опять уехать в Воронеж?

— Да, собирался.

— Мы вас известим, когда вы можете выехать.

Не скрою своего счастья. Я понимал, что запрещение выехать из Москвы — плохой признак, что может быть через несколько дней я буду снова вызван в НКВД и арестован, но сейчас я был необычайно счастлив, что ухожу домой, что снова увижу жену, что сейчас я свободно пойду по улицам.

Я шел по тем же длинным, скупо освещенным электричеством корридорам, в той же тишине, где не раздается ни звука. Я уже видел перед собой дверь и двух рослых часовых. Но в тот момент, когда я приблизился к ним, они в упор глядя на меня не развели скрещенных винтовок и один проговорил:

— Поднимитесь опять на третий этаж в ту же комнату!

Вот тут я похолодел. Стало-быть, это ловушка и я отсюда уже не выйду, пронеслось у меня в голове. Я попробовал сказать, что следователь меня отпустил. Но часовой повторил ту же самую фразу уже гораздо внушительней. Мне ничего не оставалось, как повиноваться. И я снова пошел по тем же корридорам в той же тишине поднимаясь из этажа в этаж, не встречая на пути никого и чувствуя, что эта страшная машина террора работает без перебоя.

Я постучал у той же двери. И тот же усталый голос изнутри мне ответил: «Войдите!» Я отворил дверь. Следовательница сидела за столом, что-то пиша. Не поднимая головы, она проговорила:

— Вы забыли свой шарфик, — и рукой указала на вешалку.

Действительно, мой старенький зеленый шарфик висел на вешалке. Я поблагодарил, схватил его и вышел в дверь. Она меня не останавливала. «Стало-быть, действительно — шарфик, ловушки нет», думал я, и чувствовал, что покрываюсь холодным потом. Теперь я еще быстрее спешил по ковровой дорожке корридора. Вот передо мной и часовые, они разомкнули скрещенные винтовки и пропускают меня. И вот я уже на улице и невольно полной грудью вдыхаю воздух. Я счастлив. Я, слава Богу, еще не сгинул, как бедняга Михайлов.

### 3. БЕГСТВО ИЗ МОСКВЫ.

Только в 1936 году я получил от НКВД разрешение на выезд из Москвы. Большинство моих товарищей были уже, кто в Крыму, кто на Кавказе, кто в Сибири, некоторые жили там под своими фамилиями, другие скрывались под чужими, чтоб по случайности не получить «по зубам» от Сталина.

На этот раз из Москвы я выехал на Урал. Но спокойствия не было и здесь. Как от брошенного камня волны террора из Москвы расходились уже по всей стране. По всей России начался страшный массовый террор — террор Ежова, захватывавший все новые и новые категории советских граждан. Теперь опасность быть арестованным для меня усиливалась еще тем, что террор особенно остро направлялся против всех людей «инострального происхождения», то-есть всех, носящих иностранную фамилию: немецкую, французскую, польскую, английскую, итальянскую, скандинавскую, венгерскую, греческую, финскую, какую угодно. Это было «мероприятие по обороне социалистической родины».

Я чувствовал, что легко могу попасть в категорию этих «уничтожаемых» и после первых же массовых арестов на Урале бросился в другой угол России, на Кавказ. Боже мой! Сколько людей, так же как я, металось тогда по всей стране, в надежде хоть как-нибудь замять следы, хоть как-нибудь скрыться, хоть на время затеряться и не попасть в очередную, намеченную НКВД «катогорию уничтожаемых»! И сколько людей сейчас мечутся так же по этому гигантскому концлагерю, называемому СССР!

С женой и ребенком я поселился на Кавказе, в небольшом домике в Кисловодске, на окраине города. Здесь, чтоб хоть как-нибудь забыться, я начал писать цикл пейзажей Северного Кавказа. А по всей стране все шире раскатывались волны самого страшного за всю революцию террора, когда не спала буквально вся Россия, ожидая арестов.

#### 4. В ДПЗ НКВД.

Моя очередь пришла. Помню, я возвращался домой поздним вечером. Энкаведисты пришли раньше меня и, оставшись ждать в саду, спрятались за деревьями. Лишь только я подошел к дому, навстречу мне вышли несколько вооруженных человек. И какой-то высокий энкаведист, с револьвером в руках, проговорил:

— Вы арестованы!

Меня ввели в дом. Произвели тщательный обыск всей квартиры. Ничего предосудительного не нашли. Но все-таки забрали письма и почему-то маленькую карту из путеводителя по СССР. Я считал, что обыск сошел хорошо. Обыска я боялся потому, что, как все советские граждане, знал к каким грубым методам провокации прибегает НКВД. Я знал многие случаи, когда, производя такие обыски, энкаведисты тут-же клали в стол или под кровать принесенную ими же книгу Троцкого или какой-нибудь еще более «компрометирующий материал» и, составив соответствующий протокол, увозили людей в НКВД.

Мне дали проститься с женой и ребенком и вывели из квартиры. Шел сильный дождь. Меня вели молча, один энкаведист справа, другой слева, в форме милиционера. Темнота. Еле можно видеть куда ступает нога. Мы шли довольно долго. Я насквозь промок от дождя. О чем я думал? Вероятно, о том же, о чем думали миллионы ни в чем неповинных людей, попавших в лапы НКВД: о том, что жизнь кончена, если не от пули в затылок в подвале НКВД, то в каком-нибудь далеком сибирском конц-

лагере от непосильного труда и голода. Но во всех нас, советских гражданах, за тридцать лет страшного пресса террористической диктатуры выработалась и жестокая сопротивляемость. И пока я шел, в мозгу неслись мысли о том, чтоб не сдать при истязаниях, чтоб не подписать на себя обвинения, которое слишком быстро загнало бы меня на тот свет. Я знал, что меня, как каждого, будут обвинять в чем-нибудь совершенно фантастическом. И решил, что моя тактика на допросах должна состоять в том, чтобы во-первых держаться возможно тверже (энкаведисты не любят интеллигентов-нытиков и, не уважая их, кончают с ними очень быстро); во-вторых я решил, что если я не выдержу пыток, то подписывать на себя надо именно самые фантастические обвинения, а не какие-нибудь небольшие и короткие. Это выгоднее потому, что тогда ваше дело может-быть пойдет в ревтрибунал, где понадобится, может-быть, дополнительное «следствие» и какие-нибудь дополнительные «документы» и вообще произойдет значительная оттяжка. Тогда как если я подпишу «короткое обвинение», то меня тут же в НКВД будет «судить» тройка\*) в «отсутствии обвиняемого», и я с необычайной легкостью получу все, что этой тройке вздумается: от пули в затылок до десяти лет концлагеря.

Окруженный энкаведистами я вошел в здание милиции, через него мы прошли во внутренний двор, где помещался заново выстроенный бетонный корпус кисловодской тюрьмы НКВД, как везде в СССР скромно называющийся ДПЗ (т. е. Дом Предварительного Заключение). Была глубокая ночь. Меня ввели в приемную, где горела сильная электрическая лампа и за столом что-то писал молодой энкаведист в форме сержанта войск Государственной Безопасности. Тут меня тщательно обыскали, отняв решительно все: носовой платок, папиросы, спички. И тут же предупредили, что заключенные в ДПЗ не имеют права говорить, не имеют права ходить, что я в камере должен все время сидеть на одном месте, держа руки на коленях.

— Иди за мной, — бормотнул энкаведист. И я пошел за ним по длинному корридору. У одной камеры он остановился, с каким-то чудовищным лязгом на всю тюрьму отодвинул громадный заржавелый засов. И, открыв дверь, втолкнул меня в камеру.

---

\*) Тройка обычно должна состоять из начальника НКВД, начальника милиции и прокурра, но на практике прокурор почти никогда не бывает.

Ощупью я нашел койку и прилег на нее. По дыханию находившихся в камере людей я понял, что они не спят. Вероятно, проснулись от лязга засова. Но ни они меня, ни я их ни о чем не спросил: ДПЗ НКВД — тюрьма особая, в ней даже заключенные друг другу не доверяют.

Только когда рассвело я разглядел своих сотоварищей. Один был совершенно седой, страшно исхудавший человек лет шестидесяти. Лицо его было в обвисших складках, что говорило о том, что когда то он был толст. Это был мой самый близкий сосед по койке. Он шепотом мне представился: Козев, бывший с.-р. И таким же шепотом отрекомендовался ему я. Козев оказался человеком очень культурным и симпатичным, в ДПЗ он сидел уже давно. Другой заключенный оказался молодым крестьянином из немецкой колонии, по профессии поваром. Об остальных четырех я ничего не узнал: Все заключенные были в ужасном виде: худоба их была потрясающая, лица изсиня бледные, скулы обтянулись и у всех какие-то потухшие глаза. Было ясно, что люди эти давно уж томятся в ДПЗ. Но говорил со мной, вернее, шептал только один Козев. Остальные глядели на меня совершенно безразлично.

В углу камеры стояла «параша», испускавшая удушливую вонь. Единственное окно было почти у потолка, так что заключенные при всем своем желании не могли в него ничего увидеть, да к тому же это окно выходило в тюремный корridor.

Тюремная несвобода особенно тяжела в первые дни. Две ночи я не мог заснуть и два дня не мог притронуться к тюремной пище — «баланде» с небольшим куском черствого черного хлеба, которые давали два раза в день.

Единственным счастьем была прогулка, на нее выводили утром и вечером по пять минут. Под зорким присмотром двух вооруженных энкаведистов, под страхом наказания за малейший разговор друг с другом, мы могли сделать несколько кругов по внутреннему двору тюрьмы.

## 5. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НКВД ЗАХАРЧЕНКО.

В 11 часов ночи в ДПЗ дежурный энкаведист играет отбой. По всему ДПЗ раздается резкий свисток. И все заключенные должны немедленно же лечь на койки: спите вы или не спите, но вы должны «изображать спящего». И в 11 же часов ночи начинаются неистовые скрипы засовов: это выводят на допросы, ибо днем никого не допрашивают, допросы идут только ночью.

Мне думается, что пронзительный звук этих отодвигаемых

засовов сохраняется тюремщиками нарочно. Этот ржавый скрип действует на нервы заключенных невыносимо. От него все вздрагивают и бледнеют, ибо каждый знает, что с ним связана пытка, а может-быть и смерть.

Меня вывели на допрос на пятый день заключения. Как полагается по дьявольскому регламенту ДПЗ, вошедший за мной энкаведист не выкрикнул мою фамилию. Это тоже одно из бьющих по нервам правил НКВД. Выводной крикнул как должно: — Кто на букву «Ш»?!

Вскочив по-солдатски, заключенный должен громко назвать свою фамилию. Я так и сделал.

— На допрос, — пробормотал выводной.

И мы пошли по корридорам тюрьмы, вышли на улицу, перешли ее, вошли в противоположное здание НКВД и поднялись на второй этаж. Здесь выводной постучал в одну из дверей и ввел меня в ярко освещенную электрической лампой небольшую комнату.

За хорошим письменным столом сидел человек лет 28, брюнет, в форме лейтенанта войск Государственной Безопасности, похожий на кавказца, с злым и жестоким лицом. Это был уполномоченный НКВД Захарченко, известный заключенным своей жестокостью при допросах. Он сидел в глубоком кресле. Поодаль от стола стоял шкаф с небольшим зеркалом. А над письменным столом, конечно, висел портрет Сталина в красках.

Некоторое время, роясь в бумагах, Захарченко не смотрел на меня. Наконец взглянул и сразу же истошно закричал:

— Садись!

Я сел перед письменным столом. Захарченко односложно спрашивал мое имя, отчество, фамилию, записывал на каком-то большом листе. Потом подняв на меня свое жестокое лицо, хрипло пробормотал:

— С какими вредительскими целями ты сюда приехал?

— Ни с какими, — проговорил я и совершенно против моей воли у меня вырвался мне самому незнакомый нервный полусмех.

— Что ржешь как лошадь? — дико закричал Захарченко, ударив кулаком по столу. По его искаженному лицу я понял в одно мгновение, что этот человек в своей жестокости может быть страшен.

— Ты знай, контр-революционный гад, что я тебя здесь допрашиваю и я же тебя здесь расстреляю — с расстановкой, не сводя с меня глаз проговорил Захарченко.

— Я приехал на Кавказ без всяких вредительских целей,

— сказал я, стараясь взять себя в руки. — Я вредительством не занимался.

Захарченко остановил на мне свои полумертвые глаза грязного цвета, словно вонзая их в меня. Я приготовился к самому худшему. Но совершенно не ожидал того, что произошло. Не спуская с меня взгляда, Захарченко вдруг разразился потоком самой омерзительной матерной брани. Надо сказать, что матерная брань в самых уродливых выражениях висит в советской тюрьме с утра до вечера. Эту брань он закончил диким криком: — Назад в камеру!

Идя за выводным через темную улицу, я несколько раз полными легкими вдохнул свежий ночной воздух, словно стараясь унести его побольше в свою вонючую камеру. Мои со товарищи по камере делали вид, что спят. Но когда я лег, через несколько минут тишины услышал шепот Козева: «Ну, что?» Я прошептал ему в ответ все случившееся на допросе. «Не удивляйтесь, это у них с и с т е м а, с этого всегда начинается, у них все тут высчитано, как в аду. Теперь они возьмут вас дня через три».

## 6. ДОПРОСЫ-ПЫТКИ.

Козев был прав. На третью ночь, так же после отбоя, опять завязжал засов нашей камеры. Мы все вздрогнули: кого? Полутемная фигура крикнула:

— Кто тут на букву «Ш»?!

Я выкрикнул свою фамилию.

— На допрос, — бормотнул конвойный. И я пошел опять за ним, как тогда через здание милиции, через улицу, в противоположное здание НКВД. Он ввел меня в ту же комнату, где под портретом Сталина около стола стоял, покуривая папиросу, Захарченко.

Несколько мгновений он меня молча рассматривал, словно примеривался: что со мной сделать? Потом хрипло произнес:

— Ну, что ж . . . твою мать, будешь признаваться с какими вредительскими заданиями приехал на Северный Кавказ?

Я повторил, что вредительством никогда не занимался, что приехал на Кавказ чтоб работать, как художник.

— Ах, так? усмехнулся, затягиваясь папиросой, Захарченко, — по твоей специальности? А зачем ты скрывал, гад, что ты нерусского происхождения. Сволочь . . . — и опять поток невероятнейших ругательств.

— Я никогда не скрывал, что я нерусского происхождения.

Еще в 1926 году в Москве я подавал об этом заявление в Управление Милиции и просил меня, как человека французского происхождения, выпустить во Францию.

Этого Захарченко, вероятно, не ожидал. На мгновение он замолчал, будто что-то соображая. Потом произнес со злобой:

— Стало быть ты хочешь, чтоб тебя, гада, я выпустил во Францию? Так? Ну, постой, я тебе тут покажу Францию...

В этот момент в комнату вошел энкаведист громаднейшего роста, лоб в два пальца, звериное лицо и тупые больные глаза. Это был даже не человек, а какая-то разъевшаяся туша, в блестящей форме старшего лейтенанта войск Государственной Безопасности. Обрюзгший, безобразно разжиревший заместитель начальника Кисловодского НКВД — Безруков был наиболее жуткой фигурой ДПЗ. В прошлом он был маляр.

Безруков уставился на меня и вдруг закричал что было сил: — Встань, сволочь, смирно, так растак твою мать!!!

Надо сказать, что этот дикий крик всегда является начальным методом устрашения при допросах. Я встал, как приказывал Безруков. А он, наступая на меня и прижимая меня в угол, не сводя с меня дикого взгляда и поднося к моему лицу кулак, не проговорил, а как-то театрально прохрипел:

— Я здесь такую пададь, как ты, собираю...

И вдруг с страшной силой Безруков ударил меня кулаком в печень. Удар был настолько силен, что я от боли не удержался на ногах. Но быстрым движением Безруков тут же схватил меня за волосы и загнул мне голову так, что у меня захрустели позвонки и от совершенно чудовищной боли я упал на пол...

Когда я поднялся, Безруков не глядя на меня вышел в соседнюю комнату. Мы остались глаз на глаз с Захарченко. Потому, что он не предлагал мне сесть, я понимал, что дело мое плохо.

— Что ж ты так и не сознаешься, гад? — проговорил Захарченко, подходя ко мне с угрожающим видом.

Я молчал.

— Что ты с немцем рос? Не понимаешь что спрашиваю? Какую вредительскую работу делал? Говори! — кричал он, наступая на меня. И вдруг с размаху ударил меня кулаком в зубы. Изо рта хлынула кровь, я почувствовал, что он мне выбил зубы. И почти теряя сознание, я повалился на пол. Испуская невероятные ругательства, Захарченко стал бить меня ногами. Я старался только закрыть лицо руками, чтоб он не выбил мне глаза. Изо рта текла кровь, все тело ныло от острой боли. Я не знаю, сколько времени это продолжалось.

С ругательствами, тяжело переводя дыхание, Захарченко отошел от меня. Подняться с полу я не мог.

Захарченко вышел из кабинета. Я продолжал лежать. Через какое-то время я услышал приближающиеся шаги, в кабинет вошли Захарченко, Безруков и с ними новые следователи Гурджиев, Загарьян, Левин.

— Вставай, гад, — закричал Захарченко.

Я с трудом поднялся на ноги. Я еле держался, из заднего прохода текла кровь. Все энкаведисты подошли вплотную ко мне. Я никогда не забуду выражений их лиц: это были звериные лица садистов.

— Скажешь, каким вредительством занимался? — пробормотал Захарченко и, схватив меня, толкнул к зеркальному шкафу. — Погляди на себя в зеркало, сволочь! Я тебя еще не так испестрю!

Я умышленно отвел глаза от зеркала. Но едва я успел их отвести, как Безруков нанес новый удар в лицо и, схватив меня за бороду, вырвал кусок бороды. Кто-то из следователей захохотал. Они начали бить меня все. Я потерял сознание.

Я не могу описать этого самого страшного избиения. Оно длилось с 11 часов ночи до 5 утра. На жаргоне энкаведистов это называлось «обмочивать рожь», «пропускать по конвейеру». Когда один из них уставал, приходил другой, били поочередно, каждый столько сколько мог. И каждый требовал одного, чтоб я рассказал с какими вредительскими целями я приехал на Северный Кавказ, подсказывая мне, что я немецкий агент, французский шпион, польский диверсант и что я скрываю свое иностранное происхождение. Так меня «пропустили по конвейеру» до пяти утра. К тому ж меня не только били. Когда я приходил в себя, Захарченко несколько раз ставил меня к стене и, разорвав на мне рубаху, начинал колоть булавкой грудь. Это была страшная боль. После Захарченко Безруков бил меня по лицу стопой жумаги, ее острым краем режа мне щеки. Это один из мучительнейших и распространенных способов пытки в НКВД. Иногда мне казалось, что я этих избиений не выдержу и я готов был вот-вот начать «признания» и подписать, что они хотели. Но ненависть к ним и сознание, что своим признанием я только ускорю свой конец, давали мне силы сопротивляться.

В пять утра, весь окровавленный, я стоял в углу комнаты, лицом к стене, как мне приказали. Вошел Захарченко. Я приготовился к новым пыткам. Но он крикнул в коридор выводного и приказал ему:

— Спустишь в карцер гада... его мать... там он у нас поживет во Франции...

Грубым движением конвойный вытолкнул меня в дверь и повел по лестнице вниз. Я еле-еле мог двигаться. Мы спустились в подвал. В слабом освещении одной электрической лампы, в полутемноте, конвойный подталкивал меня. Потом отпер одну из дверей и втолкнул в карцер.

## 7. КАРЦЕР.

Пол карцера был покрыт пальца на два водой. Я не мог стоять. У меня не было сил. Я прислонился к стене. И как только шаги энкаведиста замолкли, я опустился на колени. Ноги сразу намокли, но мне было все равно, полуприслонившись в угол лицом я стоял на коленях. Тело ныло от боли, я чувствовал чудовишную слабость, меня сковывал сон. И несмотря на воду я лег на пол и уснул.

Сколько я проспал? Может быть несколько часов, может быть несколько секунд. Я вскочил от удара ногой в бок и от грубого окрика часового: «Встань, сволочь, турок! Не знаешь, что в карцере спать не полагается! А то спущу тебя этажем ниже, там не поспишь!»

С трудом я поднялся на ноги. Когда часовой с ругательствами вышел, я прислонился лицом в угол и так, еле держась на ногах, оставался стоять весь остаток ночи.

В этом карцере я провел четыре дня. Едой был кусок хлеба и кружка воды в день. Я необыкновенно ослабел. Но самым страшным был все-таки не голод, не боли во всем теле от избиений, а то, что на второй день у меня резкой болью заболели глаза. Я думал, что я ослепну...

## 8. ПЯТЬ СУТОК НА СТУЛЕ.

Была поздняя ночь. Часовой ввел меня в кабинет Захарченко. После темноты карцера электричество, показалось мне ослепительным, глаза страшно болели. Стоя перед столом, я невольно взглянул на себя в зеркало шкафа и сам не узнал себя, до того я был избит, изможден, а костюм на мне был превращен в лохмотья.

— Садись! — крикнул Захарченко.

Я сел.

— Товарищ следователь, — проговорил я, — вы можете делать со мной все что хотите, но я прошу вас об одном, пере-

ведите меня из карцера, я художник, глаза для меня все, а от карцера я слепну.

Захарченко глядел на меня в упор.

— Все? — переспросил он. — Бандит ты... твою мать, ты с этого стула не сойдешь у меня неделю, месяц, два месяца, пока не признаешься во всех своих преступлениях против советской власти.

И допрос начался. Я его никогда не забуду. Следователи менялись: Захарченко, Лызлов, Левин, Загарьян, Гурджиев. И опять Захарченко, Лызлов, Левин... Прошел день, ночь, опять день, и опять ночь. Они все тут же на моих глазах ели, пили и допрашивали все о том же: каким вредительством я занимался на Северном Кавказе?

На второй день мне подали еду: какое-то невероятно соленое мясо. Хотя меня и без того мучила жажда, я мясо съел и попросил воды. Но пить мне не дали. Об этом старом чекистском методе — пытка жаждой — я давно слышал еще на воле.

От сидения на стуле мои ноги распухли, в ногах началась режущая боль, на третьи сутки сквозь рваные ботинки уже выступила кровь. А меня все допрашивали, с ругательствами, угрозами, криками, все о том же. Когда я просил вывести меня в уборную, приходил выводной и выводил меня и снова приводил и я снова садился на тот же стул. И снова слышал те же нелепые, ни с чем несообразные обвинения, о которых теми же зверскими голосами кричали следователи.

На четвертые сутки я уже не мог отвечать, я засыпал. И каждый раз меня пробуждал стук следователя карандашом по столу. Прошло много лет, но до сих пор мои нервы не выдерживают стука карандашом по столу, а тогда этот стук раздавался в моих ушах, как ужас, как кошмар.

На четвертые сутки у меня начались галлюцинации, я уже не различал яви от какого-то страшного бреда и полусна. Все предметы в комнате для меня стали живыми. Мне казалось, что чернильница начала бегать по столу следователя, шкаф с зеркалом исчезал из комнаты. За ним стена куда-то проламывалась. А лица следователей проплывали где-то очень далеко.

В таком, уже явно ненормальном, состоянии я вдруг услышал тот же голос Захарченко:

— Курить хочешь?

— Хочу.

— Подпиши, — проговорил он, расталкивая меня и кладя передо мной на стол листов двадцать моих «признаний» в существовавших преступлениях. Но требование подписать при-

вело меня снова в себя. Ведь только с этим «подписать» я и боролся пять суток на этом стуле.

— Подпиши, гад, вредитель! — заревел над моим ухом Захарченко.

— Хочу прочесть, — пробормотал я.

— Что?! Не веришь, гадина? Забыл, где сидишь? Советской власти не доверяешь?! — и с потоком омерзительной ругани Захарченко бросил передо мной исписанные листы. — Читай!

Я начал читать. Но я не понимал ничего. Помню, как в тумане, что обвинение касалось каких-то вагонов, которые я в Сибири передавал каким-то агентам японской разведки. Мелькали какие-то несуществовавшие для меня города, какие-то совершенно неизвестные мне фамилии. Ноги мои раздулись как колоды, я чувствовал в ногах страшную боль. На полу около ботинок натекла кровь. Отодвинув листы, я проговорил:

— У меня болят ноги так, что я сейчас начну кричать... я не могу...

Я первый раз просидел пять суток на стуле. Но Захарченко был опытен. Перед ним на этом стуле так сидели сотни, быть-может тысячи человек. Он знал, что этот момент обязательно наступает. Что под конец, от боли в ногах всякий человек начинает кричать, как мучимое животное. Он вызвал часового и сказал:

— Отведи во вторую уборную!

Часовой тоже без всякого удивления повел меня куда-то. Он знал, куда водить пытаемых таким образом. Каждую ночь он водил их в эту уборную. В уборной часовой отвернул водопроводный кран и наполнил водой большое цементное углубление.

— Опускай ноги! — проговорил он.

Я опустил. Боль в ногах несколько утишилась. Так я продержал ноги в воде минут с десять и часовой повел меня назад к Захарченко. Я был в полном изнеможении. От усталости я почти падал. И это состояние пытаемого Захарченко, конечно, тоже хорошо знал.

В его кабинете стояли два следователя: Лызлов и Загарьян. Я увидел в их руках наганы. Оба они на меня смотрели испытующе. Лызлов проговорил выводному:

— Пора кончать микстуру. Спускай его в подвал!

«Расстрел», подумал я. Но я был в таком состоянии, что меня даже как-то не испугал и «расстрел». Мне хотелось одного, чтоб поскорей кончились пытки, чтоб поскорей наступило хоть какое-угодно, но состояние покоя.

## 9. Я ПОДПИСЫВАЮ ОБВИНЕНИЯ.

С трудом я спускался за выводным энкаведистом. Электрическим фонарем он освещал ступеньки темной лестницы. За мной с револьверами в руках шли Лызлов и Загарьян.

В подвале на меня пахло сыростью, плесенью. Выводной повернул выключатель. И тускло вспыхнуло электричество.

— Становись к стенке, гад! — крикнул Лызлов.

Конвойный грубо толкнул меня в направлении стены. «Конец» — подумал я. И встал, опершись о стену руками, сжавшись в ожидании выстрела. Прошла минута, две, пять. Я слышал, как следователи ругали меня «гадом», «контриком»; «вредителем», «диверсантом». Потом кто-то подошел совсем вплотную. Я услышал, как подошедший взводит курок нагана. В каком-то тумане передо мной пронесся образ жены. И тут же раздался грубый окрик.

— Повернись, гад!

Я повернулся. Следователи стояли передо мной.

— На, подпиши, — закричал Лызлов, протягивая несколько исписанных на пишущей машинке листов. Я падал от изнеможения. Мне казалось, что я почти не живу, что расстрел произойдет каждую минуту, что всякое сопротивление уже ненужно, хотелось только одного, чтоб они поскорей кончали. Я взял листы. Это были те же листы фантастического обвинения. Лызлов стал мне диктовать, что я должен писать. Я писал почти не соображая, что я пишу. Когда я подписал, Лызлов, указывая на лестницу, закричал: — «Наверх!»

Шатаясь, я стал подниматься, я хотел одного: или чтоб убили или чтоб дали заснуть, но только чтоб наступило наконец состояние покоя. Впереди шел тот же рослый энкаведист в ярко начищенных сапогах и блеск этих голенищ причинял мне физическую боль.

Следователи вместе со мной вошли в кабинет. Захарченко, зевая, сидел за столом. Он нас ждал. По своему опыту он, вероятно, знал, что человек в моем состоянии обязательно подпишет в подвале все, что требуется. По моему виду он тоже, вероятно, понял, что я не способен уже даже отвечать.

— Спать хочешь, сволочь? — проговорил он утвердительно. — Ложись вот тут, гад! пробормотал он, указывая на пол около стола. Возможность лечь? Вот это, действительно, милосердие! Я тут же опустился на пол, где он указал. У стола лежала какая-то стопка книг. На одной книге я увидел заглавие «История танцев» Худякова. Я знал эту книгу. Раз она попала сюда, стало-быть и она стала «контр-революционной».

— Товарищ следователь, разрешите взять книгу под голову, — попросил я.

— И без книги хорош будешь.

Я лег без книги. Когда я проснулся, я ничего не мог сообщить: на мне тяжело стояли чьи-то ноги в ярко начищенных тугих сапогах. Когда я заворочался, следователь снял с меня ноги. Я увидел — это Захарченко. Я понял, что из предосторожности у энкаведистов так уж заведено: дабы пытаемый, притворившись спящим и потом быстро вскочив, не совершил чего-нибудь непредвиденного, следователь на него ставит ноги, а на столе лежит всегдашний револьвер.

Увидев, что я проснулся, Захарченко позвал часового:

— В одиночку! — бросил он.

## 10. ПЫТКА ТИШИНОЙ.

Из одиночки меня не вызывали на допрос больше трех месяцев. По размеру камера была очень мала: два метра на два. Но в ней стояли две постеленные койки. Этим я был совершенно поражен: койки были, как в хорошей гостинице, с простынями, одеялом и подушкой. Почему эта камера была так обставлена — для меня это так и осталось тайной. Но что в этой одиночке было настоящей пыткой, это — гробовая тишина. Тишина была такая, что становилось страшно. Уже через месяц мне хотелось громко говорить, кричать, чтоб только услышать хотя бы свой голос. Но ни кричать, ни говорить, ни даже пройтись по камере заключенный в ДПЗ НКВД не имеет права. Из коридора в глазок за мной неотступно следил часовой-энкаведист. И я был предупрежден, что за малейшее нарушение предписанных порядков мне грозит вместо одиночки — темный холодный карцер.

По правилам ДПЗ я должен был сидеть целый день на койке, положив руки на колени. Именно в таком виде меня должен был видеть в глазок часовой. И я сидел, с закрытыми глазами. О чем я думал? Мне было трудно думать. Голод, бессонные ночи, боль во всем теле от истязаний — и физически, и душевно я был истощен до крайности. У меня были выбиты зубы. Очень болели распухшие ноги. Но, конечно, я все-таки о чем-то думал, хоть мысли мои и были похожи на фантастическую галиматью.

То я думал о том, что неужто меж социализмом Маркса и французских утопистов, книги которых я читал в своей юности, существует прямая связь вот с этим ДПЗ НКВД и с пулей в

затылок? Стало-быть от Сен-Симона прямая линия ведет к Безрукову? Но эти мысли проходили мельком. Чаще в голове неслись картины какой-то м о е й м е с т и (и мести мне подобных), которая когда-то обязательно настанет. Мне рисовались картины каких-то массовых казней всех этих палачей, по всей России ежедневно пытающих и убивающих миллионы людей. Раньше я никогда не испытывал этой жажды м е с т и, но сейчас бездвижно сидя на койке, мне казалось, что весь мой мозг, все мое тело наполнялось одной жаждой о т о м с т и т ь п а л а ч а м. Я никогда не был религиозен. Но тут как-то странно и обрывочно я думал и о Боге. Мне было непереносимо непонятно одновременное существование Бога и ДПЗ. Иногда передо мной мелькал портрет Сталина над столом следователя и ненависть к этому человеку была чем-то физически осязаемым. Если б я мог перегрызть ему горло, я бы это сделал так же, как миллионы других пытаемых. Но как все заключенные ДПЗ НКВД я был уверен, что из этой тюрьмы живым я никогда не выйду. И вот тогда я представлял лицо жены, ее руки, ее фигуру и вместе с ней своего маленького пухлого мальчика...

На втором месяце одиночного заключения у меня начались слуховые галлюцинации. Мне стало казаться, что в камере раздаются какие-то шепоты, какие-то ползущие ко мне звуки. Эти звуки причиняли мне боль в ушах. Тишина, которую я так любил на воле, здесь в тюрьме стала моей пыткой. Эта звенящая тишина болезненно разрывала уши.

Вскоре я начал терять ощущение времени. Мне начало казаться, что я сижу тут не месяцы, а годы, десятилетия, вечность, меня начал мучить страх, что меня тут «забудут», что я останусь тут навеки. Мне казалось, что я не перенесу этой звенящей тишины.

## 11. ТОВАРИЩ ШТЕЙН.

И вдруг среди ночи раздался сильный шум многих голосов и многих ног по корридору. Шум приблизился к моей камере. «Выведут меня?» — думал я, когда мучительно громко в двери заскрипел засов и дверь широко распахнулась. В электрическом свете, блеснувшем из корридора, я увидел какого-то хорошо одетого человека. Его втолкнули ко мне и дверь захлопнулась и также невыносимо для нервов заскрипел ржавый засов.

Втолкнутый человек был одет в прекрасное кожаное пальто. Человек был крепкий, широкоплечий, с богатой шевелюрой мелковьющихся волос, по типу еврей. Он разглядывал меня,

как мне показалось, с интересом. Потом он сел на койку, прошептал:

— Ну, как, товарищ?

Я боялся говорить. Я думал, что мне подбросили «наседку». Но черный человек ближе наклонился ко мне, проговорив:

— Курить хочешь?

Он протянул папиросу, которую я с необыкновенным удовольствием закурил, пряча в рукаве своего пиджака. А неожиданный гость продолжал шептать, он расспрашивал: как тут в тюрьме?

— Тяжело, — сказал я.

— Бьют? — прошептал он и в голосе его я почувствовал страх. Я промолчал. Но он понял мое молчание, вздохнул и что-то пробормотал. После папиросы он вытащил из какого-то свертка кусок белого хлеба, колбасу, ломал и то, и другое и протягивал мне. Я не понимал: что это за заключенный? Но темный человек видно не мог спать, так же как не мог спать и я первые две ночи. Он все шептал, то спрашивая меня, то рассказывая о себе. Я узнал, что это крупный партиец с Волги по фамилии Штейн. Его шепот раздавался в моих ушах как гром, причиняя мне и физическую боль, и радость присутствия живого человека.

На утро крупный партиец Штейн повел себя в камере крайне свободно. Не соблюдая никаких правил, он ходил по камере. Напрасно на него несколько раз кричал энкаведист. Штейн не обращал на его крики никакого внимания. И вскоре энкаведист перестал кричать, оставив его в покое. Этому неожиданному товарищу по заключению я был рад, тем более, что его привилегированность облегчила и мое существование. Он давал мне колбасы, хлеба, табаку. Но только две ночи перешептывались мы с Штейном, на третью — заскрипел засов и вошедший энкаведист проговорил, обращаясь к Штейну: — «С вещами!»

Тот быстро собрался, оставив мне куски хлеба и кивнув головой вышел за энкаведистом. Через несколько дней по разговору часовых на пятиминутной прогулке я догадался, что Штейна на самолете отправили в Москву.

## 12. МЫШЬ.

В одиночке у меня шла та же жизнь, если это состояние можно назвать жизнью. Те же слуховые галлюцинации, та же в мозгу несущаяся философская галиматья, те же невыносимые

мысли о том, что будет делать без меня жена и что будет с моим ребенком. Но, конечно, самым страшным все-таки было сознание полной беспомощности и того, что меня уничтожают только потому, что такого-то числа, на таком-то секретном заседании Сталина с головкой НКВД, за таким-то номером «слушали и постановили»: такая-то (имя рек) категория советских граждан к такому-то сроку должна быть уничтожена. И вот я, одна из единиц этой категории, уничтожаюсь в Кисловодском ДПЗ, так же как сотни тысяч других таких же единиц этой категории уничтожаются в других ДПЗ НКВД, которыми столь обильна страна Советов.

Согласно постановлению НКВД, эта категория людей подлежащих уничтожению называется «остатки старой интеллигенции и лица иностранного происхождения». Уничтожают ее на всякий случай, «в предвидении войны с странами капиталистического окружения». Уничтожают массово, безжалостно. И, в сущности, уничтожают совершенно зря, ибо все эти интеллигентные люди с польскими, немецкими, французскими и другими фамилиями ничем не отличаются от лиц с фамилиями славянскими, еврейскими, грузинскими, татарскими. Но протокол секретного кремлевского заседания за номером таким-то существует. И нас уничтожают. Этапы уничтожения людей этой категории будут таковы: голод и пытки в ДПЗ НКВД. Если единицы этой категории таким способом не уничтожатся, то дальнейшим этапом уничтожения будет: голод и непосильный труд на «советской стройке» с применением в некоторых случаях и расстрела. Тут вся категория уничтожится наверняка, как уже по решению той же власти уничтожены многие русские люди: бывшая буржуазия, бывшая интеллигенция, бывшая аристократия, бывшие белые, бывшие священники, бывшие нэпманы, бывшие кустари, бывшие кулаки и подкулачники, бывшие троцкисты, бывшие социалисты, ненадежные иностранные коммунисты, оппозиционеры левые, оппозиционеры правые и пр. Уничтожение всех этих категорий идет с мудрой планомерностью. Это, конечно, давно уж не «классовая» борьба. Тут проводится кремлевской олигархией и уничтожение всего, что может еще возвышаться над убогим уровнем сталинизма. Тут есть план и духовного снижения нации, дабы приучить остатки ее к слепому рабскому повиновению кремлевской олигархии. Это духовное уничтожение и есть судьба русского народа. Только здесь в Европе я прочел статью писателя Бердяева, предлагающего эту судьбу «пережить». Стоило для этого быть и христианином и философом? Я жалею,

что оставшийся в Европе Бердяев по настоящему не пережил нашу русскую судьбу...

В тишине камеры это был почти неслышимый шорох. В нормальной жизни я его, конечно, не услышал бы. Но при страшном обострении слуха я сразу повернулся в его сторону. И моей радости не было границ. Из угла из-под центрального отопления (которое, конечно, не действовало), почти на середину камеры выбежала маленькая серая мышь. Остановившись, она глядела на меня. Боясь ее спугнуть, я глядел на нее, как на друга. Мышь двинулась еще ближе ко мне. Я собрал хлебные крошки и тихо бросил их на пол. Мышь испуганно метнулась назад под отопление. Я сидел не шевелясь. Вскоре она опять вышла из-под отопления и с легкими остановками стала перебегать в направлении крошек. Я был счастлив. Я затаил дыхание. Мне хотелось приучить ее приходить ко мне, с ней подружиться, чтоб она начала есть мои хлебные крошки. Я знаю, что люди в тюрьмах становятся сантиментальными, что привязываются даже к тем редким вещам, которые остаются с ними — кружка, иголка. За три месяца, кроме неизвестного Штейна, в моей камере не было ни одного живого существа.

На следующий день я насыпал крошки тонкой полосой от отопления до койки. Пределом моего счастья было приручить мышь так, чтоб она меня совсем не боялась и подходила вплотную, чтоб я выучил ее есть с руки.

Во второй раз мышь появилась так же неожиданно в то же самое время. Я замер, боясь ее спугнуть. Но мышь словно осмелела. Теперь грызя хлебные крошки она приближалась ко мне. На третий день я ждал ее уже с волнением: придет или не придет? Общение с мышью стало для меня необходимостью и счастьем тюремного существования. Я всегда ждал ее, волнуясь. И она приходила ко мне каждый день всегда в одно и то же время. Мы не только познакомились, мы подружились. Я уже узнал ее вкусы, она не ела свежих хлебных крошек, она любила совершенно сухие. И я готовил ей крошки именно по ее вкусу. За это и она проявляла ко мне все больше доверия. Она подбегала уже почти что вплотную ко мне, ела крошки у самых моих ног. И только не позволяла, чтоб я взял ее в руки. Как только — шепча ей всяческие ласковые слова — я пытался к ней протянуть руку, она, не веря мне до конца, отбегала, останавливаясь посредине камеры, но потом снова начинала, грызя крошки, приближаться ко мне совсем близко.

Кто не сидел в тюрьме и может-быть именно в ДПЗ НКВД, тот вряд ли поймет, каким счастьем была для меня эта серая

маленькая мышь. Теперь прошло уже много времени, а я не только не могу убить никакой мыши, но когда другие хотят убить мышь, я их останавливаю. За дружбу той серой советской мыши, делившей со мной и тоску, и страх заключения в ДПЗ НКВД, я на всю свою жизнь решил отплатить мышам дружбой.

**Морис Шаблэ.**

**(Окончание следует).**

# ИГОРЬ ПЛАТОНОВИЧ ДЕМИДОВ

## (ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ)

Игорь Платонович Демидов, — видный земец, кадет, член Гос. Думы, а в эмиграции помощник редактора «Последних Новостей» — скончавшийся в прошлом году в Париже, был прямым потомком Никиты Антуфьева, знаменитого тульского кузнеца.

От Никиты, сына Демида Григорьевича, обжалованного царем Петром, пошел большой и богатый род, расколовшийся впоследствии на две ветви. Земли и заводы сосредоточились в руках младшей линии, прикупившей к отечественным владениям небольшое княжество Священной Римской Империи и известной с тех пор как Демидовы князя Сан-Донато. А у старшей линии, обездоленной чудачком-прадедом, которому стоит памятник во Флоренции, оставалось ко времени рождения И. П. небольшое имение в Нижегородской губернии. Отец, Платон Александрович, был судебным деятелем, а мать дочерью В. И. Даля, русского ученого из датчан, известного составителя «Толкового словаря живого великорусского языка». Вырос И. П. на Волге, в кругу традиций Великих Реформ, с одной стороны, научных и литературных интересов, с другой. Образование он получил в Демидовском лицее, основанном его прадедом в Ярославле, а затем уехал в Москву на историко-филологический факультет.

В Москве случилось нечто, подробностей чего я не знаю. Внутренний духовный кризис едва не заставил И. П. покинуть университет. Он внезапно решил принять монашество и отправился в Оптину Пустынь просить благословения у старцев. От станции по дороге к монастырю он шел подавленный, смятенный, как бы «ощупью бредя сквозь погруженный в лесную тьму мир на свет горевшей впереди свечки». Оптина Пустынь охватила душу покоем. Нельзя ли остаться? Студент умолял со слезами. Старец выслушал его, ласково обнял и сказал: «Рано жизни зарекаешься, а она вокруг тебя полна благодати... раскрой глаза и смотри! Вот я и благословляю тебя через эту самую тьму на обратный путь». Только впоследствии, говорил

И. П., он понял глубину этих слов. Но из хибарки старца он вышел успокоенный, просветленный. Садясь обратно в московский поезд, он, по его словам, чувствовал, будто «въезжал в новый и преображенный мир», и сам как бы рождался для новой жизни. Москва была иным городом, когда он вернулся.

Студенческий порядок остался, конечно, прежний. Но возникла цель. Существование получило смысл. Вкус к отвлеченным наукам пропал. Интерес и воля сосредоточились на общественной деятельности. Но не на абстрактном человеке, внушающем мировую скорбь, а на живой человеческой личности. Это дало тон всей дальнейшей жизни И. П., и навсегда определило отношение к людям. Убежденно, последовательно, он ставил человека выше дела. Может показаться странным, как при таком взгляде он вообще мог стать «общественным деятелем». В И. П. это не вызывало противоречий.

Женившись на Екатерине Юрьевне Новосильцевой, он поселился в имении невдалеке от Сарова и занялся земской деятельностью. Жизнь связалась с Темниковским уездом Тамбовской губернии. В уезде его полюбили и оценили. Сначала предводитель дворянства и председатель земской управы, он затем избирается в Государственную Думу. Но И. П. также хорошо знали и любили в Москве. Через тестя, Ю. А. Новосильцева, в доме которого у Никитских ворот рождалась партия Народной Свободы, он рано вошел в политическую среду. Кадеты избирают его в Ц. К., а «Русские Ведомости» членом редакционного совета. Прочная связь с Москвой не прекращается и после переезда в Петербург.

В общих собраниях Думы И. П. выступал редко. Он не любил «безликой аудитории» и говорить с ней не умел. Его работа сосредоточилась в комиссиях. Там его деятельность скоро приобрела особенный характер. Вряд ли кто-либо в Петербурге в то время пользовался таким личным доверием справа и слева, на административных верхах и в общественных низах. Это выдвинуло И. П. на трудную роль посредника между фракциями с одной стороны, между комиссиями и правительством, с другой. В Думе было много людей, которых враги уважали. А И. П., кроме того, любили. В политической обстановке, близкой то к истерике, то к открытой войне, ему удавалось добиваться практических результатов там, где всякий другой терпел бы поражения. Вероятно потому, что никакая обстановка не заслоняла от него человека, и это двигало дело. В земстве и в Думе, а позднее в публицистике, деятельность И. П. продолжала носить отпечаток, наложенный на нее переломом в студенческие годы.

С началом войны И. П. организовал передовой санитарный отряд Государственной Думы, во главе которого стала Е. Ю. Демидова, его жена — замечательная русская женщина, оставившая о себе неизгладимую память среди всех, кто ее знал. Бесстрашная работа отряда, его отличная организация снискали обоим широкую популярность среди воинских частей. Исполняя одновременно обязанности уполномоченного Всероссийского Земского Союза, И. П. сблизился с многими военачальниками, в частности с ген. М. В. Алексеевым. Не много нужно было видеть на фронте, чтобы стать печальником и заступником за армию перед Думой и правительством. И. П. слился с армией в этой задаче. Ему в немалой степени Россия обязана тем единением и взаимным доверием, которое обнаружилось между Думой и высшим командованием армии в первые дни февральского переворота.

Политика в чистом смысле, однако, мало увлекала И. П. Борьба за политические права народа есть лишь часть борьбы за человеческую свободу. Судьбу страны И. П. не отделял от судьбы человека. Заняв во Временном Правительстве на короткое время пост товарища министра земледелия, он при первой возможности возвращается на фронт. Подлинный человек был среди тех, кто «отдавал жизнь за други своя», и надо было быть с ними. Эта связь не прекратилась с октябрьской революцией. Вместе с Н. Н. Щепкиным, Н. И. Астровым и другими, И. П. создает подпольный «Всероссийский национальный центр» помощи добровольческим армиям, руководит его работой в Киеве и доводит ее с опасностью для жизни до освобождения Киева в 1919 году. Политика юга приводит его в ужас. Он спешит в Ростов на борьбу с «правыми кадетами», влекущими дело к гибели. В Ростове он терпит неудачу. Его идеи признаются несвоевременными и опасными.

В то время позиция Пилсудского беспокоила юг России. Варшава не принимала послов ген. Деникина, и ее намерения были темны. В Ростове решили использовать личные отношения И. П. с польскими патриотами, и предложили ему возглавить «общественную делегацию» Всероссийского национального центра для установления связи с общественными кругами в Польше. Задача была подготовить решение русско-польского вопроса ко времени победы над большевиками, хотя в то время добровольческие войска уже отступали от Орла и потеряли Курск. В декабре 1919 года И. П. и пишущий эти строки выехали в составе делегации в Польшу. К тому времени, как они добрались до Праги, правительство ген. Деникина перестало существовать. Делегация не сочла возможным сотрудничать с

ген. Врангелем. Делать в Крыму ей было нечего, и возвращаться некуда. Наоборот, широкое и полезное поле деятельности, казалось, существовало за границей.

И. П. обосновался в Париже, где ликвидировались дела Русского Общества Пароходства и Торговли, членом правления которого он состоял. Всецело разделяя точку зрения П. Н. Милюкова на необходимость «новой тактики», И. П. принял деятельное участие в организации республиканско-демократического объединения (РДО) и одновременно вошел в конспиративный «Центр Действия», созданный Н. В. Чайковским для внутренней революционной работы в России. С переходом газеты «Последние Новости в руки р.-д. группы партии Народной Свободы он занял в ней место помощника редактора. В этой должности, постоянно заменяя Милюкова в руководстве газетой, И. П. оставался до нашествия немцев. Его личное влияние выходило далеко за пределы газеты. Особенно важную роль оно сыграло в период зарубежной церковной смуты. Митр. Евлогий, с которым его связывала глубокая дружба, многим был обязан ему, и церковь отдала ему должное.

«Последние Новости» закрылись накануне занятия Парижа немцами, в июне 1940. Редакция эвакуировалась на юг Франции. Очутившись в Аркашоне среди друзей, но далеко от семьи, И. П. тяжело заболел. Немцы оккупировали все побережье. Едва оправившись, И. П. вернулся в Париж, в семью сына, и снова слег: на пять с лишним лет. В прошлом году, 20 октября, он скончался. Тело его погребено на кладбище Батиньол в общей могиле с женой.

\*  
\*\*

С И. П. было прожито много лет в одних стенах, под одной кровлей, одной семьей. Жизнь и работа не разделялись. В течение двадцати лет мы делали то же дело. Он был старшим, я — младшим. Братом, другом, сотрудником? Какое нам дело, скажет читатель. Личное горе, как ни тяжела потеря, неуместно в печати.

Бывают случаи, однако, когда в личном есть общее. Не все личное единично, как и не все «общественное» бывает общим. Общественное тогда становится общим, когда оно лично важно для каждого. Таким достоянием могут быть вещи, идеи, им может быть и чужая личность. Ее значение не исчерпывается общественной пользой, оно выше и глубже. Все таки рассказывать об этом трудно. Как отделить лично важное от

общественно важного? Вспоминая об И. П., не я один испытываю это затруднение.

Разумеется, И. П. был общественным деятелем в классическом смысле. Список его заслуг внушительен. В его лице, как уже было отмечено, «русская интеллигенция потеряла одного из лучших своих представителей». Это верно, но плоско, как газетный лист. В очень важном, хотя и трудно определимом, смысле «русская интеллигенция» потеряла единственного своего представителя. Всякая человеческая личность неповторяема. Но общественный человек обыкновенно представляет собой известный тип. В этом смысле И. П. составлял поразительное исключение. Его ни в какую категорию не уложишь. Практическое дело он делал скорее плохо. Он не творил истории ни в партии, ни в Думе. Его имени нет в Британской энциклопедии и не будет в учебниках. Его прекрасные статьи не вызывали бурных чувств, хотя вряд ли кто в «Последних Новостях» получал столько откликов от читателей. Его выдвигали на первые места, а он неизменно отставлял свой стул куданибудь во второй ряд. Новички иногда недоумевали: «не понимаю, что Демидов тут делает?» Он и правда, как будто, ничего не делал. Но когда он уходил или отсутствовал, что-то исключительно важное, словами невыразимое, выпадало из общественного предприятия. Каждый ощущал потерю, хотя и не мог определить ее ясно. В русском Париже это должны были особенно остро ощутить после освобождения, когда Демидова не оказалось на том месте, где его привыкли видеть. Шесть лет о нем не слыхали. Но Александро-Невский собор был переполнен в день похорон. Писали тогда, что в храме не запомнят такого проникновенного отпевания, такой общей любви и печали. Не только потерю, понесенную «русской интеллигенцией», оплакивал в тот день русский Париж, а свою собственную, у каждого было чувство личного горя. Общественных деятелей редко так хоронят.

Что создало такое отношение к нему? За гробом шли люди, не разделявшие его политических взглядов. Среди них были многие, кто едва знал И. П. лично. Иные имели основание быть недовольными им. Некоторые, вероятно, вполне искренно считали его одним из виновников своих несчастий. Присутствие их в храме и на кладбище было странно. Очевидно, И. П. был близок им не тем, что он совершил, а чем-то другим, более значительным.

Многим, вероятно, это трудно понять. Мы потеряли способность отличать человека от профессии, не умеем отделить его даже от случайного поступка. *Man is worth what he does,*

and not what he is. В нашем обществе важно быть хорошим инженером, хорошим писателем, хорошим шоффером, хорошим профессором. Просто хороший человек ценится меньше. Да и совсем не ценится. Если его душа возвышена, это касается его одного. Но если он искусный врач, это касается всех. Ведь так это и у нас было — «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Обратная сторона этой медали в том, что ныне стремятся не к личному совершенству, а к общественному положению и всякого другого рассматривают прежде всего в общественном положении. Мы полны забот о мире всего мира, а личность даже церковью забыта. Дела заслоняют человека от других и от себя самого. Вряд ли когда-либо человек бывал так одинок. Помню короткую, всех удивившую статью П. Н. Милюкова в «Последних Новостях» о том, что у политического лидера собственная личность вытесняется той, которая навязывается ему историей, и как мало в этом радости и справедливости. Жалоба была неожиданна в устах человека, о котором с легкой руки Родичева пошла легенда, будто он подавил в себе личные чувства. Он, как будто, и сам устыдился. Когда с ним заговорили о статье, он отшутился:

— За нее Игорь Платонович отвечает...

И. П., правда, был виноват. Статья появилась после беседы за стаканом чая у Милюковых. Многие вспомнят, как и от них И. П. убирал заслонку. Такая свобода, обретенная хоть на миг, не забывается. Шутка-ли, вернуть человека самому себе!

И. П. делал это незаметно, без правил и поучений, не ослепляя собственным примером, не надрывая голоса. Он действовал, не убеждая, а согревая. Ему в голову не приходило когонибудь — даже собственных сыновей — поучать, наставлять. На редакторском месте он чувствовал себя неуютно, не любил писать передовиц. Вообще он даже не старался, а просто был, как все. Мог выпить рюмку водки, любил хороший табак, с увлечением пел на клиросе. Был замечательным товарищем, любил веселую компанию, и сам был отличным рассказчиком. Он радостно вбирал в себя жизнь с ее противоречиями и ударами, во всей полноте, как будто и правда она была вокруг него полна благодати. Годы приближались уже к 70, но попрежнему вспыхивала юношеская живость, детская шутка, заразительный смех. На первый взгляд его главным отличием от других и были эта глубокая, осмысленная жизнерадостность — любовь к Божьему миру — да поразительная внешность: стройный, хрупкий, темный, как индус, с короткой густой бородой, со светлыми огромными глазами, пугавшими из под мохнатых

бровей. Он бывал ленив в работе, но всегда жив в беседе, мог быть резок, когда речь шла о деле, нетерпелив, мог терять самообладание. Но в глазах вдруг загорелся голубой свет, и человек чувствовал, что он дороже Демидову всякого дела. Это создавало вокруг него совершенно особую атмосферу. Сотрудничество перестраивалось на какую-то иную основу, становилось не только общественно нужным. Возникало личное, не отделяясь от общего. Дело получало новую неуловимую легкость и полноту, и Демидов был тут, как будто, не причем. Но никто не обманывался. Влияние И. П. обращалось к тому, что связывает людей вопреки им самим шире и глубже, нежели только общественные цели, и выходило за круг единомышленников.

Вряд ли другой политический и церковный деятель в эмиграции мог состоять в дружбе с А. Ф. Керенским и графом В. Н. Коковцевым, с генералом Н. Н. Головиным, митрополитом Евлогием, сионистом Жаботинским и младороссом Шевичем, католиками, социалистами, раввинами и анархистами — с людьми, которые имени друг друга слышать не могли — и в то же время пользоваться неограниченным доверием своей партийной группы и враждебных ей лиц. В атмосфере политического и идейного сектантства это было необыкновенное зрелище. Как могли спускать ему это? Вероятно, потому, что человек сознает, хотя и не смеет признаться, что он не только общественное животное. И. П. не допускал условного отношения к людям. Никакой поступок не мог умалить в его глазах человека, которого он разглядел и узнал, а стремился он узнать каждого, и от других требовал такого же отношения к ближним. Он принадлежал к тому необыкновенному в наше время типу деятелей, у которых личное и общественное не смешивается, но и не разделяется. При внешней мягкости и уступчивости в этой цельности была поразительная сила. Она овладевала без сопротивления, покоряла без усилия. Значение ее выходило за пределы личного и общественного.

В чем была тайна этой мудрости, я не знаю. Но всякий, кто соприкасался с И. П., обнаруживал нечто от нее в себе самом. Это укрепляло связь. О работе закладывалось воспоминание, дорогое на всю жизнь. Я не ошибусь, если скажу, что в кадетской партии и в газете, во всем русском Париже, а в прошлом, наверное, и в земской управе и в Думе, И. П. значил для каждого больше, чем для всех вместе, как бы ни был велик при том его общий вклад.



«Вот уж пятый год, как я постепенно и неуклонно превращаюсь в почти неподвижного калеку», — писал И. П. вскоре после освобождения Парижа. — «Перейти из моей комнаты в столовую — это для меня большой труд, после которого я дышу «как паровоз» в течение четырех-пяти минут. Нечего и говорить, что я нигде не бываю и никуда не выхожу. . . . На лето меня перевозят в деревню месяца на три в автомобиле, — что называется, от подъезда к подъезду. . . . я теперь каждый день поднимаюсь со своего логова и сажусь в кресло и — как видите — могу писать. Сколько напишу и когда кончу, я не знаю. . . . на душе так много, а сил куда меньше».

Болезнь была определена, как бронхиальная астма, — «не столько опасная для жизни, сколько минутами мучительная. . . . сверх припадков удушья вообще сильнейшая одышка при движении, а иногда даже при простом разговоре». Однако, физический недуг не был так велик, чтобы приковать человека на пять лет к постели. Врачи недоумевали. Сердце было надежно, давление крови нормально, органы работали исправно. Но больной месяцами не выходил из своей комнаты, не имел сил даже сесть в кресло, часто отказывался от пищи. Слабость приписывали психическим причинам, отсутствию воли к движению, к действию.

Очевидно, так и было. Общество, для которого он жил, распалось. Люди, которых он знал, рассыпались. Иные же переменились так, что не узнать. Будь И. П. моложе, он нашел бы себе место и в этом новом мире. Но уж не было сил: «я устал», писал он, «и минутами мне трудно жить; вот и лежу в своем углу со своими мыслями, а жизнь идет чередом». Он отошел «от текущих событий, перестал жить периодической печатью, журналами, и повседневным матерьялом». Посещения его утомляли, вызывали припадки удушья. То не был вообще отказ от жизни. Наоборот, мысль оживлялась, астма исчезала при встрече с друзьями из потерянного мира. Незадолго перед смертью И. П. его навестила М. С. Цетлина: «это был один из его лучших дней», писал об этом его сын, «они много говорили, и через нее папа в последний раз соприкоснулся с дорогим и близким ему миром, уехавшим в Америку; он был очень счастлив».

Прошлое было дорого, но, как и прежде, оно не отрывалось от людей. С ними продолжалось мысленное общение, душевная связь. Связь же с новым миром оборвалась. Из него И. П. ушел за пять лет до физической смерти. То не было бегством в прошлое. Пять лет добровольного заточения в городской квартире,

при внешней картине бездействия воли и мускулов, были годами напряженной духовной жизни. На четвертом этаже дома по улице Бусико, в комнате со спущенными шторами, с железной кроватью в полутемном углу и лампадой под образами, возник скит, о котором мечтал московский студент. Первое время, без духовного наставника, должно было быть необыкновенно трудно, требовало огромного напряжения воли и нравственных сил. Он не считал себя в праве нарушать нормальный ход жизни в семье, и не желал смущать друзей. Внешне он вел себя так, как полагалось нормальному больному, требовавшему одиночества и покоя. Но никто не знал, что творилось за закрытыми дверьми его комнаты. Он потом писал в Америку: «странно, — а, может быть, и стыдно, — признаться, но на восьмом десятке лет я еще раз (который по счету?) родился для новой жизни». Ему была послана помощь. Огромным значением была «новая встреча» с о. Сергием Булгаковым, которого он знал давно, но который его «духовным отцом и жизненным водителем стал только теперь». Это «счастье и радость» длились недолго. Кончина о. Сергия была глубокоим горем, и с ним, писал потом И. П., «ушла от меня часть моей духовно-религиозной жизни».

Друзьям, продолжавшим навещать его, казалось, что он с тех пор «медленно угасал». Но письмо, полученное от него полтора года спустя, говорило о плане рукописи, которую он обдумывал в уединении и надеялся «написать, если позволят физические силы»; мысли, высказанные скупно, поражали смелостью, остротой и глубиной духовного опыта. Он не хотел печатать этот труд в Европе, но собирался «один экземпляр оставить себе, а другой переслать в Америку». Мысль осталась неосуществленной. Она все с большей полнотой переходила в тот мир, куда он сам ушел 20 октября.

В то утро И. П. слегка жаловался на беспокойную ночь, около полудня немного покушал и задремал. Сон постепенно перешел в забытие. Встревоженные члены семьи и близкие друзья собрались около постели. Вызвали священника. Около пяти часов дня И. П. незаметно перестал дышать. «Была такая тишина, благодать и свет, что мне трудно это передать», пишет взволнованный свидетель «Все, не я один, это ощущали. Плакали как то невольно, по немощи, а на душе была Пасха, с другим настроением я сравнить не могу».

Редко так умирают в наше время, и от такой смерти жизнь получает глубокий смысл.

## БИБЛИОГРАФИЯ

DAVID J. DALLIN and BORIS I. NICOLAEVSKY — *Forced Labor in Soviet Russia*. New Haven. Yale University Press. 1947. pp. 331. \$3.75.

Советское государство — государство рабовладельческое, рабский труд — одна из основ советской экономики — такое утверждение отнюдь не является публицистическим преувеличением врагов советской власти, это точная и непререкаемая истина. И в этом ни на минуту нельзя усомниться после прочтения и изучения книги Д. Ю. Далина и Б. И. Николаевского о «Принудительном труде в Советской России». Нового в этом утверждении, в сущности говоря, мало, но до сих пор это нигде и никогда не было показано и доказано так убедительно, как это сделано в этой книге-сборнике.

«Рисовать картину современной России, не давая описания системы трудовых лагерей и ссылки, значило бы давать неверную картину — это делают часто и тем намеренно вводят в заблуждение. Существующая в Советской России система принудительного труда вовсе не является изобретением какого-то дьявольского ума и это вовсе не временное явление, вроде опухоли, которую легко удалить. Система эта является ОРГАНИЧЕСКОЙ и нормальной составной частью социальной структуры (советского государства). Понять это необходимо каждому... Мир либо ничего не знал о наличии в сталинской России рабства, либо относился к его существованию с недоверием — во всяком случае об этом молчали. Знали о чистках, о показательных процессах, о массовых преследованиях и казнях, но до сих пор не отдавали себе отчета в размерах и значении использования принудительного труда в Советском Союзе. Пора ознакомиться с той новой социальной системой, которая возникла за последние 17 лет на Востоке Европы — социальной системой нового и неожиданного характера, одинаково непохожей как на капиталистическое общество, так и на те социалистические образцы, которые мерещились первым строителям Советской России...» Так говорится в предисловии к этой книге.

Книгу эту недостаточно читать, ее надо изучать. В ней дан огромный материал. Показания наблюдателей и многочисленные свидетельства людей, побывавших в трудовых лагерях и на себе испытав-

ших все ужасы рабского труда и рабской жизни, перечень лагерей в Европейской России и в Сибири (с многочисленными картами), попытка исчисления населения трудовых лагерей, анализ самого понятия «принудительного труда» в советских условиях, его экономическая ценность для советского государственного строительства, обширная глава о Дальстрое, представляющем в области принудительного труда и советского рабовладения, быть может, наибольшее «достижение» (написана Б. И. Николаевским), описание «северного лагеря особого назначения», т. е. Соловков, по переживаниям самого очевидца (эта глава написана Б. М. Сапиром), история возникновения и развития системы принудительного труда в Советской России, роль принудительного труда в осуществлении пятилеток, внутренняя жизнь и организация трудовых лагерей, трудовые лагеря во время войны и после нее, обширная библиография о принудительном труде и трудовых советских лагерях — советская, русская эмигрантская (Париж, Берлин, София, Шанхай), английская, американская, немецкая, французская, болгарская, польская... Вся книга тщательно документирована, приведены ссылки из книг на разных языках, в конце книги — предметный указатель. От этой книги нельзя отмахнуться, отвечать на нее, возражать, опровергать ее можно только фактами. Да и можно ли возражать? Можно ли что опровергнуть?

В книге имеется поименный список 125 лагерей Европейской России и Сибири. Но авторы указывают, что этот список далеко не полон — это, конечно, не удивительно, потому что из всех государственных секретов Советского Союза вопрос о принудительном труде наиболее засекречен. Постоянно, кроме того, возникают новые лагеря, видоизменяются старые... Тут возможны еще самые неожиданные вещи. Говорили же, как отмечает книга, о каком-то таинственном лагере в низовьях Енисея, у Ледовитого Океана, где несколько тысяч человек работают под землей (и под океаном!) по добыче каких-то ценных неведомых минералов — в этих подземных лагерях люди не только работают, но и живут. Кто бы еще несколько лет тому назад мог поверить, что возможны трудовые лагеря на необитаемой раньше «Новой Земле» в Ледовитом Океане и даже на «Земле Франца Иосифа», находящейся севернее 80 градусов широты? А между тем это факт — и в американской литературе уже имеются подробные описания жизни на «Новой Земле» многих тысяч заключенных и ссыльных... Или другой лагерь — где-то около Рыбинска, в который ссылали лиц, обвинявшихся в... каннибализме за годы ленинградской осады 1942-43 годов... Перед такими фактами человеческая фантазия отступает.

Что касается количества находящихся в трудовых лагерях заключенных, то на эту тему уже в течение нескольких лет ведутся

споры — и, вероятно, будут вестись еще долго. Их считают от пяти миллионов (самая скромная цифра) до 30 миллионов (цифра самая смелая). Но сколько бы ни считать, правильным останется сдержанное замечание С. Н. Прокоповича («Нов. Русское Слово», 14 сентября, 1946 года):

«Как бы мы ни сокращали предположительную цифру (для собственного утешения и в интересах уменьшения позорного пятна на новой России), — пусть их будет 5-7 миллионов, одно остается несомненным: в СССР мы имеем МНОГОМИЛЛИОННЫЙ класс рабов, условия жизни и труда которых бесконечно хуже условий жизни и труда американских негров в самых рабовладельческих штатах. Страшно сказать: жизнь американских негров для них, русских рабов, — идеал благополучия».

Недавно мне пришлось ознакомиться с конфиденциальным отчетом о поездке в Россию одного американского журналиста, сотрудника одного из наиболее распространенных и серьезных американских журналов; он пробыл в России два года (вернулся в 1947 году), имеет репутацию осторожного и добросовестного журналиста. Он очень интересовался количеством находящихся в трудовых лагерях и приводит цифру в 30 миллионов. Служить это доказательством, разумеется, не может, но говорит об одном: эту цифру он слышал сам в России, он привез ее оттуда.

Как раз в эти последние дни мне пришлось прочитать знаменитую книгу Джорджа Кеннана — «Siberia and the Exile System». Я говорю — прочитать, а не перечитать. Конечно, я ее знал давно и читал в молодые годы — именно эту книгу я тайно перевез на себе, как первую контрабанду, еще гимназистом (в известном немецком издании Реклама «Универсальная Библиотека»). Но, оказывается, настоящего Кеннана мы не знали. Два больших тома его труда вышли в Нью Йорке в 1891 году и составляют вместе 984 страницы большого формата, с огромным количеством превосходных иллюстраций (поездка, как известно, имела место в 1885 году, причем с ним вместе ездил в Сибирь талантливый художник Фрост). Книга написана с удивительной простотой и подкупающей искренностью. Работал над ней Кеннан четыре года, в англо-саксонском мире она получила огромное распространение и в подлинном смысле слова сыграла историческую роль, вызвав во всем мире ненависть к царскому правительству и горячие симпатии к русским революционерам. Но немецкое издание, оказывается, было сильно сокращенным, как я в этом теперь убедился лично. Что же касается русских изданий, то их в 1906 году вышло два: одно — М. В. Пирожкова — «перевод с немецкого без всяких сокращений» (но, как выше было сказано, само немецкое издание было сокращенным!) — в двух томах 410 страниц.

и другое издание — С. Н. Салтыкова, «полный перевод с английского З. Н. Журавской с примечаниями В. Л. Бурцева», но вышел, повидимому, только первый том (379 стр.) — во всяком случае, в нью-йоркской публичной библиотеке второго тома нет. Книгу Кеннана надо считать классической. Можно сказать, что по ней с русским правительством и с русскими революционерами знакомились несколько поколений людей — заслуги Кеннана, горячо полюбившего Россию, русский народ и русскую свободу, неоценимы. И вот теперь, читая одновременно книгу Кеннана и книгу Далина-Николаевского, невозможно отделаться от впечатления: то, что описывает, как предельный ужас, Кеннан, кажется сейчас, по сравнению с действительностью Советской России, настоящей идиллией!... Идиллией, по сравнению с сегодняшним днем, кажется то старое время и по личным воспоминаниям о пережитом в русских и сибирских тюрьмах, на сибирском этапе, в сибирской ссылке. Свою книгу Кеннан, между прочим, кончает такими словами: «от всей души надеюсь, что сибирская ссылка будет уничтожена, но боюсь, что на долгие годы она останется одним из самых темных пятен на цивилизации девятнадцатого столетия».

Какой наивностью звучит для нас сейчас эта фраза! Что сказал бы Кеннан сейчас, познакомившись с практикой советского государства?

Мне захотелось проследить по советской литературе, как в свое время жили в царской ссылке Ленин и Сталин. Думаю, что эти сведения уместно привести здесь, чтобы показать, какое расстояние пройдено от тех — сейчас уже почти легендарных — годов к современной советской действительности, и сравнить условия жизни в ссылке тогда и теперь.

Ленин, как известно, был арестован в Петербурге в декабре 1896 года и до февраля 1897 года пробыл в Доме Предварительного Заключение. Подумайте только, какой ужас: два с лишним месяца! (с 8-го декабря 1896 года по 14-ое февраля 1897 года, т. е. 69 дней). К нему приходили на свидание, он имел переписку (легальную и нелегальную), ему приносили передачи, книги, он брал книги из библиотеки. В тюрьме он подготовил свою книгу «Развитие капитализма в России». Когда его выпустили, он полушутя говорил: «Жаль, что рано выпустили, надо бы еще немножко доработать книжку, в Сибири книги доставать трудно». Как вспоминала позднее его жена, Н. К. Крупская, «не только «Развитие капитализма» писал Владимир Ильич в тюрьме, писал листки, нелегальные брошюры, написал проект программы для первого съезда (он состоялся лишь в 1898 году, но намечался раньше), высказывался по вопросам, обсуждавшимся в организации». Он был сослан на три года в Сибирь — выехал туда без стражи, на свой собственный счет! — в село Шушенское, Минусин-

ского округа, Енисейской губернии (Минусинский округ считался «сибирской Швейцарней»). Туда к нему приехали Н. Крупская, его невеста, со своей матерью. И вот, как Крупская описывает их жизнь там: «Дешевизна в Шушенском была поразительная. Владимир Ильич за свое «жалованье» — восьмирублевое (казенное) пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья — и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест, покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте, где корм скоту заготавливали, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича и для его собаки, прекрасного гордона — Женьки, которую он выучил и поноску носить и стойку делать и всякой другой собачьей науке... Вскоре мы переехали на другую квартиру — полдома с огородом наняли за четыре рубля. Зажили семейно. Летом никого нельзя было найти в помощь по хозяйству. И мы с мамой вдвоем везвали с русской печкой... В огороде выросла у нас всякая всячина — огурцы, морковь, свекла, тыква; очень я гордилась своим огородом. Устроили из двора сад — съездили мы с Ильичем в лес, хмелю привезли, сад соорудили. В октябре появилась помощница, 13-ти летняя Паша»...

А вот несколько выдержек из писем Ленина:

Матери. 25 мая 1897, Шушенское. «Живу я здесь недурно, усиленно занимаюсь охотой, презнакомился с местными охотниками и езжу с ними охотиться. Начал купаться — пока еще приходится ходить довольно далеко, версты 2½, а потом можно будет поближе, версты 1½. Но для меня все такие расстояния ничего не значат, потому что я, и помимо охоты и купанья, трачу большую часть времени на прогулки. Скучаю только по газетам: надеюсь, что теперь уже скоро стану получать их, что они у вас уже посланы».

Сестре. 25 мая 1897. «Полученный за первую статью гонорар хватит мне, я думаю, почти на год в дополнение к моему жалованью (8 руб. казенного пособия, которое получали все политические ссыльные), — а остальное, за следующие две статьи («К характеристике экономического романтизма» в «Новом Слове»), я думаю употребить на журналы и книги».

Матери. 19 октября 1897. «Живу я по прежнему тихо и безмятежно. До сих пор преобладали осенние деньки, когда можно с удовольствием пошляться с ружьем по лесу. Я и зимой, вероятно, не оставлю этого занятия».

Из ссылки Ленин переписывался с за-границей (с Аксельродом и Потресовым), сотрудничал в «Новом Слове» Струве, закончил здесь свою книгу «Развитие капитализма», перевел книгу Сиднея и Беатрисы Вебб, книгу Каутского против Бернштейна, получал книги из москов-

ских библиотек, «тихо и безмятежно» жил «семейно» с женой и тещей, имел прислугу, ел котлеты, купался, много гулял, охотился...

А Сталин? В период между 1908 и 1913 г.г. Сталин был четыре раза арестован, первые три раза был сослан в Вологодскую губернию, откуда трижды бежал, что уже одно указывает на легкие условия ссылки. В четвертый раз он был арестован весной 1913 года и сослан в Туруханский край, где и прожил до 1917 года в деревне Курейка (сделавшейся, конечно, теперь исторической местностью). «Тихо и безмятежно» жил в ссылке и он, получал тоже казенное пособие и жил на него, охотился, ловил рыбу... И там жизнь тогда была баснословно дешева, квартира обходилась в 1.50—2 рубля в месяц, пуд рыбы (и какой!) стоил 2 рубля, мясо — 3 коп. фунт, летом можно было заработать на «шишке» (сбор кедровых шишек). О «безмятежной» жизни Сталина в туруханской ссылке у товарищей по ссылке сохранился и такой рассказ: товарищи по ссылке упрекали его за то, что он водил компанию и будто бы даже пьянствовал с местным полицейским надзирателем-осетином (Кибировым). На эти упреки Сталин отвечал: «политически я с ним враг, но лично могу дружить; мои дружеские отношения с ним не помешают мне разделаться с ним, как с политическим врагом, когда это потребуется». В письме из ссылки он писал Ленину (27 февраля 1915 г.): «живу как прежде, живу — хлеб жую, половину срока отбыл. Скучно, но что делаешь».

Так жили вожди большевизма в царской ссылке. Но совсем не так живут ссыльные в трудовых лагерях в советские времена — на лесозаготовках северного Урала и Сибири, на колымских золотых промыслах, на дорожном строительстве, в шахтах. Чтобы оценить всю разницу в условиях работы и жизни, надо прочитать книгу Далина-Николаевского. Она научит многому. Врагов советской власти она еще больше укрепит в их ненависти к ней. Сможет ли она в чем-нибудь убедить друзей советской власти? Не поверить приводимым в ней фактам нельзя. Они не могут не произвести потрясающего впечатления на каждого честного читателя, каковы бы ни были его политические взгляды. А выводы? Выводы каждый сделает такие, какие ему подскажет совесть.

**В. Зензинов.**

---

EDWARD HALLET CARR. *The Soviet Impact on the Western World*. — New York, Macmillan, 1947. Pp. 113. \$1.75.

Старая проблема взаимоотношений между Западом и Востоком приняла сейчас новые формы, приобрела жгучий политический интерес. Восток в образе советского союза отождествляется с больше-

вистским коммунизмом; Запад — с англо-саксонской демократией и культурой, в первую очередь с Соединенными Штатами.

Расхождение или противоположность Востока и Запада, так понимаемых, отмечается во многих отношениях — в мире идей так же, как и в мире вещей. Наблюдатели того, что сейчас происходит в Европе и, в частности, в Германии, свидетельствуют, что главная волнующая тема там не фашизм и нацизм, ушедшие в прошлое — или в подполье. Волнует будущее. Беспокоит вопрос: кто победит в ожесточенном споре и соревновании — экономическом, дипломатическом, морально-политическом — «Восток» или «Запад»? Вот уже два года изо дня в день идет эта борьба за людские души, за душу Европы — быть ей или не быть, а лишь приумножить собой число единиц, составляющих, так называемый, союз советских социалистических республик?

Проблема взаимоотношений Востока и Запада посвящена и книга Эдуарда Карра, профессора международной политики в одном из английских университетов. Подход автора — скорее историсофский, но смысл и вывод — остро-политические: неустранимость и в значительной мере благотворность советского воздействия на политическую, экономическую, социальную, международную и идеологическую жизнь Запада.

В заключении своей небольшой, но очень содержательной книги проф. Карр высказывает ряд положений, которые он не доказывает, а как бы постулирует. Эти положения являются предпосылками, не всегда, может быть, даже осознанными самим автором, несмотря на всю его эрудицию и тонкость анализа. Такими недоказанными постулатами, на которых держится вся историсофия Карра, являются между прочим утверждения:

1. Ничто в русской традиции не подтверждает возможности военного проникновения России в Европу за пределы восточной зоны (107). — Здесь проводится знак равенства между советской политической и русской традицией, и та, и другая толкуются вне соответствия с фактами.

2. Социальная и экономическая система советского союза вряд ли подвержена действию тех стимулов, которые диктовали экспансию капиталистической Британии в 19-ом веке и могут (!) продиктовать такую политику капиталистическим Соединенным Штатам в 20-ом (107). — Это верно, но ни в какой мере не отвергает возможности аналогичной экспансии по другим мотивам, скажем, — политико-идеологическим.

3. Экономический мотив играет меньшую роль во внешней политике советского союза, чем в политике любой другой ведущей державы; решающими здесь являются скорее стратегические, а не расовые соображения. — И с этим в значительной мере можно согла-

ситься, — хотя момент экономический здесь сильно преуменьшен: именно им определяется сейчас политика СССР в отношении будущей организации Германии. С другой стороны, экспансия и агрессия могут быть подсказаны не только экономикой или мотивами расы или безопасности. Соображения о самосохранении и сохранении режима, призванного спасти не только свой народ, но и весь мир, могут толкать на агрессию и экспансию по идеологическим, чтобы не сказать идеалистическим, мотивам. Карр отлично понимает это, когда говорит о гитлеризме (стр. 27). Он почему-то упускает это из виду, когда говорит о большевизме.

Смешно, конечно, говорить, что проф. Карр, многолетний чиновник британского Форен Офис, представлявший нераз заграницей правительство его королевского величества, политический передовик лондонского «Таймс» и проч. и проч., — большевик или преисполнен особых симпатий к коммунизму. Даже если бы он мечтал о благоволении советской власти, — нельзя сомневаться насчет реакции, которую встретят его взгляды в официальных кругах СССР. Достаточно того, что Карр отмечает общеизвестный факт: «большевизм неизменно склонен оправдывать средства целью» (90) или что — «из современных философских систем марксизм наиболее последовательно тоталитарен» (111). На одном из очередных собраний академии наук, шеф советской пропаганды и агитации, он же и академик, Г. Ф. Александров несомненно разоблачит проф. Карра, как анти-демократа и клеветника.

И тем не менее, если не быть такими требовательными, как советские академики, которые требуют, чтобы советскую политику превозносили непременно на все 100%, то надо признать, что весь свой талант и большие знания, в частности русской истории и литературы, проф. Карр отдал на апологию советского стиля жизни, как более динамичного, прогрессивного и жизнеспособного по сравнению с обреченным на умирание Западом. Вся его аргументация может только усилить безверие западного мира в себя и, тем самым, способствовать дальнейшему его разложению и ускорению торжества советского Востока.

«Ни для западной, ни для советской идеологии нельзя предвидеть безоговорочной победы; скорее можно предсказать попытку найти компромисс на пол-пути, синтез между сталкивающимися путями жизни», — предвидит Карр. Это — вариант восполнения политической демократии Запада «экономической демократией» Востока, по Генри Уоллэсу. И там, и тут люди чувствуют свою обреченность и мужество свое видят в том, чтобы, славя прошлое, идти открыто на встречу гибели:

— Ave, Occidens, morituri te salutant! . . .



Как могло это произойти?

Путем, нераз испытанным историками, особенно углубленными в историософию.

Что произошло, — естественно, не могло не иметь для себя достаточных оснований. Это исходный пункт — логический и, что существеннее, психологический — даже для тех, кто отрицает Гегеля. Не всякий историк готов следовать французскому предписанию: чтобы «все понять», необходимо «все простить». Но редко кто отказывается, в интересах якобы более глубокого проникновения в суть вещей, от благожелательного толкования, а то и прямого оправдания, исторических событий «изнутри».

Карр знает, что смысл истории — или то, как ее понимают, — раскрывается в том, на какие периоды ее делят. И чтобы подчеркнуть непреходящее значение советского периода русской и мировой истории, он отождествляет советскую историю с историей XX-го века, с которого начинается, по мнению Карра, период новой массовой цивилизации.

В этом отношении, как и во многих других, Карр следует за Ласки 1943 и 1944 г.г., — правда, не называя его. Хотя Карр и не доходит до уподобления роли Ленина роли и деятельности апостола Павла, как это делает Ласки в последней своей книге, все же и у него большевизм, или цивилизация масс, приходит на смену 400-летней эпохе Реформации и Ренессанса, как у Ласки эта новая цивилизация сменяет старую, христианскую. Нетрудно заметить, что оба автора идут по стопам Сиднея и Беатрисы Вэбб, еще в первой половине 30-ых годов открывших новую цивилизацию в советском коммунизме.

Но что такое цивилизация и в чем специфические признаки новой, массовой цивилизации?

Знаменитый Тойнби, как известно, насчитал 26 различных цивилизаций, из которых выжили всего пять: западная, ислам, индусская, дальне-восточная и православная. Гиббон, Бокль, Сеньобос, Ростовцев, Зигфрид — по разному понимают цивилизацию. Для Андре Зигфрида Запад еще в 20-ых годах кончался — или начинался — на Рейне. Для М. И. Ростовцева всякая цивилизация — массовая: только при сочувствии масс возможна вообще цивилизация. Когда Бэббы открыли новую цивилизацию в советском коммунизме, они привели 8 признаков или оснований к тому. Некоторые из них с того времени уже выпали из советской цивилизации (то, что Вэббы называют "Anti-Godism", и отрицание всеобщего избирательного права). Другие, как «призвание к вождизму», как известно, оказались достоинством и фашистской, нацистской «цивилизации».

Во всяком случае, говоря о новой цивилизации, Карр никак не определяет ее ближе.

Если от общих замечаний, перейти к частным, надо сказать, что рассуждения и оценки Карра упрощены и неправильны, в частности потому, что он трактует большевизм, как величину постоянную и единообразную, тогда как большевизм менялся во времени и внутренне противоречив. Большевизм — синоним марксизма, и в то же время Сталин и за ним все прочие различают «творческий» марксизм и «догматический», что позволяет им включить в «свой» марксизм и анти-марксистские концепции славянофильства, народничества и др. Большевизм против абсолютных начал и в то же время он за абсолютную ценность социализма, которому подчиняет все — и личную свободу, и самоопределение народов. То, что обще всем большевикам и большевизму на всех этапах, — правительственный террор не только не подчеркнут Карром, а лишь мимоходом упомянут.

Карр знаком с русской историей, но это знание книжное, — нет внутреннего опыта и живого знакомства с Россией. Карр отлично устанавливает генеалогию идей. Но развитие идеи не совпадает с развитием жизни и даже с приложением ее в жизни. Теоретически Карр прав, когда выводит советское экономическое планирование от Карла Маркса чрез Фридриха Листа и Вальтера Ратенау. Но большевики мало знали Листа, а, поскольку знали, резко отталкивались от его «национальной экономии». Советское планирование ведет свое происхождение, конечно, от германского образца 1-ой мировой войны, заимствованного еще царским правительством для снабжения русских городов, железных дорог и заводов, работавших на оборону, продовольствием, углем и сырьем. Пионер и идеолог большевистских «планов», Ларин, набрался своей мудрости в Германии, учился у Ратенау.

Предшественниками большевистского тоталитаризма Карр считает церковный тоталитаризм, против которого подняла бунт Реформация во имя индивидуальной совести человека, и тоталитаризм культурный, против которого восстало Возрождение во имя разума человека. Между тем тоталитаризм — совершенно новая социально-политическая формация, отличная даже от просвещенного абсолютизма 17-го века, а не то что от Реформации и Возрождения. Произвольным представляется и прикрепление «массовой цивилизации» к 20-му веку. Настроения, характерные для русских масс начала текущего столетия, отмечались и историками эпохи французской революции и индустриальной революции в Англии начала 30-ых годов прошлого века. Английский «оуэнизм» прошел свою стадию анти-парламентского революционного увлечения.

Проф. Карр вообще переоценивает социальную сторону и не-

дооценивает политической. Может быть, этим и объясняется, почему он так мало говорит о советском режиме и так много — и благожелательно — о советской индустриализации. Между тем опыт свидетельствует о ложности утвердившегося представления будто девятнадцатый век уже разрешил на Западе политический и национальный вопросы, оставив нерешенными лишь экономический и социальный. Появление тоталитарных государств, трансферы населения по старому древне-ассирийскому способу и проч. свидетельствуют, что и политический, и национальный вопросы далеко еще не решены Европой; что политика, экономика и национальные проблемы неразрывно связаны друг с другом; и, наконец, что политическому решению принадлежит первенство: в историческом споре марксиста Энгельса с реакционером-антисемитом Дюрингом прав был последний, а не «Анти-Дюринг».

Объясняя-оправдывая большевистскую нетерпимость, Карр ставит Запад и либерализм перед дилеммой: или так уверовать в терпимость, чтобы придать ей абсолютное значение и в таком случае проявлять ее и в отношении к фашистам и коммунистам, которые стремятся разрушить демократию; либо, допуская лишь большую или меньшую терпимость, не допускать актов враждебных демократии, что равносильно полному релятивизму и отрицанию всяких абсолютных начал.

На место политических реальностей Карр подставляет здесь метафизическую проблему соотношения абсолютного и относительного. В реальной жизни нет и не может быть полноты совершенства. Это одинаково признают и философы-позитивисты и богословы, — в частности, христианства. История цивилизаций — или культуры — есть история относительного уменьшения несовершенства. К этому пытаются идти разными путями: в частности, установлением различных презумпций, вроде: «не пойман — не вор», «лучше 10 виновных оправдать, нежели одного невинного осудить» и т. п. Все эти пути и средства не гарантируют, конечно, полной справедливости, но в какой-то степени к ней приближаются. Отрицать относительную терпимость и свободу на том основании, что она не абсолютная, — не только анти-исторично, это и не логично: если невозможно достичь «всего», это не значит, что нельзя достичь «ничего».

Говорить о большевистской цивилизации нам представляется неосновательным, более того — нелепым. Но говорить о большевистском отношении к цивилизации — можно и должно. За 30 лет существования советской власти часто менялись ее ближайшие цели; однако, при всех обстоятельствах оставалось одно — уверенность власти в том, что она и только она в состоянии обеспечить счастье и благо человечества и, в силу этого, не она, эта власть, а само человечество нуждается в сохранении этой власти во что бы

то ни стало. Подобное отношение к себе и всему внешнему миру встречалось и раньше в истории человечества. В статье «О советской цивилизации», в 8-ой книге «Нового Журнала», мне уже приходилось указывать, что типологически такое отношение ярче всего описано Бенжамэном Констаном в работе «О духе завоевания и узурпации в их отношении к европейской цивилизации».

**М. Вишняк.**

---

АМЕРИКАНСКИЕ КНИГИ О СОВЕТСКОЙ РОССИИ. Harrison Salisbury. *Russia on the Way*. New York, Macmillan, 1946. Pp. 425. \$3.50. John Fisher, *Why They Behave like Russians*. New York, Harper, 1947. Pp. 262. \$3.00. John Strohm. *Just Tell the Truth*. New York, Scribner, 1947. Pp. 250. \$3.50. V. M. Dean. *Russia: Menace or Promise*. New York, H. Holt, 1947. Pp. 158. \$2.00. B. J. Stern & Smith. *Understanding the Russians*. New York, Barnes & Noble, 1947. Pp. 246. \$2.75.

За оскудением официальных источников познания советской России, отчеты иностранных корреспондентов о виденном и слышанном ими, вместе с показаниями невозвращенцев, составляют в настоящее время главный способ проникновения за «спущенный занавес».

Г. Сольсбери провел в России последние месяцы войны и первые месяцы после ее окончания. Свои наблюдения, в тылу и на фронте, он передает в спокойной и объективной форме, избегая как тенденции чернить все советское, так и все советские злодеяния оправдывать ссылками на ложно понятое русскую историю и русский национальный характер. Он, однако, не столько передает отдельные факты, сколько строит картины и обобщения, не всегда обоснованные. В частности, подобно Ф. Шуману, он пытается доказать, что Сталин — вовсе не единоличный диктатор, ссылаясь на производимые время от времени опросы населения по поводу намечаемых реформ, на влияние членов политбюро и на силу НКВД. Автор твердо убежден в том, что, в обозримом будущем, войны между СССР и США не будет; это свое мнение он подтверждает непосредственными наблюдениями над Красной Армией, которая поразила его, как сочетание последнего слова военной техники с невероятными архаизмами, вытекающими из низкого уровня советской техники вообще. Г. Сольсбери хотел поближе познакомиться с работой советского аппарата, но этого сделать не мог. Единственная отрасль администрации, с которой он обстоятельно познакомился, это иностранная цензура. Более

нелепого использования имеющегося человеческого материала и более бездушного отношения к делу он в жизни не видел.

Большой интерес представляет книга Джона Фишера, представителя УНРРА на Украине, нашедшая еще до выхода в свет, так как вокруг нескольких отрывков из нее, предварительно появившихся в журналах, завязалась полемика на тему, имел ли автор право опубликовывать наблюдения, полученные в связи с официальной миссией. По существу, эти наблюдения, относящиеся к весне 1946 года, вращаются около двух вопросов — господствующего в России страха и нищеты ее населения. Любопытно, что одержимость страхом он приписывает прежде всего людям, сидящим в Кремле. Он находит много причин такой одержимости страхом, но на первый план выдвигает владеющее ими сознание возможности потерять власть в том же порядке, в каком они ее приобрели. Сознательно или бессознательно, он повторяет здесь известный тезис Г. Ферреро.

Что касается нищеты, то Фишер особенно подробно останавливается на убогом состоянии сельско-хозяйственной техники — по его утверждению, на Украине, после революции, не произошло никакого прогресса — отсутствию или недоступности товаров рядового обывателя и тяжелом состоянии жилищного вопроса. Причина всех бед — полная неорганизованность производства. Вот два эпизода из числа многих, рассказываемых автором. Когда он, в сопровождении высокого начальства, явился на какую-то стройку, то увидел, что один рабочий, не торопясь, размешивал цемент, а семь или восемь посматривали на него, очевидно ожидая времени, когда тот кончит и наступит их черед действовать. Появление начальства не привело к перемене картины — очевидно, она всем участникам представлялась вполне нормальной. На работах по возобновлению Днепростроя автор в течение долгого времени наблюдал за беспомощными и неорганизованными движениями рабочих. Особенно поразила его одна старая женщина. Подобрав где то доску, она обходила других рабочих и, очевидно, спрашивала каждого, не пригодится ли она на что-либо. Так таки никому она не пригодилась... И все-таки, говорит Фишер, с этой низкой техникой русские достигают значительных результатов. Вопреки мнению Уайта, он полагает, что русским, пожалуй, и не нужны чистота и освещенность помещений. Но и он признает, что производительность труда, в таких условиях применяемого, во много раз ниже американской.

Из отдельных наблюдений Фишера следующие заслуживают передачи. Несомненно расслоение советского общества на классы. Антисемитизм на Украине не исчез; в связи с гитлеровским нашествием он даже как будто усилился, как то случилось и в Польше. Вопреки принципам советской национальной политике, на Украине русский язык почитается высшим, обязательным к употреблению всеми ува-

жающими себя людьми. В репертуаре киевских театров на первом месте стоят... Наталка Полтавка и Запорожец за Дунаем. Церковь в почете и расцвете; во время богослужений храмы переполнены, и в числе молящихся можно видеть молодежь и офицеров Красной Армии.

Таким же отчетом о виденном является книга Джона Строма, баптистского проповедника и редактора влиятельного журнала, выходящего на земледельческом Среднем Западе Америки. Любопытна история его поездки в СССР. С января по июнь 1946 года он тщетно обивал пороги советских консульств, ходатайствуя о визе. Прощения принимались, но результата не было. Вдруг его осеняет вдохновение: он телеграфировал Сталину. Виза тотчас была дана, и когда г. Стром прибыл в СССР, ему было объявлено, что по приказу свыше ему представлено право ехать, куда он хочет и говорить, с кем ему вздумается, под единственным условием — сказать в своем отчете всю правду.

Пользуясь разрешением, Стром посетил разные районы России от Балтийского моря до Сталинграда и Северного Кавказа. Беседовал он, преимущественно, с колхозниками, понятно, через переводчика, но иногда толковал и с интеллигентами. Весьма благоразумно он не проявил интереса к концентрационным лагерям, хотя политических заключенных видел. Г-н Стром сознает, что представители НКВД следовали за ним по пятам. Ему не приходит в голову, что это было известно его собеседникам и могло отразиться на их заявлениях.

Автор утверждает, что для него, действительно, был спущен железный занавес. Любопытно, однако, что в сущности он не увидел и не услышал ничего, что существенно отличалось бы от уже известного о советской России. Несмотря на симпатию к советскому опыту, он рисует жуткую картину технической отсталости и низкого уровня жизни. В деревнях женщины жнут хлеб серпами, как жали их прабабушки. Г. Строма поразило отсутствие мужчин; ему объяснили, что одни еще в армии, а другие убиты. Поразило его и несоответствие между ценами и заработками. Он тщательно переводит те и другие в доллары по дипломатическому курсу; тогда заработки получаются как будто немалые, но иллюзия исчезает, как только он приводит цены на товары.

Автор неустанно подчеркивает пламенную любовь встреченных им людей к родине, их гостеприимство и дружественное расположение к Америке: «американский — хорошо». Эту английскими буквами записанную не совсем грамотную фразу он повторяет много раз. И еще он подчеркивает жажду мира; мысль о возможности новой войны, в особенности с Америкой, всех приводит в трепет.

Следующая в ряду рецензируемых книг, написанная г-жей Дин, согласно подзаголовку представляется ответом эксперта на 21 вопрос

по русской истории и политике. Книга начинается с кратких, но в общем недурных очерков по русской географии и этнографии, по советской политической и экономической системе, и незаметно переходит к трактовке вопросов о том, национальна ли и империалистична ли современная Россия; каковы задания ее внешней политики, в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии; каково ее отношение к Соединенным Штатам; отказалась ли она от мировой революции. Кончается книга довольно длинной главой о желательной политике США в отношении СССР; автор склоняется к мысли о желательности уладить конфликт между ними на пути взаимного понимания и уступок, подобно многим предшественникам упуская обсудить вопрос, что же делать, если одна из сторон не желает понимания и не склонна на уступки. Не дает книга и ответа на вопрос, поставленный в заголовке — угроза ли или обетование явлено миру в советской системе.

Последняя из рецензируемых книг есть сборник статей, вернее отрывков из книг и статей, посвященных разным сторонам советской действительности. Первый отрывок взят из сталинского «Ленинизма», а в дальнейшем преобладают статьи, появившиеся в информационном бюллетене советского посольства в Америке. Материалов другого происхождения читателю не предлагается. В результате книга может быть полезна тому, кто хотел бы знать, какое представление о советской России желает внедрить советское правительство в умы иностранцев. Но горе тому, кто, прочитав ее, решил бы, что, согласно обещанию составителей, выраженному в заглавии, он «понял» советскую действительность!..

Н. С. Тимашев.

---

JAMES BURNHAM. *“The Struggle for World”*. John Day Company, New York, 1947.

«Третья война» началась в апреле 1944 года, когда находившиеся под коммунистическим влиянием греческие моряки подняли восстание в Александрии. Гражданские войны в Китае и в Иране дальнейшие этапы этой «начавшейся войны». Хотя эти «предварительные стычки» еще не означают, что «третья война» станет настоящей войной, однако, нужно быть наготове. Соединенные Штаты готовы только в области техники производства. Им далеко до такой готовности в области политической, социальной и культурной.

Таково первое положение, выдвигаемое профессором Нью-Йоркского Университета, Бернамом в его весьма острой, в некоторых частях весьма значительной и в целом чрезвычайно показатель-

ной книге «Борьба за Вселенную». В этой, по свидетельству проф. Бернама, уже начавшейся свыше трех лет тому назад новой мировой войне две стороны: коммунистическая и некоммунистическая. «Единый мир» — прекрасный идеал, но не факт. В политическом и особенно в культурном отношении мир далеко не является единым. Изобретение атомной бомбы и аналогичных новейших орудий прогрессивного истребления человечества превращает «третью войну» в мировую, невиданных размеров катастрофу, в которой гибель, если не всего человечества, то во всяком случае народов западной цивилизации, более чем вероятна. Промедление смерти подобно. Нужен немедленный, в буквальном смысле слова, выход, и таковым может быть, только абсолютная монополия производства, владения и пользования атомным оружием. Кто может стать таким монополистом? Не «мировое правительство», созданное на основе свободного соглашения народов, ибо в пределах остающихся у человечества пяти или десяти лет создание такого правительства невозможно, и не какая-либо международная организация вроде Объединенных Наций, являющаяся только «болтающим», «бумажным» комитетом, или в лучшем случае союзом суверенных государств». Только «мировая империя», созданная, по крайней мере отчасти, путем применения силы», может захватить и удержать в руках эту монополию. Атомная монополия предполагает мировое господство. В настоящее время есть только два кандидата на такое господство: Соединенные Штаты и СССР.

Автор «Борьбы за Вселенную» решительно возражает — мне кажется, вполне справедливо — против широко распространенного, особенно в социалистических кругах, взгляда на внешнюю политику СССР, как на «новую форму старого русского империализма». Он определяет коммунизм (и фашизм), как «мировое заговорщическое движение для завоевания монополии власти в эпоху упадка капитализма», и дополняет это определение указанием на то, что «в политическом отношении это движение основано на терроре и обмане, в экономическом отношении оно коллективистское или стремится стать таковым, а в социальном отношении оно тоталитарное». Цитируя Ленина и Сталина, он отказывается видеть в многообразных зигзагах советской внешней политики (он их насчитывает пока семь — последний, по его мнению, начался в 1945 году) что-либо иное, кроме тактических маневров, направленных неизменно к одной и той же цели. Эта цель — «Мировой Союз Советских Социалистических Республик — завоевание мира». Советское правительство сейчас готовится это завоевание двояким путем: а) «консолидацией действительного господства на Евразийском континенте» (Бернам находится под весьма сильным влиянием геополитических воззрений Гальфорда Мак-Киндера) и б) ослаблением всех стран, на которые

не распространяется это господство. «Ключ» ко всему современному международному положению — борьба за мировое господство между СССР и США.

Какой же вывод должен быть сделан из этого анализа международного положения? Вывод не для более или менее отдаленного будущего, а для ближайших если не месяцев, то лет? Ответ Бернама гласит: создание «Американской Империи». Она будет создана путем «комбинации давления и уступок» и будет включать, помимо всей Америки, прежде всего Англию и все ее доминионы (по отношению к ним Бернам предлагает установление «общего гражданства» и «полного политического единства»), а затем «Европейскую Федерацию», ибо «потенциальная энергия Европы может быть сейчас использована или как вспомогательная сила Запада или как вспомогательная сила коммунизма».

Книга проф. Бернама имеет одно неоспоримое достоинство: главы, посвященные критике коммунизма, написаны не только с исключительным блеском, но и с тем знанием «внутренней стороны» движения, которое доступно только его непосредственному участнику. Их слабая сторона — в явном преувеличении мощи и целеустремленности коммунизма. Вероятно, здесь сказывается то, что автор сам одно время, насколько известно, был близок коммунизму и остался во власти впечатлений, создавшихся у него в то время.

Однако, задача, которую поставил перед собой проф. Бернам, заключалась — не надо это забывать — не в критике коммунизма, а в указании выхода из изображенного им в таком трагическом виде международного положения. Эта задача не осуществлена. Автор «Борьбы за Вселенную» неоднократно подчеркивает, что он озабочен выработкой программы для ближайшего времени, измеряемого не десятилетиями даже, а годами, и с этой точки зрения он отбрасывает, как нереальные, всякие (действительно утопические для нашего времени — в этом он совершенно прав) планы вроде «мирового правительства». Но разве не столь же утопическим является представление о возможности осуществления в течении 5-10 лет) «полного объединения Америки с Англией и доминионами», скрепленного общим гражданством или дальнейшего объединения англо-саксонских стран с «Европейской Федерацией»?

Но еще важнее другое: почему создание «Американской Империи» должно предотвратить атомную войну между нею и коммунистическим блоком? Бернам ограничивается здесь весьма глупым замечанием: «Создание этой («Американской») империи необходимым образом включает приведение к бессилию коммунизма». ("In the creation of this Empire there would be necessarily involved the reduction of Communism to impotence").

Каким образом произойдет это «приведение к бессилию комму-

низма»? Бернам здесь непосредственно подводит американского читателя к идее превентивной войны. Но в самый последний момент он останавливается, хотя вся его концепция должна была бы привести к включению превентивной войны в качестве основного пункта всей его программы.

Некоторыми критиками концепции Бернама уже было указано, что он в своих расчетах совершенно исключает возможность отказа советского правительства от ставки на мировую революцию (а не на мировое господство, как ошибочно утверждает Бернам) под влиянием внутреннего давления русских народных масс. А между тем именно в этом давлении заключается (кажется, это становится все более ясным для всего мира) главная надежда человечества на предотвращение атомной войны. С этой точки зрения выигрыш времени становится одним из основных средств сохранения мира. И идея превентивной войны, к которой подводит вплотную читателя автор «Борьбы за Вселенную» — не решающийся, однако, формулировать этот внушаемый им вывод — приобретает особенно роковой характер.

Самоубийства, совершаемые людьми, думающими, что их болезнь неизлечима, особенно трагичны, когда есть надежда на изобретение доселе неизвестного лекарства, могущего излечить эту болезнь.

С. Соловейчик.

---

GEORGE P. FEDOTOV. *The Russian Religious Mind. Kievan Christianity*. Harvard University Press, 1946. Pp. 438. \$6.00.

Английская книга Г. П. Федотова, представляющая собою вполне самостоятельное целое, является вместе с тем первой в ряду задуманных автором работ по истории русской религиозности. Она ограничивается киевским периодом, и за нею должны последовать тома, посвященные позднему русскому средневековью, Московской Руси, восемнадцатому и девятнадцатому веку. Если автору удастся закончить все пять томов, историческая наука обогатится трудом, равного которому, по замыслу и объему, нет ни в русской, ни в иностранной литературе. В своем предисловии Г. П. Федотов указывает, что его интересует «субъективная», а не «объективная» сторона религии, или, иными словами, «религиозный человек в его отношении к Богу, к миру, и к людям». Это не история русской церкви или русского богословия, а история внутренней религиозной жизни русского

народа в ее многообразных проявлениях. На работу свою автор смотрит как на своего рода «предварительный синтезис», отдавая себе отчет в том, что для исчерпывающего ответа на многие из поставленных им проблем нет еще достаточно твердо установленных данных, и что в таких случаях приходится прибегать к исторической интуиции. Даром этой интуиции Г. П. Федотов обладает в высокой степени, и в соединении с его эрудицией (он использовал для своей работы огромный материал), она делает его книгу чрезвычайно богатой не только конкретным содержанием, но и плодотворными обобщениями.

Первые главы посвящены двум основным потокам русской религиозности — древне-русскому язычеству и византийскому православию. В дальнейшем автор прослеживает различные тенденции в христианском мироощущении Киевской Руси на материале, почерпнутом из сохранившихся литературных памятников, переводных и оригинальных, церковных и светских, от проповедей Илариона, Климента Смолятича, Кирилла Муровского, через жития святых, сборники, поучения, до летописей и «Слова о полку Игореве». В заключительной части книги сделана попытка выделить некоторые общие черты киевского христианства, отмечающие его историческую индивидуальность.

На протяжении всей книги Г. П. Федотов делает чрезвычайно интересные замечания общего характера, часто проникновенные, иногда может быть спорные, но всегда будящие мысль. Передавать содержание отдельных выводов автора я не могу за недостатком места. Отмечу для примера его замечания по поводу культа земли в древне-русском язычестве, сохранившегося и в христианское время; о религии рода, с ее историческими последствиями; о роли эстетического момента в русском православии; о характерном для Киевской Руси историческом подходе к богословию и об отсутствии в ней мистицизма. В спорном вопросе об уровне культурного развития Киевской Руси автор занимает как бы срединную позицию между старыми взглядами Милюкова и Голубинского, настаивавших на его примитивности, и взглядами, преобладающими сейчас в советской исторической литературе, по мнению Г. П. Федотова, сильно этот уровень преувеличивающей. В одном отношении Г. П. находит возможным говорить о бедности Киевской (и вообще древне-русской) культуры, а именно об ее интеллектуальной бедности, выразившейся и в отсутствии развития светского знания, и в отсутствии теоретического богословствования. Причину этого Г. П. видит в том же, в чем ее до него видели и некоторые другие исследователи: в одностороннем влиянии, оказанном на Россию Византией, не передавшей ей, вместе с христианством, классической (эллинистической) традиции. А это в свою очередь связано с вопросом о степени распространения

в древней Руси греческого языка. Автор настаивает на сравнительно незначительном его распространении. Я знаю, что другие историки, и притом не только советские (назову хотя бы Г. В. Вернадского, Р. О. Якобсона), с ним в этом несогласны. Не будучи специалистом, не решаюсь высказываться по существу спора, но думаю, что даже если бы ошибка Г. П. в этом частном вопросе была окончательно доказана, это одно еще не опровергло бы правильности его культурно-исторического построения.

Зато Г. П. Федотов в полной мере признает и положительное значение кирилло-мефодиевского наследства — славянской религиозной письменности и славянской литургии. Это наследство обеспечило Киевской Руси возможность национально-религиозного самоопределения. Автор неоднократно подчеркивает черты самобытности древнерусского православия, отличающие его от православия византийского: преобладание религии любви над религией страха, религии униженного Христа (келотическое христианство) над религией грозного Бога Вседержителя; более интимное религиозное ощущение природы; смягченные формы аскетизма и повышенный интерес к этической стороне христианства. Насколько я знаю, Г. П. Федотов оригинален в своем толковании роли канонической зависимости Киевской церкви от Константинопольского патриарха. По его мнению, зависимость эта пошла не во вред, а во благо молодой русской церкви, поставив ее в положение большей независимости от княжеской власти и тем обеспечив ее свободу. Вместе с тем, так как в глазах греческой иерархии Киевский князь был чем-то вроде вассала византийского императора, у церкви не было основания насаждать в России теорию царского абсолютизма. В связи с этим автор утверждает, что «никогда в своей исторической жизни не была Россия ближе к достижению политической свободы, чем в славные годы своей молодости». Скептики могут заподозрить Г. П. Федотова в некоторой модернизации древне-русской истории. Но здесь уже вступает в свои права историческая интуиция автора, и я могу сказать только, что для меня она убедительна.

**М. Карпович.**

В ИЗДАНИИ

# НОВОГО ЖУРНАЛА

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ ОТДЕЛЬНОЙ КНИГОЙ

## “СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ”

в переложении на современный русский язык **Г. В. Голохвастова**

с иллюстрациями **М. В. Добужинского**

и со вступительной статьей **Г. В. Голохвастова**

Цена книги: по подписке — \$2.50  
после выхода в свет — \$3.00

Адрес издательства: Mrs. M. E. ZETLIN  
112 West 72nd Street, New York 23, N. Y.  
Tel.: EN. 2-9893

### ОТ РЕДАКЦИИ:

В виду поступивших в редакцию запросов считаем нужным сообщить, что напечатанные в 15-й книге «Нового Журнала» стихи за подписью «Дм. Крачковский» принадлежат перу не известного писателя Д. Н. Крачковского, проживающего во Франции, а его однофамильца, находящегося сейчас в Германии.

### ПОПРАВКИ:

В 15-ой книге «Нового Журнала», в романе Б. Зайцева «Путешествие Глеба», на странице 39-й, строки 7-8 сверху следует читать так:

«Воленька полузакрывает глаза. На лице его разлито что-то мирное, почти нежное».

В статье Н. Тимашева, на стр. 175-й, в 15-ой строке сверху, вместо «нажимы на культурном фронте» следует читать «нажимы на национальном фронте».

---

---

# НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

•

Цена одной книги 2 доллара 75 центов.

Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

•

Адрес редакции и конторы:

Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,  
New York 23, N. Y.

Telephone: ENdicott 2-9893  
ENdicott 2-4800

Там же принимается подписка

---

---

---